



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



B90887



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES









**This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the  
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography  
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967**



*Zelinskiy, V. A.*

“ **РУССКАЯ**

# **КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

## **Л. Н. ТОЛСТОГО.**

**ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

**Часть восьмая.**

**СВРАЛЪ**

**В. Зелинскій.**

**МОСКВА.**

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій п., с. д.  
1902.

*(Handwritten signature)*

PG 3410

Z3

1897a

v. 8





# КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ.

## I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. **Справочникъ по русскому правописанію**, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква **Ѣ**. Составленъ по „Руководству“ Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

**Примѣчаніе.** Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, обнимаетъ все этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ орфографическихъ правилъ, орфографическаго словаря и списка **всѣхъ** словъ съ буквою **ѣ**. Такъ какъ изложеніе ея алфавитное, то она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справиться по ней очень просто. А именно: при помощи приложеннаго въ началѣ книги „Указателя“ открывается страница на букву, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ параграфѣ читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извощикъ, извозчикъ, извощикъ или извошчикъ? Справиться подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: **з, с, ч, ш**, а также и въ орфографическомъ словарѣ подъ буквой **и**—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, приобретающемся меньше чѣмъ въ часѣ, справка по ней дѣлается весьма легко и быстро.

2. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. **Справочникъ по русскому правописанію**. Выпускъ IV. Правописание, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употреблющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ колѣнкоровомъ переплетѣ, стбдтъ 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.)

5. **Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку**. Припособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 5-е. М. 1902 г. Ц. 25 к.

6. **Вступительный курсъ зрительнаго диктанта**. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій (печатается).

7. **Зрительный диктантъ**. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 12-е. М. 1902 г. Ц. 50 к.

**Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта“.** Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику орфографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія орфографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соответственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ орфографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новейшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже испра-

**РУССКАЯ**  
**КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

**Л. Н. ТОЛСТОГО.**

**ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-  
БИБЛЮГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.**

**Часть восьмая.**

**СВРА.ЛЪ**

**В. Зелинскій.**

**МОСКВА.**

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій п., с. д.  
**1902.**

Scav 4354.2. 1020



Scav 4354.2. 1020

# ОГЛАВЛЕНИЕ

восьмой части „Русской критической литературы о произ-  
веденияхъ Л. Н. Толстого“.

Критика семидесятихъ годовъ. 1875-й годъ.

„Анна Каренина“.

Критическіе разборы:

Статья Сине Ира (Вс. С. Соловьева). Изъ „С.-Петер- бургскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	1
Статья В. В. Чуйко. Изъ „Голоса“ . . . . .	11
Изъ „Новостей“ . . . . .	19
„Дона“ . . . . .	20
„Новороссійскаго Телеграфа“ . . . . .	28
„Газеты Гатцука“ . . . . .	33
Статья Амурова. Изъ „Астраханскаго Справочнаго Листка“ . . . . .	34
В. Г. Авеенко. Изъ „Русскаго Мира“ . . . . .	39
Статья Экса (А. П. Чебышева - Дмитріева). Изъ „Но- ваго Времени“ . . . . .	47
Изъ „Новостей“. Статья М. В. . . . .	51
Статья Зауряднаго читателя (А. М. Скабичевскаго). Изъ „Виржевыхъ Вѣдомостей“ . . . . .	62
Изъ „Одесскаго Вѣстника“. Статья Z. Z.—Z. . . . .	70
„Дона“ . . . . .	82
Статья Сине Ира (Вс. С. Соловьева). Изъ „С.-Петер- бургскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	84
Статья В. В. Чуйко. Изъ „Голоса“ . . . . .	94
Его-же . . . . .	101

Статья <i>Sine Ira</i> (Вс. С. Соловьева). Изъ „С.-Петербуржскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	113
Статья П. Пикитина (П. Ткачова). Изъ „Дѣла“ . . . . .	116
Статья Странника. Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	150
Статья А. (В. Г. Авсеенко). Изъ „Русскаго Вѣстника“ . . . . .	162
Статья изъ „Сына Отечества“ . . . . .	185

#### 1876 годъ.

Статья П. В—б—а (П. Н. Вейнберга <sup>2</sup> ). Изъ „Ицелы“ . . . . .	187
Статья Рина. Изъ „Новаго Времени“ . . . . .	188
Статья Изъ „Молвы“ . . . . .	195
Статья изъ „Гражданина“ . . . . .	204
Статья П—на. Изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	206
Статья А. (В. Г. Авсеенко). Изъ „Русскаго Вѣстника“ . . . . .	209
Статья Вс. С—ва. (Вс. С. Соловьева). Изъ „Русскаго Мира“ . . . . .	213
Статья Зауряднаго читателя (А. М. Скабичевского). Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ . . . . .	222
Статья П—на. Изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ . . . . .	232

<b>Алфавитный указатель</b> писателей, литературныхъ произведений и названій газетъ и журналовъ, встречающихся на страницахъ восьмой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“ . . . . .	233
---	-----

# КРИТИКА СЕМНДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1875 годъ.

## „Анна Каренина.“

\*) Уже нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ русскомъ обществѣ начались толки о новомъ романѣ гр. Л. Толстого, который, какъ говорили, печатается въ Москвѣ отдельнымъ изданіемъ. Одни увѣряли, что это историческій романъ изъ временъ Петра I, другіе утверждали, что это не что иное, какъ продолженіе „Войны и Мира“ и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ явится взрослый Николинъ Болконскій. Къ новому году слухи стали принимать болѣе опредѣленный характеръ, и нѣкоторыя газеты объявили, что романъ печатается не отдельнымъ изданіемъ, а приобретаетъ „Русскимъ Вѣстникомъ“, что содержаніе его взято изъ современной жизни, что называется онъ „Два брата“. — Не „Два брата“, а „Два брака“, поправляли свѣдующіе люди, и тѣ же свѣдующіе люди прибавляли: „Говорятъ, удивительное произведеніе, стоящее даже гораздо выше „Войны и Мира“.

Въ январской книгѣ „Русскаго Вѣстника“ появились первыя главы съ такимъ нетерпѣніемъ и волненіемъ ожидаемаго романа. Онъ называется не „Два брата“, не „Два брака“, а „Анна Каренина“. Въ обществѣ слышны слѣдующіе разговоры: — „Читали „Анну Каренину“? — Да. — Ну, что скажете? — Да что вамъ сказать?! Дожидался, дожидаясь, наконецъ, проглотилъ за разъ и — руки опустились: написано-то оно хорошо, конечно; но рѣшительно ничего

---

„С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1875 г., № 39. Статья Sine Ira (В. С. Соловьевъ).

оригинальнаго, ничего новаго. — Да, совершенно справедливо, и лица все какія-то обыденныя выставлены, ни характеровъ интересныхъ, ничего особеннаго — вотъ героемъ флигель-адъютантъ какой-то! Ну помилуйте, что это такое! А кричали, кричали, — „чудо“ говорили!.. — „Читали „Анну Каренину“? — Еще бы! — Ну, что? — Прелестный романъ.. это, я вамъ скажу, удивительное произведение! — Что жъ особенно-то вы нашли хорошаго? — Да все, все, безъ изъясненія все — верхъ совершенства, ну, однимъ словомъ, видно, что авторъ „Войны и Мира“. — Ну, что жъ такое, что авторъ „Войны и Мира“; не знаю, что дальше будетъ, а покуда, по моему, очень неудачное произведение“. — Да, конечно; но, однако... и т. д. и т. д.

Вѣроятно, есть и другіе отзывы; но мы привели здѣсь то, что слышится направо и налево. Откуда же происходитъ это недовольство началомъ „Анны Карениной“ и этотъ неискренній восторгъ, гаснущій при первомъ возраженіи? Намъ кажется, что причина этого единственно то обстоятельство, что первыя появляющіяся главы романа почти всеѣмъ прочтены слишкомъ скоро, „залпомъ“. Послѣдствіе эта весьма понятна: но она, во всякомъ случаѣ, мѣшаетъ вѣрности сужденія.

Обязанность отдавать читателямъ отчетъ въ нашихъ впечатлѣніяхъ заставила насъ прочесть „Анну Каренину“ не „залпомъ“, а довольно медленно, и хотя мы действительно не нашли никакихъ „необыкновенныхъ характеровъ“, никакихъ „необыденныхъ лицъ“; но все же у насъ волею не опустились руки“. Мы совсѣмъ и не ожидали отъ такого истиннаго и высокаго художника, какъ графъ Л. Толстой, необыкновенныхъ характеровъ и эффектныхъ сценъ освѣщенныхъ бенгальскими огнями, потому что если бытъ и другое было въ новомъ романѣ, то это доказало бы только упадокъ таланта автора „Войны и Мира“. Самыя удивительныя лица, самыя оригинальныя позы, самыя замысловатыя освѣщенія продаются очень дешево на литературномъ рынкѣ, такъ какъ все легче и легче становится ихъ производство. Въ четырнадцати главахъ „Анны Карениной“

мы нашли именно то, что составляет большую рѣдкость въ наше время, мы нашли высокую простоту неподдѣльнаго искусства, полноту жизненной правды и тонкое чувство мѣры, составляющее одно изъ главнѣйшихъ основаній художественности произведенія и совѣсть почти затерявшееся въ современной литературѣ. Огромную важность и настоятельную необходимость чувства мѣры очень хорошо сознаютъ наши писатели, и многіе изъ нихъ постоянно объ этомъ толкуютъ, а между тѣмъ въ собственныхъ ихъ произведеніяхъ почти всегда много лишняго, ненужнаго и много пропущеннаго, недоговореннаго. Дѣло въ томъ, что выработать въ себѣ чувство мѣры чрезвычайно трудно, — оно приходитъ само и легко дается только высокому таланту. Пушкинъ обладалъ имъ въ высшей степени: его повѣсти, эти незабвенныя простыя повѣсти до сихъ поръ остаются образцами величайшей художественности. Что можно прибавить въ „Капитанской Дочкѣ“ и что можно изъ нея выбросить?

По нашему мнѣнію, очень мало можно выбросить и изъ четырнадцати главъ „Анны Карениной“, развѣ только „полное, холерное тѣло“ Степана Аркадьевича, попадающееся на первыхъ страницахъ. „Ничего нѣтъ оригинальнаго“, говорить читатели, жаждущіе удивительныхъ лицъ и эффектовъ. Да, ничего нѣтъ оригинальнаго, невѣдомаго въ характерахъ Степана Аркадьевича, его Долли, Кити, Левина, Вронскаго и даже, покуда, Анны Карениной; напротивъ — почти все вѣдомо, а потому еще съ большей очевидностью выступаетъ художественная и жизненная правда романа. Почти всѣ дѣйствующія лица — это простые, обыкновенные, докинныя люди, люди, которые насъ всю жизнь окружаютъ, составляютъ наше общество, съ которыми мы дружимся, рождаемся и ссоримся. На страницахъ „Анны Карениной“ передъ нами ясно и отчетливо проходитъ все то, изъ чего состоитъ ежедневная жизнь наша, что хранится въ нашей памяти и составляетъ наши семейныя, домашнія воспоминанія. Мы читаемъ здѣсь всѣ качества нашихъ близкихъ, друзей и знакомыхъ, за которыми мы ихъ лю-

близъ, за которыя радостно имъ отворимъ наши двери, читаемъ и ихъ недостатки, слабости, надъ которыми подсмѣиваемся, подшучиваемъ, и которыя, въ послѣобѣденное время, даютъ пищу нашимъ семейнымъ разговорамъ. Авторъ рассказываетъ намъ все это, помѣстившись на той ясной и твердой высотѣ, съ которой только и можно вводить вѣрно, безпристрастно и художественно рисовать цѣльныя картины. Именно эта высота и позволяетъ ему спокойно-добродушное отношеніе къ выводимымъ лицамъ, отсутствіе дешевой насмѣшки и глумленія надъ ихъ слабостями, чѣмъ такъ любятъ злоупотреблять многіе современные писатели.

Романъ начинается со Степана Аркадьевича Облонскаго. и Степанъ Аркадьевичъ чуть ли ни самое полное, близкое намъ лицо, какое только можно встрѣтить въ нашей беллетристикѣ. Каждый изъ насъ, навѣрное, знаетъ если не нѣсколькихъ, то хоть одного Степана Аркадьевича. Это до сихъ поръ еще уцѣлѣвшій типъ русскаго *барина*, воспитаннаго и живущаго въ полномъ довольствѣ и въ своемъ удовольствіи, причастнаго слабостямъ человѣческимъ, не годящихся въ герои и дѣятели; но, со всѣмъ тѣмъ, вполнѣ добраго и милаго челоуѣка, нашего любимаго родственника и пріятеля, который, несмотря на всѣ свои слабости, на эгоизмъ, какъ то уживающійся съ положительной добротою, на неособенную широту взглядовъ и дремоту умственныхъ интересовъ, все же не безъ добраго слѣда проходить въ нашей жизни.

Сцена пробужденія Степана Аркадьевича послѣ ссоры съ женой хороша необыкновенно. Онъ просыпается подъ впечатлѣніемъ только что пригрезившагося совсѣмъ нецѣльнаго, но чрезвычайнаго сна. Ему хорошо, ему весело... и вдругъ онъ вспоминаетъ, какъ и почему онъ спитъ не въ спальнѣ, а у себя въ кабинетѣ, на сафьянномъ диванѣ; онъ вспоминаетъ всю безвыходность своего положенія и всю свою вину передъ женою; вспоминаетъ всѣ подробности ссоры — „всю эту драму“, вздыхаетъ и старается мучиться, старается быть несчастнымъ; но это ему рѣшительно не удается — онъ созданъ такимъ образомъ, что никакъ не можетъ быть

печальнымъ. Свѣжесть, довольство, прекрасное пищевареніе, отсутствіе всего мрачнаго, подавляющаго—вотъ основныя черты его нравственной и физической организаціи.

Прочти двѣ первыя главы, вы уже узнали Степана Аркадьевича, и привѣтствуете въ немъ стараго знакомаго, милаго пріятеля, съ которымъ рады встрѣтиться. Его положительное сходство съ вашимъ пріятелемъ еще увеличивается, когда онъ садится за кофе, разворачиваетъ еще сырую газету и начинаетъ читать ее. Послушайте, какую газету и какъ онъ читаетъ"... (Слѣдуетъ выписка изъ романа: „Степанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету“...—кончающаяся словами: „Онъ любилъ свою газету, какъ сигару послѣ обѣда, за легкой туманъ, который она производила въ его головѣ“).

Ну развѣ не прелесть это разсужденіе по поводу газеты, развѣ не вполне вѣрно, что, при отсутствіи политическихъ партій, для весьма многихъ людей нашего общества газета есть необходимое прибавленіе къ утреннему кофе и имѣетъ значеніе хорошей сигары?! Развѣ не убѣдились вы третьяго дня, вчера, сегодня, что наши милые Степаны Аркадьевичи выражаютъ извѣстное мнѣніе о какомъ-нибудь вопросѣ только потому, что это мнѣніе высказано въ ихъ газетѣ; найди они въ ней другое, совершенно противоположное мнѣніе—они были бы и съ нимъ согласны и утверждали совсѣмъ другое?!

Познакомившись съ Степаномъ Аркадьевичемъ, вы знакомитесь съ его женою Долли, съ этой вѣчно озабоченной и хлопотливой, недалекой и неглубокой, какою онъ ее считалъ, Долли, которая, найдя его записку къ французкѣ-гувернанткѣ, вдругъ высказалась такимъ рѣшительнымъ образомъ, что онъ испугался не на шутку и почти рѣшился въ умѣ своемъ, что она не проститъ ему.

Съ этимъ печальнымъ сознаніемъ робко идетъ къ ней Степанъ Аркадьевичъ, потому что нужно же чѣмъ-нибудь кончить, не можетъ же это такъ остаться. Долли собирается уѣхать отъ него и, между тѣмъ, сознаетъ, что это невозможно; она собираетъ свои и дѣтскія вещи, чтобъ не-

ревезти ихъ къ матери, а между тѣмъ знаетъ, что не можетъ отвыкнуть считать его своимъ мужемъ и любить его. „И здѣсь, въ своемъ домѣ, она едва успѣвала ухаживать за своими пятью дѣтьми; куда же она поѣдетъ со всѣми ими, когда и здѣсь, въ эти три дня, меньшей заболѣлъ оттого, что его накормили дурнымъ бульономъ, а остальные были вчера почти безъ обѣда?..“ Увидавъ мужа, она стала вознѣться въ шифоньеркѣ, будто отыскивая что-то, и, собравшись съ духомъ,—оглянулась на него. Но лицо ея, которому она хотѣла придать строгое и рѣшительное выраженіе, выражало потерянность и страданіе, и было жалко.—„Долли! сказать онъ тихимъ, робкимъ голосомъ. Онъ втянуть голову въ плечи и хотѣлъ имѣть жалкій и покорный видъ, но онъ все-таки сіялъ свѣжестью и здоровьемъ. Она быстрымъ взглядомъ оглядѣла съ головы до ногъ его сіяющую свѣжестью и здоровьемъ фигуру. „Да, онъ счастливъ и доволен!“ подумала она. „а я?.. Эта доброта противная, за которую всѣ такъ любятъ его и хвалятъ; я ненавижу эту его доброту“, подумала она. Ротъ ея скался, мускулы щеки затрясся на правой сторонѣ блѣднаго, первнаго лица. Степанъ Аркадьевичъ извѣщаетъ ее о пріѣздѣ его сестры Анны; но ей до этого нѣтъ никакого дѣла: онъ начинаетъ съ ней объясняться, просить у нея прощенія самымъ жалкимъ тономъ, онъ не удерживается и плачетъ передъ нею. У нея самой сердце разрывается и отъ своего мученія, невыносимой обиды и отъ этой позѣрной любви къ мужу, котораго, какъ она думаетъ, ей слѣдуетъ ненавидѣть. Она едва держится; но все же не поддается на его мольбы и увѣщанія. „Вы мнѣ гадки, отвратительны!“ закричала она, горячась все болѣе и болѣе. „Ваши слезы—вода. Вы никогда не любили меня, въ васъ нѣтъ ни сердца ни благородства. Вы мнѣ мерзки, гадки, чужой, да, чужой со всѣмъ“, съ болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово *чужой*. Она выдержала, и онъ долженъ былъ удалиться.

Долли—это тоже вполне живая и знакомая намъ женщина. Ея дальнѣйшія появленія, ея разговоры съ Анной

Карениной, прѣхавшей мирить брата съ женой, полны глубочайшей правды и самаго тонкаго анализа. Мы не станемъ передавать здѣсь содержанія романа, во-первыхъ, потому, что онъ едва начать, и намъ, вѣроятно, еще не разъ придется къ нему возвращаться, а во-вторыхъ, и потому, что сжато и удачно можно передать содержаніе произведенія, построеннаго главнымъ образомъ на вѣншемъ интересѣ, а „Анна Каренина“ богата исключительно внутреннею полнотою.

При чтеніи современныхъ романовъ насъ всегда поражаетъ въ нихъ одна особенность, составляющая огромный недостатокъ. Любовь между мужчиной и женщиной играетъ большую роль въ каждомъ романѣ: романъ безъ „любви“ производитъ очень странное впечатлѣніе, является чѣмъ-то неопредѣленнымъ, уродливымъ, а между тѣмъ рѣдко кто изъ нашихъ писателей, даже самыхъ талантливыхъ, умѣетъ представить полный и вѣрный анализъ чувства. Читателю обыкновенно объявляется, что такой-то любитъ такую-то, такая-то такого-то, а затѣмъ онъ самъ уже долженъ объяснить себѣ, какимъ образомъ они любятъ. Графъ Л. Толстой составляетъ исключеніе, ему невозможно сдѣлать упрека въ такомъ умалчиваніи. Въ каждомъ изъ его романовъ есть прекрасныя страницы, съ которыхъ вѣетъ теплотой и правдой свѣжаго, молодого чувства. Вспомнимъ, напримѣръ, въ „Войнѣ и Мирѣ“ прелестную сцену зимняго катанья „ряженыхъ“, въ которой разсказано пробужденіе любви Николая Ростова къ Сонѣ; сцена эта по изяществу, художественности и правдѣ врядъ ли имѣетъ равную себѣ въ нашей литературѣ. На страницахъ „Анны Карениной“ мы снова встрѣчаемъ подобныя сцены. Любовь Левина къ Кити Щербацкой и любовь Кити къ Вронскому не могутъ не остановить на себѣ серьезнаго вниманія. Это замѣчательный анализъ молодого, чистаго и здороваго чувства, въ которомъ нѣтъ ровно ничего кисло-сладкаго, банальнаго или грубо-циничнаго, что уже до тошноты надобло на печатныхъ страницахъ. Здѣсь любовь является въ своей первобытной вѣчной красотѣ, которую ничто не въ силахъ

опомнить и которая всегда служила и будет служить неисчерпаемым источником человеческого счастья и вдохновения.

Это не та любовь, грезамъ которой сейчасъ же представляются „пожки“ и парижскія стереоскопныя карточки; это та любовь, которая, глядя на дорогое существо, совершенно забываетъ о „пожкахъ“ и карточкахъ. „Когда онъ думалъ о ней, онъ могъ себя живо представить ея всю, въ особенности предѣсть этой, съ выраженіемъ дѣтской ясности и доброты, небольшой бѣлокурой головкой, такъ гордо поставленной на статныхъ плечахъ. Этого поставъ головы и дѣтскость выраженія, въ соединеніи съ красотою стана, составляли ея особенную предѣсть, которую онъ хорошо помнилъ, но что всегда, какъ неожиданность, воражало въ ней, это было выраженіе ея глазъ, кроткихъ, спокойныхъ и правдивыхъ, въ особенности ея улыбка, которая всегда покоряла его и переносила въ волшебный міръ, гдѣ онъ чувствовать себя умиленнымъ и смягченнымъ, какимъ онъ могъ запомнить себя въ рѣдкіе дни своего ранняго дѣтства“. Это думаетъ Левинъ о Кити. Левинъ не юноша, а человѣкъ довольно серьезный, и между тѣмъ, когда Кити предлагаетъ ему кататься съ ней на конькахъ, онъ считаетъ это, высочайшимъ блаженствомъ: „Вмѣстѣ! Кататься вмѣстѣ! Неужели это возможно!“ Разумѣется, надъ такимъ блаженствомъ могутъ посмѣяться современные *jeunes premiers*, но это будетъ смѣхъ преждевременной дряхлости надъ жизнью и молодостью.

Послѣ катанья на конькахъ, Левинъ рѣшается окончательно объясниться съ Кити, и прѣзжаетъ къ нимъ въ домъ дѣлать ей предложеніе. Кити знаетъ, зачѣмъ онъ прѣхалъ: она очень привязана къ Левину, но дѣло въ томъ, что любить-то она не его, а другого, Вронскаго. „Боже мой, неужели это я сама должна сказать ему? подумала она. Ну, что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будетъ неправда. Что жъ я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нѣтъ, это невозможно. Я уйду, уйду“. Она уже подходила къ дверямъ, когда услышала его шаги. „Нѣтъ! не честно. Чего мнѣ бояться? Я ничего дур-

него не сдѣлала. Что будетъ, то будетъ! Скажу правду. Я съ нимъ не можетъ быть пеловко. Вотъ онъ, сказала на себѣ, увидавъ всю его сильную и робкую фигуру и блестящіе глаза; прямо взглянула ему въ лицо своими нѣжными, правдивыми глазами, которые, лаская, умоляли его пощады, и подала руку\*.

Левинъ начинаетъ говорить и все ближе и ближе подходит къ объясненію. Она отвѣчаетъ ему, сама не зная, что оборвать ея губы, и не спускаетъ съ него умоляющаго взгляда. Онъ продолжаетъ. Она все ниже и ниже склоняетъ голову, не зная сама, что будетъ отвѣчать на приближающееся. Вотъ она слышитъ: „Я хотѣлъ сказать... я хотѣлъ сказать... Я за этимъ прѣхалъ... что... Быть моею женой! проговорилъ онъ, не зная самъ, что говорить, но почувствовать, что самое страшное сказано, остановился и посмотрѣлъ на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторгъ. Душа ея была переполнена счастьемъ. Она никакъ не ожидала, что высказанная любовь его произведетъ на нее такое сильное впечатлѣніе. Но это продолжалось только одно мгновеніе. Она вспомнила Вронскаго. Она подняла на Левина свои свѣтлые правдивые глаза, и увидавъ его отчаянное лицо, поспѣшно шептала: „Этого не можетъ быть... простите меня“. Какъ минуту тому назадъ она была близка ему, какъ важна и его жизни! И какъ теперь она стала чужда и далека ему. „Это не могло быть иначе“, сказалъ онъ, не глядя на нее\*. Вотъ самая простая сцена не удавшегося объясненія, а между тѣмъ, какой глубокой анализъ глядитъ изъ этой чистой и правдивой сцены.

Нанечатанныя главы оканчиваются описаніемъ бала, гдѣ главную роль играетъ, наконецъ, появившаяся героиня, Анна Каренина. Это роскошная красавица и патура, какъ видно, богато одаренная; но съ ней мы еще мало знакомы. Мы не знаемъ, какъ смотрѣть на нее: покуда у насъ является эволюционное недовѣріе къ ея добротѣ и всякимъ ея качествамъ... увидимъ, что сдѣлаетъ изъ нея авторъ. Казалось бы, ну что можно создать изъ такого давно опошленнаго, устого матеріала какъ московскій балъ нашего времени, а

все же этот балъ, чуть ли не лучшее до сихъ поръ мѣсто въ новомъ романѣ. Вронскій, ухаживавшій очень искренно за Кити и любимый ею, окончательно пораженъ красотою Анны Карениной, которая сама начинаетъ имъ увлекаться. Кити тутъ же и, столкнувшись съ Анной, видитъ ее совершенно новою и неожиданною. „Она увидѣла въ ней столь знакомую ей самой черту возбужденія отъ успѣха. Она видѣла, что Анна пьяна виномъ возбуждаемаго ею восхищенія“... „Кто“, спросила она себя. „Всѣ или одинъ?“ „Нѣтъ, это не любованье толпы ослѣпило ее, а восхищеніе одного, и этотъ одинъ? неужели это онъ?“ Каждая новая минута доказываетъ бѣдной Кити, что это, дѣйствительно, онъ. „На лицѣ его было такое выраженіе, котораго она никогда не видала прежде“. „Они (Анна и Вронскій) говорили объ общихъ знакомыхъ, вели самый ничтожный разговоръ, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово рѣшало ихъ и ея судьбу“. Слова были пустыя, а между тѣмъ, эти слова имѣли для нихъ значеніе, и они чувствовали это такъ же, какъ и Кити. Весь балъ, весь свѣтъ, все закрылось туманомъ въ душѣ Кити. Только прошедшая ею строгая школа воспитанія поддерживала ее и заставляла дѣлать то, чего отъ нея требовали, т. е. танцевать, отвѣчать на вопросы, говорить, даже улыбаться. „Она видѣла, что они чувствовали себя наединѣ въ этой полной затѣ... Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и онъ становился серьезнѣе. Какая-то сверхъ-естественная сила притягивала глаза Кити къ лицу Анны. Она была прелестна... но было что-то ужасное и жестокое въ ея прелести“.

Мы вполне увѣрены, что при дальнѣйшемъ появленіи романа графа А. Толстого даже любители „необыкновенныхъ эффектовъ“ невольно имъ увлекутся и зачитаются. Огромный талантъ писателя побѣдитъ и равнодушіе общества и пристрастные взгляды самыхъ разнородныхъ литературныхъ направлений.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1875 г. Статья *Sine die*.  
(В. С. Соловьевъ).

\* \* \*

\*) Съ появленіемъ въ печати произведеній такихъ авторовъ, какъ гр. Л. Толстой и А. О. Писемскій, задача критики становится не только легка, но и пріятна. Съ талантомъ, крупнымъ дарованіемъ можно не соглашаться, но всегда радно встрѣтиться съ нимъ. Но отношенію къ такому крупному литературному дарованію, какъ гр. Л. Толстой, общія разсужденія не уместны: поэтому, безъ предисловія и оговорокъ, передамъ, прежде всего, содержаніе первой части романа „Анна Каренина“.

Дѣлю пронесходить въ Москвѣ, въ наше время. „Всѣ несчастливья семьи похожи другъ на друга, каждая несчастливья семья несчастлива по своему“. Этимъ афоризмомъ авторъ начинается свой романъ. Въ домѣ Облонскихъ случилось несчастье. Жена, Дарья Александровна, узнала, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ французенкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ...“ Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Положеніе это продолжалось уже три дня и мучительно чувствовалось и самими супругами и всѣми членами семьи и домочадцами...“ Выписка оканчивается словами: „Ну что-же дѣлать! что дѣлать?“ съ отчаяніемъ говоритъ онъ себѣ и не находитъ отвѣта“.

Степанъ Аркадьевичъ былъ человѣкъ правдивый: онъ не умѣлъ обманывать себя и увѣрить, что расканваается въ своемъ стункѣ. Мало-ли что бываетъ въ жизни? Человѣкъ онъ не почти молодой, влюбчивый, красивый, а жена некрасива и ничѣмъ незамѣчательна. Вѣдь, нужно же быть снисходительною? Оказалось совсѣмъ противное; но „не поймешь — не воръ“: только въ этомъ смыслѣ онъ и расканвался. Попытки его къ примиренію въ это утро не были

„Голосъ“ 1875 г., № 37. „Очерки литературы“. (Романъ гр. Л. Толстого: „Анна Каренина“). „Русскій Вѣстникъ“, первая книжка. Статья У. З. (В. В. Чуйко).

успѣшны: онъ было пришелъ къ женѣ съ повинною, но былъ такъ принятъ, что еще больше растерялся: произошла глупая, по своей жизненной правдѣ, и безобразная семейная сцена, которая разсказана графомъ Л. Толстымъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Съ грустью уѣхалъ мужъ на службу, а жена принялась разбирать въ воспоминаніи весь бывшій разговоръ. „Уѣхалъ! Но чѣмъ же онъ кончилъ съ нею? думала она. Неужели онъ выдастъ ее? Зачѣмъ я не спросила его. Нѣтъ, нѣтъ, сойтись нельзя. Если мы и останемся въ одномъ домѣ — мы чужіе“. И Дарья Александровна погрузилась въ заботы дня и потопила въ нихъ на время свое горе.

Степанъ Аркадьевичъ занималъ одно изъ видныхъ мѣстъ: его все любили и уважали. Главныя качества Степана Аркадьевича, заслужившія ему это общее уваженіе по службѣ, состояли, во-первыхъ, въ чрезвычайной снисходительности къ людямъ, основанной въ немъ на сознаніи своихъ недостатковъ: во-вторыхъ, въ совершенной либеральности, не той, про которую онъ вычиталъ въ газетахъ, но той, которая у него была въ крови и съ которою онъ совершенно ровно и одинаково относился ко всемъ людямъ, какого-бы состоянія и званія они ни были, и, въ третьихъ — главное: въ совершенномъ равнодушіи къ тому дѣлу, которымъ онъ занимался, влѣдствіе чего онъ никогда не увлекался и не дѣлалъ ошибокъ. Во время перерыва занятій въ департаментѣ, къ нему пріѣхалъ пріятель его Левинъ, только-что явившійся изъ деревни, гдѣ онъ обыкновенно жилъ, презирая городской шумъ и столичные нравы. Въ сущности, Левинъ пріѣхалъ въ Москву сдѣлать предложеніе своею чинъ Степана Аркадьевича, княжнѣ Щербацкой. Странный былъ человекъ этотъ Левинъ. Во время своего студенчества, онъ чуть-было не влюбился въ старшую княжну. Долли, по ее вѣкорѣ выдали замужъ за Облонскаго. Потомъ онъ началъ влюбиться во вторую. Онъ какъ будто чувствовалъ, что ему надо влюбиться въ одну изъ сестеръ, только не могъ разобрать, въ какую именно. Но и Натали, только что показавшаяся въ свѣтъ, вышла замужъ за дипломата Львова.

Кити была еще ребёнокъ, когда Левинъ вышелъ изъ университета; но когда въ нынѣшнемъ году, въ началѣ зимы, Левинъ пріѣхалъ въ Москву на выставку телятъ, и увидѣлъ Кити уже съ закрытыми длиннымъ платьемъ пожками, онъ соизлѣ, въ кого изъ трехъ ему дѣйствительно суждено было влюбиться. Пріѣхавъ съ утреннимъ поѣздомъ, Левинъ отправился къ своему брату по матери, Кознышову, извѣстному литератору. У него сидѣлъ профессоръ философіи харьковскаго университета и велъ жаркій споръ о философскомъ вопросѣ: есть-ли разница между психическими и физиологическими явленіями въ дѣятельности человека, и гдѣ она? Левинъ вообще не интересовался новѣйшею философіей. Ему все эти вопросы о происхожденіи человека, какъ животного, о рефлексѣхъ, замѣняющихъ душу, о біологич. и социологич., казались невыносимо скучными, потому что рѣшеніе ихъ въ ту или другую сторону несколько не содѣйствовало разрѣшенію тѣхъ вопросовъ о значеніи жизни и смерти, которые въ послѣднее время чаще и чаще приходили ему на умъ.

Слушая разговоръ брата съ профессоромъ, онъ нѣсколько разъ замѣчалъ, что они почти подходили къ тѣмъ вопросамъ, которые интересовали его; но каждый разъ какъ только они подходили близко къ самому главному, какъ ему казалось, они тотчасъ же успѣшно отдалялись и опять углублялись въ область такихъ подраздѣленій, оговорокъ, изтѣтъ, намѣковъ, ссылокъ на авторитеты, что онъ съ трудомъ понималъ, о чемъ идетъ рѣчь. Тѣмъ неменѣе, онъ принужденъ былъ прослушать споръ, а потомъ, поговоривъ съ братомъ, отправился къ Степану Аркадьевичу въ присутствіе. Оттуда, въ четыре часа, Левинъ поѣхалъ въ зоологическій садъ, гдѣ, какъ ему сказали, Кити катается на зонькахъ... Дальше идетъ выписка, начинающаяся словами: „Онъ шелъ по дорожкѣ къ катку и говорилъ себѣ: „Надо не волноваться, надо успокоиться...“ Конецъ выписки: „...какимъ онъ могъ запомнить себя въ рѣдкіе дни своего ранняго дѣтства“.

Въ этомъ отрывкѣ видится весь авторъ „Дѣтства“ и

„Отрочества“, умный наблюдатель мельчайших душевных волнений, чувствуется его иѣжная и глубокая познѣя психическаго міра, если такъ можно выразиться. Въ сущности, графъ Л. Толстой остается все тѣмъ-же психологомъ, которому особенно хорошо удастся анализъ иѣжныхъ душевныхъ волнений, все тѣмъ-же великимъ поэтомъ ранней весны и юности. Оттого-то такъ трудно передавать содержаніе его романовъ: въ нихъ много движенія, чрезвычайная сложность жизни; въ нихъ и внѣшнія событія играютъ не послѣднюю роль; но вы невольно останавливаетесь на его удивительномъ психическомъ анализѣ, невольно забываете внѣшнюю канву, и принимаетесь, вмѣстѣ съ авторомъ, слѣдить за здоровыми проявленіями души и характера, какъ съ г. Достоевскимъ мучительно изучаете болѣзненные движенія, почти сумасшедшія выходки больныхъ умомъ и нервами характеровъ. Содержаніе романа графа Л. Толстого нельзя рассказывать, какъ нельзя рассказывать романъ г. Достоевскаго — можно только отмѣчать подробности, восхищаться постройкой характеровъ. Вотъ хоть-бы этотъ обѣдъ въ гостиницѣ „Англія“, куда Левинъ съ Облонскимъ попалъ послѣ зоологическаго сада.

Живѣе, правдивѣе передать сцены невозможно: тутъ что ни строчка, то цѣлый міръ наблюденій, начиная съ важной фигуры Облонскаго, сочиняющаго *десю* обѣда, татаръ во фракахъ съ салфетками, раскрашенной, въ ленточкахъ и завитушкахъ французевки, сидѣвшей за конторкой и составленной, какъ казалось, изъ чужихъ волосъ, *poudre de riz* и *vinaigre de toilette*, и кончая недоумѣвающимъ Левинымъ.

Дальше опять идетъ выписка, начинающаяся словами: „Если прикажете, ваше сіятельство, отдѣльный кабинетъ сейчасъ опростается: князь Голицынъ съ дамой...“ и кончающаяся словами: „Ну, да, пармезану. Или ты другея любишь?..“

„Княжнѣ Кити Щербацкой было восемнадцать лѣтъ: ей представлялись двѣ партіи: Левинъ и графъ Вронскій. Частыя посѣщенія Левина подали поводъ къ первымъ серьезнымъ разговорамъ между родителями Кити о ея будущемъ. Князь

быть на сторонѣ Левина; княгиня-же Левинъ не правился: она полагала, что Кити должна сдѣлать не просто хорошую, а блестящую партію, и она остановилась на Вронскомъ, чрезвычайно богатомъ молодомъ человѣкѣ. Кити сначала колебалась, но послѣ отъѣзда Левина влюбилась въ графа Вронскаго. Такъ стояли дѣла, когда снова появился Левинъ, но положеніе княгини было, все-таки, щекотливое; она видѣла, что въ послѣднее время многое измѣнилось въ пріемахъ общества, что обязанности матери стали еще труднѣе. „Она видѣла, что сверстницы Кити составляли какія-то общества, отправлялись на какіе-то курсы, свободно обращались съ мужчинами, ѣздили одиѣ по улицамъ, многіе не пріеѣдали, а главное, были все твердо увѣрены, что выбрать себѣ мужа было ихъ дѣло, а не родителей“. „Нынче ужъ такъ не выдаютъ замужъ, какъ прежде“, думали и говорили все эти молодыя дѣвушки и все даже старые люди. Но какъ-же нынче выдаютъ замужъ, княгиня ни отъ кого не могла узнать. Французскій обычай родителямъ рѣшать судьбу дѣтей былъ не принятъ, осуждался. Англійскій обычай совершенной свободы дѣвушки, былъ тоже не принятъ и невозможенъ въ русскомъ обществѣ. Русскій обычай сватовства считался чѣмъ-то безобразнымъ, надъ нимъ смѣялись все и сама княгиня. Но какъ надо выходить и выдавать замужъ—никто не зналъ. Все, съ чѣмъ княгиня случалось толковать объ этомъ, говорили ей одно: „Помилуйте, въ наше время ужъ пора оставить эту старину. Въѣдъ, молодымъ людямъ въ бракъ вступать, а не родителямъ, стало быть, и надо оставить молодымъ людямъ устраниваться, какъ они знаютъ“. Но хорошо было говорить такъ тѣмъ, у кого не было дочерей, а княгиня понимала, что при сближеніи дочь могла влюбиться, и влюбиться въ того, кто не захочетъ жениться, или въ того, кто не годится въ мужа. Теперь она боялась, чтобъ Вронскій не ограничился однимъ ухаживаніемъ за ее дочерью. Вечеромъ Левинъ пріѣхалъ къ Щербанскимъ пораньше и... объяснился ей въ любви. „Она тяжело дышала, не глядя на него. Она непытывала восторга. Душа

ей была переполнена счастьемъ. Она никакъ не ожидала, что высказанная любовь его произведетъ на нее такое сильное впечатлѣніе. Но это продолжалось только одно мгновеніе. Она вспомнила Вронскаго. Она подняла на Левина свои свѣтлые, правдивые глаза и, увидѣвъ его отчаянное лицо, поспѣшно отвѣтила: „Этого не можетъ быть... простите меня“. Последующій затѣмъ вечеръ и разговоръ князя и княгини — одно изъ хорошихъ мѣстъ романа. На другой день Вронскій отправляется на дебаркадеръ петербургской желѣзной дороги встрѣчать свою мать, а Степанъ Аркадьевичъ свою сестру, Анну Каренину. Анна Каренина — еще невыясненное лицо, но, вѣроятно, главное лицо романа, какъ это, между прочимъ, указываетъ и заглавіе его; въ настоящую минуту, объ этомъ лицѣ ничего еще сказать нельзя — оно въ туманѣ. Анна Каренина, благодаря своему уму и такту, примиряетъ жену съ мужемъ. Она знакомится съ Вронскимъ, который пораженъ ея красотой. На балѣ они больше знакомятся, и Вронскій влюбляется въ Каренину.

На этой сценѣ бала обрывается первая часть романа. Это только завязка и даже еще несовсѣмъ выясненная. Драма — впереди, а драма, конечно, будетъ, если судить по завязкѣ. Въ первой же части пока только намѣчены положенія и обрисованы нѣкоторые характеры. Кити, вѣроятно, воспроизведеніе великолѣпнаго портрета Наташи въ „Войнѣ и Мирѣ“; уже и теперь видны тѣ же общія черты, тѣ же душевныя пружины, тотъ же складъ душевнаго организма. Другіе характеры уже вполне рисуются, и тутъ-то въ этихъ характерахъ поражаетъ превосходство графа Л. Толстого. Миѣ кажется, нѣкоторые характеры новаго романа еще лучше, рельефнѣе очерчены, чѣмъ въ прежнихъ его произведеніяхъ: въ нихъ нѣтъ ничего недоконченнаго, целосказаннаго, нелогическаго — все стройно и цѣльно; черта вытекаетъ изъ черты, естественно, правдиво; въ нихъ нѣтъ тѣхъ туманныхъ очертаній, той рисованной и теоретической подкладки, какъ въ характерѣ Пьера въ „Войнѣ и Мирѣ“. Тамъ графъ Л. Толстой былъ въ значительной долѣ

парадоксаленъ; здѣсь парадокса нѣтъ, но авторъ остается тѣмъ же оригинальнымъ изслѣдователемъ человѣческихъ разнovidностей, и не столько изслѣдователемъ типовъ, сколько анализаторомъ различныхъ психическихъ моментовъ въ развитіи человѣка. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть сравнимъ только съ другимъ великимъ психологобеллетристомъ — Генрихомъ Бейлемъ (Стендалемъ): предметъ ихъ изслѣдованія одинъ и тотъ-же; оба они одинаково глубоко заглядываютъ въ тайники души, оба одинаково оригинальны, до такой степени оригинальны, что кажутся эксцентричны и парадоксальны; оба не любятъ торныхъ протоптанныхъ дорожекъ въ искусствѣ, оба открываютъ новыя области художественнаго анализа: у обоихъ, кромѣ татапта, громадная теоретическая подкладка систематическаго знанія, и потому-то оба такъ мало похожи на большинство беллетристовъ нашего времени, которые до сихъ поръ не могутъ порѣшнить съ рутинными приѣмами и рутинными взглядами. Но если предметъ и средства одни и тѣ-же, то приѣмы различны у Бейля и графа А. Толстого. У Бейля теорія и точное знаніе перевѣшивали надъ творчествомъ, у графа же А. Толстого, наоборотъ, и что бы тамъ ни говорили, онъ не столько мыслитель, сколько художникъ, у него на первомъ планѣ — творчество, какъ и у г. Достоевскаго; но творчество, сдержанное въ предѣлахъ всегда присутствующею строгою мыслью, перасилывающеюся въ неясныхъ образахъ и болѣзненныхъ влеченіяхъ. Творчество Бейля — чисто теоретическое, искусственное; изъ одного первичнаго, психическаго предрасположенія онъ строитъ весь характеръ, и если этотъ характеръ кажется живымъ, то только благодаря необыкновенной силѣ, съ которою Бейль развиваетъ послѣдовательность изъ этого одного, общаго предрасположенія, все неизбѣжности, опредѣляемыя положеніемъ и жизнью. У графа А. Толстого на первомъ планѣ жизнь и люди; онъ любитъ эту жизнь и этихъ людей со всею страстью и впечатлительностью художника; его творчество не теоретическій процессъ, а сама жизнь, какъ она отражается въ его мысли. Но никогда мысль не дремлетъ, и потому, нѣтъ — нѣтъ, и

вдругъ встрѣчается коротенькая, кажется, пустая фраза, которая освѣщаетъ характеръ съ совершенно новой стороны, указываетъ на такую психическую особенность, которая могла бы быть подмѣчена только теоретическою мыслью. Въ этомъ графъ Л. Толстой — неподражаемый мастеръ, и даже европейскіе литераторы мало могутъ представить действительно великихъ художниковъ, которые равнялись бы ему въ этомъ отношеніи. Вотъ, наиримѣръ, портретъ, написанный, очевидно, *au courant de la plume*, но представляющій живѣе мидѣйшаго Степана Аркадьевича съ его умственной неустойчивостью, съ его природною мягкостью. Хотя въ этомъ портретѣ нѣтъ ни густыхъ красокъ ни quasi-глубокихъ намековъ...“ (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Степанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство...“ Конечъ выписки: „но эти свѣдѣнія не доставляли ему, какъ прежде, тихаго, провинческаго удовольствія“).

„Замѣйте пріемъ, которымъ написанъ этотъ портретъ: авторъ, повидимому, касается одной только черты, чисто умственной, не имѣющей отношенія къ сложному аппарату тѣхъ психическихъ побужденій, который называется характеромъ; онъ говоритъ о такой чертѣ, которая, въ сущности, крайне поверхностна, тѣмъ болѣе, что отношеніе человека къ тому или другому взгляду не можетъ опредѣлить его нравственной физіономіи. Даже болѣе, весь этотъ отрывокъ кажется не болѣе, какъ остроумная выходка весьма поверхностнаго свойства и между тѣмъ, читая его, въ умѣ нашемъ быстро начинается образъ Степана Аркадьевича съ его умственною личностью и природною добротою, съ отсутствіемъ энергіи и дѣятельности, съ нѣкоторою нравственною робостью и податливостью, съ колебаніями и почти отсутствіемъ сознанія собственныхъ поступковъ. Авторъ нѣсколько разъ возвращается къ этой темѣ, и каждый разъ вводитъ новую черту, которая вдругъ внезапно снова освѣщаетъ всю фигуру и придаетъ ей рельефность необыкновенную. Это самая жизнь, во всей

ей сложности и во всей ея естественной простотѣ... Последняя черта заканчиваетъ портретъ. Анна, по приѣздѣ, уговариваетъ Долли и устраиваетъ примиреніе мужа съ женой...” (Идетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Къ чаю Долли вышла изъ своей комнаты...“ и оканчивающаяся: „Совеѣмъ пить, отчего ты такъ презираешь насъ съ Матвѣемъ? — сказать Стенанъ Аркадьевичъ, улыбаясь чуть замѣтно и обращаясь къ женѣ...“).

Тутъ видно фактическое родство манеры Бейля и графа Л. Толстого; это родство до такой степени близко, что по временамъ, читая Бейля, кажется, читаешь графа Л. Толстого, и наоборотъ, нѣкоторыя страницы „Анны Карениной“ до иллюзіи напоминаютъ „Rouge et Noir“, или „Chartrreuse de Parme“. Во всякомъ случаѣ, романъ графа Л. Толстого обѣщаетъ быть чрезвычайно интереснымъ.

Изъ „Голоса“ 1875 г. Статья X. Y. Z. (В. В. Чуйко.)

\* \* \*

\*) Новый романъ гр. Толстого „Анна Каренина“ отличается тѣми же достоинствами, какъ и прежнія его произведенія: герои проходятъ передъ вами совершенно живыми, и вы невольно замѣчаете въ нихъ всякій пустякъ, начиная отъ женскаго головного убора и кончая походкой въ кадрили. Изъ этихъ, повидимому, мелочныхъ подробностей въ нашемъ воображеніи создается и запоминается даже фигура героя, точно вы его видѣли, точно онъ вамъ знакомый. При этомъ графъ Толстой такъ соразмѣрно во всѣхъ частяхъ ведетъ свой рассказъ, что не утомитъ васъ ужаснымъ и мелочнымъ психическимъ анализомъ, какъ г. Достоевскій, ни безирестанными, иногда безбожно скучными описаніями природы, какъ г. Тургеневъ, ни длинной, характерной, можетъ быть, въ этнографическомъ смыслѣ, но чуть идущей къ дѣлу болтовней, какъ г. Гончаровъ...“ (Слѣдуетъ пересказъ содержанія первыхъ главъ романа).

„Новости“ 1875 г., № 65.

„Тутъ и все, что можно разсказать изъ напечатанныхъ главъ романа.— Не правда ли, не много; но читая самый романъ, а не фельетонный отчетъ о немъ, вы получаете то невыразимое, пріятное, оживляющее и ободряющее ощущеніе, какое вызываетъ въ насъ разсматриваніе прекрасной картины или статуи, слушаніе хорошей музыки или игра какого-нибудь великаго актера, вообще, — искусство... Когда графъ Толстой описываетъ обѣды въ трактирахъ, вы точно присутствуете за этимъ обѣдомъ и слышите живого татари́на, называющаго блюдо по-французски; когда графъ Толстой описываетъ балъ, вы чувствуете себя на балѣ: такъ все исполнено жизненной правды до самыхъ, повидимому, пустыхъ мелочей. — Изъ всего этого явствуется, что тотъ, кто желаетъ хоть сколько-нибудь познакомиться съ новымъ произведеніемъ автора „Войны и Мира“, долженъ обратиться къ самому роману: какъ бы фельетонистъ ни усиливался, всѣхъ красоть повѣсти не передать даже въ двадцати фельетонахъ: для этого необходимо перепечатать все отъ начала до конца, слово въ слово...“

Изъ „Новостей“ 1875 г.

\* \* \*

\*) Эпиграфъ пресловутаго романа: „*Мнѣ опмѣсѣно, а Азъ воздаю*“, невольно наводитъ на ту мысль, что авторъ имѣлъ въ виду не какую-нибудь предвзятую идею, тенденціозность, не клейменіе общественныхъ и людскихъ пороковъ, а, просто, рисовать съ натуры картины цѣлой жизни, не допуская себя въ судьи и критики ея явленій. Но таковъ-ли смыслъ эпиграфа или нѣтъ, покажетъ намъ во произведеніе. Въ январской книжкѣ помѣщено четырнадцать первыхъ главъ романа, не и ихъ довольно, чтобы увлечь читателя, невольно останавливая его на болѣе художественныхъ мѣстахъ.

\*) „Допѣ“ 1875 г., № 18. „Литературная хроника“ („Анна Каренина“ ром. гр. Толстого).

Сначала авторъ знакомитъ читателя съ добродушной семьей Облонскихъ, въ минуту, когда спокойное и обыденное великосвѣтское теченіе ея жизни нарушено непростительною вѣтреностью главы, Степана Аркадьевича Облонскаго.

Степанъ Аркадьевичъ—милый человѣкъ: онъ не глухъ, деликатенъ, ни толстъ, ни тонокъ—„*well-proportioned*“ и беззаботенъ—но съ тридцатипятилѣтнимъ брюшкомъ. Предназначенныхъ непріятностей онъ никому не сдѣлаетъ, потому что, повидимому, боится ихъ, какъ нарушителей гармоніи въ его благодушничаньи; работать и трудиться онъ готовъ всегда, но только, если не окажется другого, который взялся-бы за трудъ: за то тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ устрицахъ, о бутылкѣ шампанскаго, о вечеринкѣ и о женщинахъ съ пикантными ужинами, тамъ онъ неизбеженъ. Степана Аркадьевича любятъ все безъ исключенія, и онъ со всеми на „ты“,—съ кѣмъ хоть разъ ниваль шампанское. Степанъ Аркадьевичъ весь—полная луна съ широкой и доброй улыбкой. Степанъ Аркадьевичъ также легко держится на житейскомъ морѣ, какъ гуттаперчевый мячъ на бурномъ океанѣ. Онъ никогда не тонетъ, а беззаботно плыветъ по волнамъ, изрѣдка только обдаваемый соленой водой. Въ такую именно минуту авторъ знакомитъ читателя съ Степаномъ Аркадьевичемъ. Нужно сказать, что друзья его доставили ему мѣсто председателя въ одномъ изъ присутствій съ 6000 руб. жалованья.

Степанъ Аркадьевичъ навѣтреничалъ, жена узнала, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ французскою-гувернанткой, и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ. Положеніе это продолжалось уже третій день. Степанъ Аркадьевичъ Облонскій, — Стива, какъ его звали въ свѣтѣ, проснулся утромъ послѣ пріятельскаго обѣда съ смутными воспоминаніями:

....Да, Алабинъ давалъ обѣдъ на стеклянныхъ столахъ, да,—и столы пѣли: *Il mio tesoro*, и не *Il mio tesoro*, а что-то лучше, и какіе-то маленькіе графинчики, и они-же женщины“,—вспоминать онъ“.

„Глаза Степана Аркадьевича весело блестѣли, и онъ задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо. *Много еще тамъ было отличнаго, да не скажешь словами и мыслями, даже ни одну не выразишь*“...

Затѣмъ авторъ ослабилъ думу Стци такую, можно сказать, пошлою вставкою, какъ выше подчеркнутыя слова. А такія мѣста у автора не рѣдки. Въ противоположность этому, — какъ художественна послѣдующая обрисовка!

...„И, замѣтивъ полосу свѣта, пробившуюся съ боку одной изъ оконныхъ сторъ, онъ весело скинулъ ноги съ дивана, отыскавъ ими нитыя женой (подарокъ ко дню рожденія въ прошломъ году), обдѣланныя въ золотистый сафьянъ туфли, и по старой, девятилѣтней привычкѣ, не вставая, потянулся рукой къ тому мѣсту, гдѣ въ спальнѣ у него висѣлъ халатъ. И тутъ онъ вспомнилъ вдругъ, какъ и почему онъ спитъ не въ спальнѣ жены, а въ кабинетѣ: улыбка исчезла съ его лица, онъ сморщилъ лобъ“.

Неправда-ли, читатель, что эти мѣстомъ можно занюбаваться; но что-же слѣдуетъ затѣмъ?

„Ахъ, ахъ, ахъ! Аа!.. заговорилъ онъ, вспоминая все, что было...“

Эти два диссонанса я встрѣтилъ на первыхъ двухъ страницахъ романа (стр. 243 и 244).

Степана Аркадьевича утѣшалъ по своему камердинеръ его, Матвѣй.

— „А? Матвѣй? сказалъ онъ, покачивая головой.

— Ничего, сударь, образуется, — сказалъ Матвѣй.

— Образуется?

— Такъ точно-съ.

— Ты думаешь?..“

Вотъ мастерской діалогъ, обрисовывающій вполне характеръ Степана Аркадьевича.

Облонскій вышесываетъ свою сестру, Анну Каренину, изъ Петербурга, чтобы уладить дѣло съ женою. Онъ чувствовалъ, что самъ сдѣлать это не въ состояніи, что кроме фальши въ подобной попыткѣ, ничего другого быть не могло.

„Потому что невозможно сдѣлать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь—(вообще у автора странный взглядъ на любовь) \*) или его сдѣлать старикомъ, неспособнымъ любить. Кромѣ фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь: а фальшь и ложь были противны его натурѣ“.

Несмотря на свое непривлекательное положеніе, Стива, все-таки, послѣ второй чашки кофе, радостно улыбнулся привычною, доброю и потому глуною улыбкой) не отъ того, говоритъ Толстой, чтобъ у него на душѣ было что нибудь особенно пріятное, (радостную улыбку вызвало хорошее пищевареніе), и въ заключеніе, пошелъ къ женѣ.

Дарья Александровна, Долли, его жена, мать потерявшихъ живыхъ и двухъ умершихъ дѣтей, была, только годомъ моложе его. Долли была натура лимфатическая, безъ всякой глубины души и безъ нравственной силы. Долли очень любила Стиву, любила дѣтей, любила свои вещи и бездѣлашки. Но какъ все слабыхарактерные люди, она была вѣнлива, нелогична и безнравственна. Съ такой-то лишь женой Степанъ Аркадьевичъ и могъ только жить. Разумѣется, что во время свиданія вышла семейно-пошлая, жалкая сцена.

...И, можетъ быть, дѣвушки слышали! Ужасно тривіально, ужасно“. Степанъ Аркадьевичъ постоялъ нѣсколько секундъ тишь, отеръ глаза, вздохнулъ и, выпрямивъ грудь, вышелъ въ комнаты.

Была пятница, и въ столовой часовщикъ нѣмецъ заводилъ часы. Степанъ Аркадьевичъ вспомнилъ свою шутку объ этомъ аккуратномъ и вѣрливомъ часовщикѣ: что нѣмецъ самъ былъ заведенъ на всю жизнь, чтобы заводить часы, — улыбнулся. Степанъ Аркадьевичъ любилъ хорошую шутку. А, можетъ быть, и образуется! Хорошо словечко: *образуется*, подумалъ онъ. Это надо разеказать“.

У Степана Аркадьевича былъ хорошій другъ Константъ Дмитріичъ Левинъ, и сошлись они близко только по-

\* Зам. Хроникера.

тому, что составляли другъ съ другомъ крайнія противоположности. Степанъ Аркадьевичъ жилъ больше физиологическою жизнью. Левинъ-же умственною, нравственною. Степанъ Аркадьевичъ плавать на морѣ житейскомъ, Левинъ-же—нырять. Степана Аркадьевича несли теченія и вѣтры, Левинъ-же боролся съ ними и шелъ своимъ путемъ. Одинъ ощущалъ, другой мыслить.

Левинъ въ бытность свою въ Москвѣ, горячо привязался къ младшей сестрѣ Долли, Кити Щербацкой, молодой, красивой, славной дѣвушкѣ. Кити, съизавна привязавшись къ Левину, не придавала этой привязанности значенія другого, кромѣ братскаго. Ея дѣвическая, страстная натура увлеклась красивымъ флигель-адъютантомъ Вронскимъ, которому въ будущемъ предстояла блестящая военно-придворная карьера. Связи его были солидныя, богатство не уступало; и ко всему этому Вронскій былъ не глупъ и славный малый, воспитанный на паркетѣ: обладалъ свѣтскимъ тактомъ, умѣишемъ передливаться изъ пустого въ порожнее и былъ широкоплечъ и хорошо сложенъ. Князь, отецъ, любилъ Левина. Княгиня, мать, точила на Вронскаго.

Ничего этого не зналъ Левинъ.

Когда Облонскій спросилъ у Левина, зачѣмъ онъ собственно прѣхалъ, Левинъ покраснѣлъ и разсердился, потому что онъ не могъ отвѣтить ему: „я прѣхалъ сдѣлать предложеніе твоей суженницѣ“, хотя онъ только прѣхалъ за этимъ“.

Въ этихъ нѣсколькихъ словахъ авторъ обрисовалъ мужественнаго, умнаго и застенчиваго Левина, который имѣлъ только одну слабость: боязнь показаться смѣшнымъ, гдѣ бы то ни было.

У Левина былъ старшій братъ по матери, Кознышевъ, извѣстный въ ученомъ мірѣ, и былъ другой родной братъ, Николай, нырнувшій слишкомъ глубоко и зацѣпившійся въ омутъ жизни. Николай на имя Кознышева прислалъ записку, послѣ того какъ тотъ освѣдомился о немъ, слѣдующаго содержанія.

„Прошу покорно оставить меня въ покоѣ. Это одно, чего я требую отъ своихъ любезныхъ братьевъ, Николай Левинъ“.

Константинь Левинъ любилъ брата, любилъ его больше Кознышева, и сердечно стремился къ нему, но въ настоящую минуту онъ любилъ больше всего Кити, и былъ на-канунѣ предложенія. Для романиста нѣтъ ничего труднѣе мѣста, какъ нарисовать, легко и естественно, минуту объ-ленія въ любви, искренняго предложенія своего я — любимой женщинѣ. Толстой описалъ этотъ моментъ мастерски, и исключеніемъ шероховатости въ *большаго, маленькаго* Кити, и то въ началѣ сцены. Судите сами, читатель.

„Въ половинѣ восьмого, только что она сошла въ гостиную, лакей доложилъ: „Константинь Дмитріевичъ Левинъ“. Книгиня была еще въ своей комнатѣ, и князь не выходилъ. „Такъ и есть“, подумала Кити, и вся кровь при-лила ей къ сердцу. Она ужаснулась своей блѣдности, взгля-нувъ въ зеркало“. „Теперь она вѣрно знала, что онъ за-тѣмъ прѣхалъ ранне, чтобы застать ее одну и сдѣлать предложеніе. И тутъ только въ первый разъ все дѣло пред-ставилось ей совсѣмъ съ другой, новой стороны. Тутъ только она поняла, что вопросъ касается не ея одной: съ кѣмъ она будетъ счастлива и кого она любить (?)“ И оскорбить же-стоко... *за что? За то, что онъ, милый, любитъ ее, влюбленъ въ нее.* Но дѣлать нечего, такъ нужно, такъ должно“.

За что? — спрашиваетъ авторъ и отвѣчаетъ какимъ-то дѣтски-кондитерскимъ лепетомъ: „милый любить, влю-бленъ“, какъ будто-бы романъ пишется для будуара или для взрослой институтки. Нѣтъ живости, нѣтъ правды и въ послѣдующихъ словахъ Кити:

— Боже мой, неужели это я сама должна сказать ему? подумала она. Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему,

\* Неужели умный человѣкъ, принимая отказъ въ любви отъ дѣвушки, которая говоритъ, что не любитъ его, долженъ оскорбляться. Авторъ по-лагаетъ дѣло это слишкомъ старо-кастменно, въ словахъ его слышны духъ давно минувшихъ дней, преданія старины глубокой“. — Оскорбится и удивится — два разные понятія. Зам. Хрон.

что его не люблю? Это будетъ не правда. Что-жъ я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нѣтъ, это не возможно. Я уйду, уйду“.

Если-бы весь этотъ монологъ состоялъ-бы только въ словахъ: „Боже мой!.. Я уйду, уйду!“ Кити вышла бы престою и славной дѣвушкой, теперь же она заговорила, запуталась...“ (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Она уже подходила къ дверямъ, когда услышала шагъ его...“ и оканчивающая словами: „Онъ поклонился и хотѣлъ уйти“).

Читатель, сцена сама за себя говоритъ!

Между тѣмъ мать Вронскаго и сестра Стивы Анна Каренина мчались на поѣздѣ къ Москвѣ. Анна въ прошломъ встрѣчала Вронскаго: старушка, рассказывая о сынѣ, ожила ея воспоминанія и заинтересовала Анну своимъ любимцемъ.

Анна Каренина была красивая женщина, замужняя, съ ребенкомъ лѣтъ восьми, котораго оставила въ Петербургѣ. Страстная натура ея жаждала жизни въ полномъ смыслѣ этого слова. Женщина подавляла въ ней свѣтскую даму. Здравый смыслъ, добросердечіе и обстоятельства сдерживали пока ея порывы. Поѣздъ остановился. Встрѣчая мать, Вронскій познакомился съ Анной; женственная сила и красота Карениной отуманили его; онъ увлекся—полюбилъ съ первой встрѣчи. Анну тоже, что-то невѣдомое, соблазнительно-сладкое кольнуло въ сердце при видѣ мужественнаго, красиваго и смущеннаго лица Вронскаго. Но она была мать и свѣтская женщина, она не придала всего значенія этому чудному замиранію, неопытному ея.

Вронскій не зналъ семейной жизни; мать его была великосвѣтская блестящая барыня, погрязшая въ интригахъ. отца-же своего онъ почти не помнилъ, и былъ воспитанъ въ пансіонѣ въ корпусѣ. Вронскій впервые позналъ всю прелесть семейнаго круга, когда сталъ входить въ домъ Щербачкиныхъ въ Москвѣ. Неиспорченная и чистая натура Кити произвела на него глубокое впечатлѣніе. Но онъ все-таки

увлекся Анной. Вотъ именно здѣсь авторъ не ясно объясняетъ внутреннее состояніе Вронскаго. Онъ даже, какъ будто-бы чувствуя себя не въ силахъ выяснить это психическое явленіе, едва касаясь его, переходитъ къ сценѣ примиренія Долли съ Степаномъ Аркадьевичемъ и къ последующему балу, который открылъ Кити всю безнадежность ея любви къ Вронскому, Вронскому — его всыхнувшую страсть къ Аннѣ, Аннѣ — жгучесть взгляда Вронскаго.

Вотъ эпизодъ изъ бала, который глубоко запечатлѣлся въ сердцѣ Кити. Кадриль.

....Вронскій съ Анной сидѣли почти противъ нея. Она видѣла ихъ своими дальнѣйшими глазами, видѣла ихъ и въблизи, когда они сталкивались въ парахъ, и чѣмъ больше она видѣла ихъ, тѣмъ больше убѣждалась, что несчастье ея совершилось. Она видѣла, что они чувствовали себя наединѣ въ этой полной залѣ. И на лицѣ Вронскаго, всегда столь твердомъ и независимомъ, она видѣла то поразившее ее выраженіе потерянности и покорности, *похожее на выраженіе убитой собаки, когда она виновата*“.

*Похожее на выраженіе и т. д.!*

Мнѣ кажется неопытна подобная литературная эквилибристика въ такомъ талантѣ какъ гр. Толстой. Подобное сравненіе съ собакой, по меньшей мѣрѣ чортъ знаетъ что такое! Или это старческая ирриность? — пробивающаяся въ дышащемся талантѣ. Но, несмотря на подобныя выкладки, въ романѣ есть прелесть, которой не найдешь въ произведеніяхъ другихъ русскихъ беллетристовъ, за исключеніемъ развѣ Тургенева. Толстой — портретистъ. Тургеневъ — пейзажистъ въ русской литературѣ, занимающіе первыя два мѣста въ современномъ русскомъ литературномъ фронтѣ.

Въ ожиданіи второй книжки „Вѣстника“, перейду я теперь, читатель, къ разбору драмы Ивемскаго: „Просвѣщенное время“.

Изъ „Дона“ 1875 г.

\* \* \*

\*) Новая беллетристика „Русскаго Вѣстника“ отличается въ этомъ году необыкновенными для этого журнала достоинствами. „Русскій Вѣстникъ“ подарилъ на этотъ разъ публику новымъ произведеніемъ маститаго романиста, графа Л. Толстого, посящимъ негромкое названіе „Анна Каренина“. Анна Каренина — лицо не историческое, поэтому новый романъ Толстого имѣетъ претензіи называться бытовымъ романомъ, такъ какъ герои его взяты изъ известнаго слоя общества, и ознакомленіе публики съ бытомъ этого слоя общества и есть, повидимому, главная цѣль новаго романа.

Все содержаніе первой части этого романа разбивается на нѣсколько отдѣльных романовъ.

Первый романъ происходитъ въ Москвѣ, въ домѣ Степана Аркадьевича Облонскаго, жена котораго, Дарья Александровна, урожденная Щербаккая, узнавъ, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ француженкой-гувернанткою, странно разсердилась и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ. Но кто же такой этотъ Степанъ Аркадьевичъ, или Стива Облонскій, какъ называли его жена и близкіе его знакомые?

„Половина Москвы и Петербурга была родня и пріятели Степана Аркадьевича. Онъ родился въ средѣ тѣхъ людей, которые были и стали сильными міра сего. Одна треть государственныхъ людей стариковъ были пріятелями его отца и знали его въ рубашечкѣ; другая треть была съ нимъ на „ты“, а третья—были хорошіе знакомые; слѣдовательно, раздаватели земныхъ благъ въ видѣ мѣстъ, арендъ, концессій и тому подобнаго, были все ему пріятели, и не могли обойти своего, и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное мѣсто; нужно было только не отказываться“ (стр. 258).

Въ школѣ Степанъ Аркадьевичъ учился хорошо, благо-

\*) „Новороссійскій Телеграфъ“ 1875 г., № 48.

даря своимъ хорошимъ способностямъ, но быть лѣнивъ; несмотря на свою всегда разгульную жизнь, онъ занимаетъ теперь почетное мѣсто въ одномъ изъ московскихъ присутствій. Мѣсто это онъ получилъ черезъ мужа сестры Анны (героини романа), Алексѣя Александровича Каренина, занимавшаго одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ министерствѣ, къ которому принадлежало присутствіе. Характеръ у Степана Аркадьевича очень добрый и веселый. Онъ никогда ни о комъ не говорилъ дурно. По образу же мыслей Степанъ Аркадьевичъ либераль. Толстому, видно, хотѣлось обратить особенное вниманіе читателей на либерализмъ Степана Аркадьевича, такъ какъ онъ посвятилъ двѣ страницы (249—251) описанію того, какъ Облонскій читаетъ либеральныя газеты.

Познакомивъ читателей съ супругомъ, теперь представимъ имъ его дражайшую половину; но, къ сожалѣнію, это дѣло не совсемъ легкое, такъ какъ самъ Толстой объ этомъ мало позаботился. Мы уже знаемъ, что она такъ любила своего мужа, что не только не подозрѣвала въ неврности, но считала это невозможнымъ. Эта бѣдная женщина думала, что она единственная женщина, которую ее мужъ когда-либо знаетъ. Вотъ почему восемь лѣтъ Степанъ Аркадьевичъ катался какъ сыръ въ маслѣ, безнаказанно обманывая свою жену, какъ вдругъ злополучное письмо, написанное имъ къ любовницѣ, попадаетъ въ руки жены, которая не хочетъ болѣе ни вѣдать ни слышать о немъ. Находясь въ такомъ затруднительномъ положеніи, Степанъ Аркадьевичъ прибѣгаетъ опять къ своей сестрѣ, Аннѣ Карениной, которая, какъ мы уже знаемъ, доставила ему почетное мѣсто въ присутствіи,—и умоляетъ ее о возстановленіи нарушеннаго семейнаго счастья. Добрая сестра спѣшитъ въ Москву, успѣваетъ, дѣйствительно, помирить поссорившихся супруговъ, и въ свою очередь влюбляется... во объ этомъ немного ниже.

Второй романъ происходитъ въ домѣ Щербацкихъ, родителей Дарьи Александровны. Здѣсь, въ терему высокомъ, въ злой неволѣ изнывала красна дѣвица-душа, Кити Щер-

бацкая, дѣвушка лѣтъ восемнадцати. У этой барышни были узенькія ножки, обутыя въ высокія красныя ботинки, — а умъ, образованіе ея? — Какое дѣло намъ до ея образованія, ума, когда женихи и безъ того увивались за нею, какъ мотыльки вокругъ цвѣточка. Да мало того, что юноши, танцующіе на московскихъ балахъ, почти всѣ были влюблены въ Кити, въ первую же зиму ея выѣздовъ въ свѣтъ представлялись уже двѣ серьезныя партіи: Левинъ и графъ Вронскій.

„Левинъ полюбилъ Кити за то, что и постановка ея небольшой бѣлокурой головки на статныхъ плечахъ и дѣтскость выраженія, въ соединеніи съ красотой стана, составляли ея особенную прелесть; но что всегда поражало въ ней, — это выраженіе ея глазъ, кроткихъ, спокойныхъ и правдивыхъ; въ особенности ея улыбка, которая всегда покоряла его и переносила въ волшебный міръ...“

А Вронскій, воспитанникъ нажескаго корпуса, первый московскій красавецъ, покоритель всѣхъ женскихъ сердецъ, увидѣлъ въ прекрасной княжнѣ болѣзненную пристань, у которой полезно отдохнуть послѣ *Château des Bours* съ его куплетами и канканами.

Но кто же такіе эти прекр... женихи, Левинъ и графъ Вронскій? И отчего князь-о... предпочиталъ первого, а княгиня-мать и княжна Кити... предпочитали второго?

Константинъ Левинъ происходилъ изъ стараго дворянскаго московскаго дома, который всегда былъ въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ такимъ же дворянскимъ домомъ Щербачкиныхъ. Левинъ часто бывалъ въ домѣ Щербачкиныхъ, и влюбился въ домъ Щербачкиныхъ. Во время своего студенчества, онъ чуть было не влюбился въ старшую дочь, Долли, которая, однакожь, досталась не ему, а пріятелю его, знакомому уже намъ Семѣну Аркадьевичу Облонскому. Левинъ счелъ своимъ долгомъ влюбиться во вторую сестру, но и тутъ счастье измѣнилось ему: Натали выдали за какого-то дипломата. Осталась греться сестра, Кити. И вотъ Левинъ, испытавъ невзгоды неблагодарной земской службы, пріѣзжаетъ въ Москву на выставку телятъ и, увидѣвъ

Кити уже съ закрытыми длиннымъ платьемъ ножками, онъ похвѣлъ, въ кого изъ трехъ ему дѣйствительно суждено было любиться“.

Мы уже указали, что Облонскій сатирическое лицо въ романѣ. Левинъ же, видимо, пользуется симпатіями автора. Левинъ и Облонскій—два контраста. Избранная Левинымъ дѣятельность совершенно различествуетъ отъ дѣятельности Облонскаго. Левинъ въ душѣ презиралъ и городскую жизнь своего пріятеля и его службу, которую считалъ пустяками, и смѣялся надъ этимъ. Облонскій, дѣлая, что все дѣлають, смѣялся самоувѣренно и добродушно, а Левинъ несамуовѣренно и сердито. И такому милому человѣку княжна Кити предпочла *пикантну* Вронскаго. Но для полной характеристики Левина, намъ необходимо представить еще читателю образчикъ его идей насчетъ женскаго пола.

„Слыхать онъ, что женщины часто любятъ некрасивыхъ, простыхъ людей, но не вѣрилъ этому, потому что судить по себѣ, такъ какъ самъ онъ могъ любить только красивыхъ, таинственныхъ и особенныхъ женщинъ“.

А въ разговорѣ съ Облонскимъ этотъ добросердечный человѣкъ высказывается еще полнѣе:

„Ты знаешь, для меня все женщины дѣлятся на два сорта... то-есть, нѣтъ... вѣрнѣе: есть женщины и есть... Я имѣю отвращеніе къ надшимъ женщинамъ. *Ты науковъ занимаешься, а я эмаль хадняъ. Ты, вѣдь, развѣрно, не изучалъ науковъ и не знаешь алъ нравовъ, такъ и я“.*

Анна Каренина составляетъ главное дѣйствующее лицо въ третьемъ романѣ, къ которому мы сейчасъ перейдемъ. Третій романъ происходитъ на станціи Петербургской желѣзной дороги въ Москвѣ, куда Вронскій выѣхалъ встрѣчать свою мать, а Облонскій—сестру, Анну Каренину. Лишь только пассажирскіе вагоны остановились, Вронскій вошелъ въ вагонъ перваго класса, и при входѣ въ отдѣленіе остановился, какъ вкопанный, пораженный блестящими, казавшимися темными отъ густыхъ рѣсницъ, сѣрыми глазами дамы, выходившей ему на встрѣчу. Онъ почувалъ, что она любитъ уже его, и что онъ долженъ полюбить ее.

А дама эта не кто иная, какъ сама Анна Каренина. Чтобы укрѣпить въ сердцѣ этой дамы зародившуюся только любовь, Толстой заставляетъ поѣздъ задавить несчастнаго маинииста, а Вронскаго подарить въ пользу вдовы убитаго 200 рублей. Помиливъ брата съ женой, Анна Каренина предается московскимъ увеселеніямъ и ѣдетъ на балъ, на которомъ окончательно завлекаетъ Вронскаго, что окончательно убиваетъ несчастную княжну Кити.

Этимъ и заканчивается содержаніе той части романа, которая помѣщена въ январской книгѣ „Русскаго Вѣстника“. Какая же мораль этого романа: — онъ не любить ея, она не любить его: они любить ее, онъ любить его. А свѣтъ созданъ такъ странно, что находится столичные рецензенты и провинціальныя подрецензенты, крадущіе свои рецензій у столичныхъ, которые не могутъ вдоволь налюбоваться эстетическими красотами этого новаго романа.

Мы сказали выше, что новѣйшій романъ Толстого имѣть претензій на названіе бытового романа. Но претензій эти болѣе чѣмъ смѣшны. Какая изъ выведенныхъ личностей можетъ быть названа живой, типичной, имѣющей своего представителя въ дѣйствительной жизни? Кого изъ читателей можетъ интересовать то обстоятельство, что Обломскій измѣнить своей женѣ, а Анна Каренина похитила жениха у княжны Кити. Когда появился „Обломовъ“, вся интеллигентная Россія пришла въ движеніе, и было почему: всѣ увидали свой портретъ. Читая этотъ романъ, русская обломовщина сама бичевала себя и бичевала до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не превратилась въ прахъ. Совершенно понятно, почему подобное произведеніе было тотчасъ причислено къ лучшимъ произведеніямъ русской беллетристики, и критики долго еще будутъ восхищаться какъ реальными, такъ и эстетическими достоинствами его. Ни однимъ изъ такихъ достоинствъ не отличается новое произведеніе Толстого, а не принадлежи оно его перу, никто не обратитъ бы никакого вниманія на него. Много шуму изъ пустяковъ.

*Изъ «Новороссійскаго Телеграфа» 1875 г.*

\* \* \*

\*) Новый романъ Толстого полонъ всёхъ тѣхъ достоинствъ и красотъ, которыми мы привыкли любоваться въ его произведеніяхъ,—глубиной психическаго анализа, мастерскимъ очерченіемъ характеровъ и разнообразіемъ и живиліемъ новыхъ типовъ. Мы не станемъ разбирать этотъ романъ, такъ какъ теперь изъ него напечатаны только первые семь главъ, а онъ, говорятъ, будетъ печататься въ продолженіи цѣлаго года. Мы ограничимся приведеніемъ изъ него двухъ цитатъ. Вотъ интересное мѣсто изъ описанія характера одного изъ дѣйствующихъ лицъ—лица особенно замѣчательнаго, какъ представляющаго самый, такъ сказать, современный типъ русскаго человека извѣстнаго круга...

Начинается выписка словами: „Степанъ Аркадьевичъ подумалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство...“ Слова, заканчивающія выписку: „и это, какъ всегда, доставляло ему нѣкоторое удовольствіе“).

Изъ слѣдующей цитаты читатели увидятъ, какъ тонко подмѣтилъ авторъ тѣ признаки переходнаго состоянія нашихъ общественныхъ воззрѣній на семью, которыя кладутъ печать перхшительности и колебанія на семейные распорядки большинства нашего цивилизованнаго общества:

(Начинается выписка словами: „Сама княгиня (мать одной изъ героинь романа) вышла замужъ тридцать лѣтъ тому назадъ, по сватовству тетюшки...“ Конецъ выписки: „для пятилѣтнихъ дѣтей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты“).

Вообще первая книжка *Русскаго Вѣстника*—очень замѣчательна и по разнообразію статей, въ ней помѣщенныхъ, по серьезному ихъ содержанію.

Изъ „Газета Гатцука.“

„Газета Гатцука“ 1875 г., N 5. Библиографія. „Русскій Вѣстникъ“—есть литературный и политическій, издаваемый М. Катковымъ. Изд. 1875 г.) Статья Б. А. (Бориса Алмазова)

\* \* \*

\*) Наша провинціальная жизнь слишкомъ скучна, чтобы заниматься ею. Обратимъ лучше свое вниманіе на одно крупное явленіе нашей литературы—на появившійся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ новый романъ гр. Л. Толстого: „Анна Каренина“. Хотя литературное значеніе гр. Л. Толстого и его репутація, какъ писателя, таковы, что совершенно не нуждаются въ репутаціи скромнаго фельетониста еще болѣе скромной газетки; но, говоря откровенно, я скептически отношусь къ литературнымъ познаніямъ моихъ читателей, образованіе которыхъ вращалось въ размѣрахъ школьной программы и не выходило дальше роковыхъ предѣловъ, очерченныхъ, съ одной стороны, „Юріемъ Милославскимъ“ и „Медвѣжьей Лапой“, съ другой—„Гуакомъ“ и „Графинею Монсеро“... Я думаю, мало того—я увѣренъ, что изъ 10-ти читателей „Листка“ <sup>9</sup>/<sub>10</sub> при имени гр. Л. Толстого зашнуртуютъ и безплодно начнутъ насиловать свою память, ничего имъ не говорящую. Развѣ только <sup>1</sup>/<sub>10</sub> смекнетъ и догадается, что рѣчь идетъ о писателѣ, создавшемъ прелестные этюды: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“ и одно изъ капитальныхъ русскихъ твореній: „Войну и Миръ“. Почему этюды названы прелестными, а романъ „Война и Миръ“—капитальнымъ произведеніемъ русской литературы—этого не скажутъ и многіе изъ избранной <sup>1</sup>/<sub>10</sub> части читателей. Трудно, читатель, говорить съ массою, которая плохо понимаетъ литературу и смотритъ на нее такъ-же, какъ неграмотное дитя на раскрашенную азбукку! Имѣя подобную аудиторію, назойливо просящую объясненія на каждую фразу, или еще хуже того—затыкающую свои уши и закрывающую глаза, приходишь къ весьма грустному убѣжденію о безплодности и безрезультатности своей литературной бѣды, могущей съ успѣхомъ замѣниться широкофидатель-

\*) „Астраханскій Справочный Листокъ“ 1875 г., № 33. „Новости журнальной литературы“. Статья Амурсова.

ной рекламой о небывалой распродажѣ „безъ запроса и ступки“. Но... „назвавшись груздемъ—полѣзай въ кузовъ“, говоритъ мудрая пословица; я ей послѣдую и, назвавшись фельетонистомъ, поведу свою рѣчь дальше, буду говорить о новомъ романѣ г. Л. Толстого.

Безцѣльность и безсодержательность нашей современной литературы сдѣлали то, что о каждомъ, хотя бы маленькомъ плохенькомъ разсказѣ какого-нибудь устарѣваго копифея русской литературы, газетные репортеры заявляютъ: тутъ-ли не три года, съ астрономической точностью высчитывая день и часъ, въ какой появится произведение извѣстнаго писателя. Редакціи бранятся, ссорятся, соревнуютъ другъ съ другомъ относительно чести пріютить у себя имѣющее появиться произведение, и вся эта пенужная возня и смѣшная ажитация переходитъ въ публику, сбиваетъ ее привычки и литературные вкусы, заставляя бросать одинъ журналъ и переходить въ другой, гдѣ имѣетъ появиться перѣдко заурядное произведение какой-нибудь обѣзлой и вылинявшей знаменитости. Та же исторія слуховъ повторилась въ последнее время съ Тургеневымъ, Писемскимъ, Толстымъ. Почтенная и во всѣхъ другихъ случаяхъ серьезная редакція „Недѣли“ года три просто впадала въ болѣзненное разстройство, обѣщая своимъ читателямъ *новый* разсказъ Тургенева, и когда ей дѣйствительно удалось его напечатать, то читатели, заранѣе наэлектризованные слухами и надеждами, встрѣтили довольно блѣдный и унылый разсказъ: „Наши послали!“ разсказъ, подписанный Тургеневымъ, пошло его напоминающій. То же напрасное ожиданіе относится и къ Писемскому съ его комедіей „Просвѣщенное время“, напечатанной въ „Русскомъ же Вѣстникѣ“ текущаго года. Комедія представляетъ собою повтореніе сюжета „Всала“, сочиненія того же автора и въ такой же мѣрѣ, что характеры перваго произведенія могли бы безъ всякаго ущерба для идеи цѣликомъ быть перенесены во второе и наоборотъ. Обращаясь затѣмъ къ новому роману г. Л. Толстого я, вопреки увѣренію фельетониста „Виржевыхъ Вѣдомостей“, что романъ блѣденъ и посредствененъ (до сихъ

портъ изъ него напечатано только 9-ть главъ), нахожу, что „Анна Каренина“, безспорно далеко уступающая „Войнѣ и Миру“, есть, однако же, такое талантливое произведение, на которомъ отрадно остановиться и которое пріятно читать. Этого, повидимому, ничего не выражающій отзывъ становится, однако же крупною похвалою и тѣмъ болѣе, что того же самаго положительно нельзя сказать о цѣломъ десяткѣ произведений, напечатанныхъ и печатающихся въ журналахъ послѣдняго десятилѣтія. Гр. Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій, Островскій, не говоря уже о болѣе молодой литературной братіи, въ своихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ не заявили и десятой части того таланта, какой присутствуетъ въ новомъ романѣ гр. Л. Толстого. Изъ произведений упомянутыхъ писателей развѣ только Тургеневская повѣсть „Пунинъ и Бабуринъ“ еще настолько даровита и замѣчательна талантомъ, что достойна быть произведеніемъ Тургенева, писателя, съ которымъ неразрывно связано начавшееся величіе русской литературы. Недоброжелательный къ новому произведенію гр. Л. Толстого фельетонистъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ къ числу недостатковъ романа относитъ простоту завязки дѣйствія, бѣдность вымысла въ содержаніи, т. е. какъ разъ то качество, которое составляетъ собою отличительную черту *даровитаго* русскаго романиста и прямо относится къ его положительному достоинству. Всѣ лучшіе романы нашей литературы, всѣ выдающіеся крупныя созданія творческой русской мысли, въ отличіе отъ таковыхъ же французскихъ и преимущественно англійскихъ романовъ, загроможденныхъ чуть ли не сотнями дѣйствующихъ лицъ и уснащенныхъ сложною фэбулой содержанія и вводными эпизодами—всѣ наши романы просты и, если хотите, бѣдны вымысломъ, но настолько, насколько проста и бѣдна содержаніемъ сама наша дѣйствительность. Несмотря однако же на отсутствіе захватывающихъ духъ подробностей и украшеній, новое произведеніе гр. Л. Толстого читается съ интересомъ, неизримо влекущимъ васъ къ продолженію, которое ожидается съ нетерпѣніемъ. Многимъ изъ читателей, можетъ быть,

еще долго не придется познакомиться съ романомъ гр. А. Толстого, а потому я вкраткѣ постараюсь передать его содержаніе. Романъ начинается съ момента, когда въ одной изъ чиновныхъ московскихъ семей разражается одна изъ тѣхъ катастрофъ, которая окончательно или разлагаетъ семейный очагъ или, по меньшей мѣрѣ, вноситъ въ него сраманъ и злобу: это изобличенная невѣрность одного изъ супруговъ. Въ данномъ случаѣ „выпалъ“ мужчина, отецъ троихъ дѣтей, десятилѣтній мужъ своей жены, довольно видный московскій чиновникъ, жуиръ и обжора — Облонскій. Дѣйствие романа начинается именно съ самой жгучей и болѣзненной минуты, съ минуты тупаго сознанія вины со стороны мужа и криковъ, слезъ и терзанія со стороны обманутой жены. Характеръ Облонскаго — безпечный, поверхностный — какъ нельзя ярче и лучше обрисованъ авторомъ: по мѣрѣ чтенія романа и по мѣрѣ своего знакомства съ нимъ Облонскимъ, читатель мало того, что не начнетъ обвинять злодѣя, промѣнявшаго примѣрную жену свою на терпѣющую французенку-гувернантку, но сначала втайнѣ, а потомъ уже и въявь будетъ добродушно сочувствовать вѣнокитѣ. Когда онъ „выпалъ“ въ эту, собственно говоря, грязную и безчестную историю измѣны, не имѣвшей никакихъ оснований; то, несмотря на его „преступленіе“, вся прислуга въ домѣ, не исключая и старой няни, боготворившей обманутую жертву, жену Облонскаго, вся прислуга даже была на его сторонѣ. Самъ Облонскій такой характеръ и натура, что каждый, хотя мало съ нимъ знакомый, встрѣчая его, непременно приходилъ въ добродушное настроеніе и улыбался, смотря на это спокойное, жирное, баженное лицо. Въ жизни есть такіе характеры, читатель. Это тѣ люди, которые, будучи надѣлены прекрасными свойствами души, какъ бы самой природой осуждены на полное неумѣнье сдѣлать что-либо полезное и для другихъ важное. Они какъ бы размычены прензбыткомъ чувства, которое, всецѣло ихъ охватывая, давить до полной безполезности. Этого въ существѣ дѣла обиднаго и горькаго состоянія, которое заставляетъ другихъ съ улыбкой снисходительности

называть ихъ „добрыми малыми“. Что такое добрый малый? Это добродушное олицетвореніе эгоизма и того безобиднаго себялюбія, которое именно по своей откровенности и не вызываетъ въ людяхъ какихъ-либо рѣзкихъ презрѣній или ненависти. Всѣ любятъ „добрыхъ людей“, по такою любовью, которая, будучи неопредѣленною, безпричинною, скорѣе обидна, чѣмъ пріятна. Извѣстно, что только мягкіе дураки, безхарактерные добряки и прочій *безпринципный людъ* не имѣютъ враговъ.

\*\*\*

\*) Автору романа удалось великолѣпно очертить подобную личность въ лицѣ Облонскаго, возведи ее въ яркій типъ. Представьте же, читатель, что подобный, милый добрый малый „согрѣшилъ“ и притомъ невольно. Онъ, не зная самъ, какъ это сдѣлалось, промѣнялъ свою любимую, а главное, уважаемую супругу на молодую, черноокую и вѣроятно, вертливую, какъ бѣсъ, француженку. Показъ въ этотъ просакъ, онъ теряется, льетъ слезы раскаянія, совѣтуется съ камердинеромъ, который съ олимпійскимъ равнодушіемъ увѣряетъ, что „барыня образуется“... какъ не сочувствовать нескромно кающемуся и невольному грѣшнику? Вокругъ семейства Облонскихъ группируется нѣкая серія дѣйствующихъ въ романѣ лицъ, гораздо болѣе интересныхъ со стороны психическаго анализа и своего, такъ сказать, жизненнаго значенія. Если разобрать ихъ хотя бы съ такою же бѣглостью, съ какою я говорилъ объ Облонскомъ, то моя замѣтка превзошла бы размѣры газеты и можетъ быть, утомила бы читателей. Героиня романа, давшая ему имя, Анна Каренина выступаетъ еще слишкомъ мало, чтобы судить о ней; изъ семи главъ ей посвящено только нѣсколько страницъ, на которыхъ она проходитъ только, какъ красивая оболѣстительная женщина, *сущность* которой пока еще неопредѣленно. Кити-княжна, дѣвица такъ

\*) „Астраханскій Справочный Листокъ“ 1875 г., № 34. (Окончаніе предыдущей статьи).

себѣ, безъ всякой яркости, и вообще женскіе типы романа еще вѣсь впереди. Въ свое время я снова возвращусь къ роману гр. А. Толстого и потолкую объ немъ съ читателями „Исетка“.

*Изъ Австралийскаго Справочнаго Листка. Страница Амурска.*

\*\*\*

\*) Наша литература „снѣинитъ медленно“. Это лучше всего видно изъ того, что, оглядываясь за цѣлые три мѣсяца, въ теченіе которыхъ, по случаю пріостановки „Русскаго Мира“, мы должны были прекратить наши еженедѣльные обозрѣнія, и отыскивая оказавшіеся вѣдѣствіе того пробѣлы въ нашей литературной лѣтописи, мы съ удивленіемъ замѣчаемъ, что никакихъ пробѣловъ, въ сущности, нѣтъ, и что мы спокойно можемъ возобновить свою хроніку съ того самаго пункта, на которомъ остановились три мѣсяца назадъ. Да и то намъ придется говорить лишь о томъ, о чемъ уже было сказано въ началѣ года. Единственнымъ крупнымъ литературнымъ явленіемъ остается всепрежнему „Анна Каренина“: ее ждуть съ нетерпѣніемъ, ее читаютъ парасхватъ, объ ней толкуютъ и спорятъ. Какъ всякое талантливое произведеніе, романъ этотъ успѣлъ уже дожить и взбудоражить всю нечистоту, въ обыкновенное время спокойно лежащую на днѣ нашей журналистики, но при каждомъ крупномъ фактѣ въ литературной области всплывающую на поверхность. Застарѣлыя ненависти, давно уже перешедшія въ хроническое, пагубное, расшевелились и на нѣкоторое время вновь приняли острую форму: порывающая насъ толстая кора самодовольной пошлости и тенденціозныхъ предразсудковъ, прорѣзанная лучами яркаго таланта, кажется еще толще...

Отсутствіе новыхъ идей, новыхъ типовъ, новыхъ эле-

\*) „Русскій Миръ“ 1875 г., № 69. А. О. (В. Г. Аверченко). „Отверженіе старой литературы“.

ментовъ отражается въ настоящую эпоху даже на произведеніяхъ, совершенно выходящихъ изъ обычнаго уровня. Отраженіе это тусклымъ свѣтомъ легло и на „Анну Каренину“; оно чувствуется сквозь свѣжесть авторскаго таланта, сквозь поэзію его мысли, сквозь изысканный рисунокъ его героинь. Основной смыслъ этого романа въ стремленіи уйти отъ тѣхъ явленій современной дѣйствительности, которыя Герценъ называетъ въ ихъ совокупности „мѣщанствомъ“. Среди всеобщей потребности слиться съ безличною массою, жить ея повседневными практическими интересами, авторъ отыскиваетъ уголокъ современнаго общества, живущій какъ бы отдѣльною жизнью, полною преданій той эпохи, когда „мѣщанство“ еще не стучалось въ каждую дверь. Эта обособившаяся жизнь, чуждая интересовъ и волненій толпы, кажется большинству современныхъ читателей совершенно безсодержательною и пошлою. На самомъ дѣлѣ она, конечно, не такова. Авторъ не только наполняетъ ее содержаніемъ, онъ сообщаетъ ей известное обаяніе. Но откуда идетъ это обаяніе? Гдѣ беретъ романистъ чары, которыми облакаетъ прелестный образъ Кити Щербацкой, полную страсти личность Анны Карениной, симпатичную природу Константина Левина, очаровательную въ своемъ легкомысліи фигуру Стивы Облонскаго? Увы, все эти чары, все эти обаянія извлечены изъ противоположенія упомянутыхъ лицъ элементамъ новой жизни, той жизни, гдѣ господствуетъ „мѣщанство“. Тайна прелести, окружающей героевъ и героинь романа, заключается именно въ томъ, что они сохраняютъ въ себѣ и въ своей жизни черты прежнихъ людей, прежней эпохи, что они инстинктивно и органически враждебны „мѣщанству“. Такимъ образомъ, вся прелесть жизни сводится къ сохраненію ея прежнихъ очарованій, къ поддержанію живучести преданій. Ни въ чемъ характеръ и смыслъ переживаемой эпохи не выражаются съ такою очевидною наглядностью какъ въ этомъ обстоятельствѣ. Мы присутствуемъ при *остаточномъ переживаніи жизни*. Лучшіе люди перестаютъ гоняться за новыми „мѣщанскими“ идеалами; вся ихъ забота состоитъ въ томъ,

было отстоять насколько возможно старый строй жизни, в которую со всехъ сторонъ, во все пробитыя брени рывається „мѣщанство“, т. е. новая жизнь.

Прежде, когда человечество еще не изжило своихъ творческихъ силъ, его внутренняя исторія заключалась въ постоянномъ, непрерывномъ развитіи и обновленіи идеаловъ. Новые идеи непрерывнымъ притокомъ входили въ жизнь, ривнося въ нее новые элементы добра, правды, красоты. Все, что было молодого, свѣжаго, обреченнаго жизни, стремилось за ними. Теперь наступила эпоха истощенія духовнаго голода. Но бѣжать за новыми идеями, а оказать имъ посильный отпоръ, сохранить расшатывающійся старый строй жизни среди новыхъ ея условий — вотъ что стало задачей избраннаго меньшинства, лучшихъ людей. Божье поднаго, рекового истощенія нельзя себѣ представить.

Вникните въ источникъ тѣхъ очарованій, которыми авторъ окружаетъ своихъ любимыхъ героевъ, Кити Щербакову и Константина Левина. Въ чемъ заключается особенная притягательная сила, которую обнаруживаетъ Кити въ Левинѣ? Примемъ слова автора въ первой части романа: „Дома Левинныхъ и Щербацкихъ были старые дворянскіе московскіе дома и всегда были между собою въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Онъ вмѣстѣ готовился и вмѣстѣ поступилъ въ университетъ съ молодымъ княземъ Щербацкимъ, братомъ Долли и Кити. Въ то время Левинъ часто бывалъ въ домѣ Щербацкихъ и зажилъ въ домѣ Щербацкихъ. Какъ это ни странно можетъ показаться, но Константинъ Левинъ былъ влюбленъ именно въ домъ, въ семью, въ особенности въ женскую половину семьи Щербацкихъ. Самъ Левинъ не помнилъ своей матери, и единственная сестра его была старше его, такъ что въ домѣ Щербацкихъ онъ въ первый разъ увидалъ ту самую среду стараго дворянскаго, образованнаго честнаго семейства, которой онъ былъ лишенъ смертью па и матери. Все члены этой семьи, въ особенности

женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завѣсой, и онъ не только не видѣлъ въ нихъ никакихъ недостатковъ, но подъ этою поэтической, покрывавшею ихъ завѣсой предполагалъ самыя возвышенныя чувства и всевозможныя совершенства“. Итакъ, весь смыслъ очарованій заключается въ живучести стараго склада жизни, въ преданіяхъ пастѣдственной культуры, которыми отличаются московскія старо-дворянскія семьи и которыхъ не имѣетъ новая общественная масса. Очевидно, что интересы настоящей минуты, элементы новой жизни, „новыя идеи“ участвуютъ въ этихъ очарованіяхъ только отрицательно, только тѣмъ, что занимаютъ крайне незначительное мѣсто, если не вовсе отсутствуютъ. Сама Анна не болѣе какъ прекрасный продуктъ этого стараго склада жизни, стараго воспитанія, старыхъ формъ общенія, и Левинъ былъ приготовленъ полюбить ее тѣмъ обаяніемъ, которое производила на него самая среда, самый домъ Щербацкихъ.

Вглядитесь также, между какими элементами ставитъ авторъ Константина Левина. Его мысль, его чувства, его вкусы и симпатіи раздѣлены между двумя крайними слоями московскимъ, большимъ свѣтомъ и народомъ. Левинъ чувствуетъ себя совершенно привольно или въ средѣ Щербацкихъ и Облонскихъ или у себя въ деревнѣ, среди народа. Весь толстый промежуточный слой, т. е. вся та центральная среда, гдѣ на полной волѣ господствуютъ новыя идеи и новыя теченія жизни, гдѣ развиваются элементы, охарактеризованные Герценомъ словомъ „мѣщанство“ — для него не существуетъ и, вѣроятно, даже противна ему. Такимъ образомъ и здѣсь главнымъ мотивомъ романа является удаление отъ новыхъ началъ жизни, отъ ея господствующаго тона и направленія.

Въ концѣ концовъ мы видимъ странное явленіе: большой романъ съ необычайнымъ мастерствомъ написанный рукою великаго художника, романъ, гдѣ дѣйствуетъ множество современныхъ лицъ — современныхъ въ томъ смыслѣ, что такія лица дѣйствительно существуютъ въ наше время —

и встрѣтъ съ тѣмъ въ этомъ прекрасномъ романѣ вы не только не видите господствующаго теченія современной жизни, не только не встрѣчаете ни одного изъ тѣхъ типовъ, которыми наиболѣе характеризуется нынѣшнее общество (за исключеніемъ развѣ одного Николая Левина, лица совершенно второстепеннаго, нарушающаго общую гармонию произведенія), но вы чувствуете, кромѣ того, что всѣ эти люди, вся эта жизнь органически враждебны элементамъ новѣйшей дѣйствительности и ея главному смыслу—умственному и нравственному мѣщанству. Развѣ это не намеренательно, развѣ это не «признакъ времени?»

Если бы гр. Толстой былъ тенденціознымъ памфлетистомъ, еслибы онъ не былъ прежде всего истиннымъ и большимъ художникомъ, обстоятельство, на которое мы указываемъ, не имѣло бы большого значенія. Это было бы «мишье» и ничего болѣе. Но гр. Толстой, какой бы опредѣленности ни достигалъ его образъ мыслей въ вопросахъ общественныхъ, прежде всего поэтъ, т. е. писатель, одаренный творческою силою. Эта творческая сила заставила бы его создать новые идеалы, если бы современная дѣйствительность представляла необходимый для того матеріалъ. Но въ томъ то и дѣло, что матеріала этого нѣтъ. Типы положительные, типы болѣе или менѣе приближающіеся къ идеалу, пережевываютъ элементы старой жизни. Они привлекательны лишь тѣмъ, что сохраняютъ въ себѣ старую закваску, что къ нимъ не подмѣшано новыхъ дрожжей. Отсюда, конечно, исходитъ главнымъ образомъ ожесточеніе, возбужденное „Анной Карениной“ въ нѣкоторыхъ литературныхъ муравейникахъ. Намъ попалась въ глаза одна критическая статья, въ которой это озлобленіе выразилось особенно энергично. Авторъ этой статьи, сравнивая романы г. Боборыкина съ романами гр. Толстого, находитъ послѣдніе гораздо соблазнительнѣе и безнравственнѣе первыхъ. Если бы наши критики—говорится въ этой статьѣ—были нѣсколько проникательнѣе и поемѣлѣе, они увидѣли бы очень ясно, что въ шести томахъ великой и „вѣковѣчной“ эпопеи гр. Толстой съ настойчивой раз-

визностью старался доказать, что такъ называемая гражданская дѣятельность, такъ называемыя политическія стремленія, предпринимаемыя во имя принципа цивилизаціи, въ сущности, представляютъ призракъ... вздоръ. Исходя отъ этой мысли, гр. Толстой желалъ вывести и, действительно, наглядно выводить въ „Войнѣ и Мирѣ“ такое заключеніе: цѣль жизни и значеніе жизни каждаго человека должны заключаться не въ поминутной дѣятельности и поминутныхъ стремленіяхъ, а въ узкомъ эгоистическомъ улаженіи себя половыми отношеніями и въ ихъ вѣнцѣ — семейной жизни, понимаемой притомъ въ самомъ грубомъ и притомъ циническомъ смыслѣ. Понятно, что „Война и Миръ“ всомнѣнны критикомъ лишь потому, что идея и направление обоихъ произведеній весьма сходны; критикъ, действительно, переходитъ вслѣдъ за тѣмъ къ „Аннѣ Карениной“ и рекомендуетъ гр. Толстому, какъ вести далѣе этотъ романъ: „Левинъ женится на Кити (какъ это, вѣроятно, и случится) и живетъ съ нею въ сельскомъ уединеніи, презирая всякія политическія и гражданскія, безплодныя и скучныя заботы, порождаемыя цивилизаціей и прогрессомъ. Но по прошествіи нѣкотораго времени, въ душѣ Левина неожиданно-негаданно зарождается чувство болѣе непосредственное и, слѣдовательно, гораздо болѣе сильное и законное, чѣмъ любовь къ женѣ: Левинъ взыскиваетъ, сельскохозяйственною любовью къ коровѣ Павѣ“. Далѣе слѣдуетъ нѣчто совсѣмъ безобразное, чего мы не рѣшаемся повторить изъ уваженія къ читателямъ „Русскаго Мира“. Критика извѣстнаго лагеря до такой степени превзошла здѣсь мѣру приличія, что даже рецензентъ „Голоса“ возмущенъ. Откуда идея это озлобленіе? Безъ сомнѣнія, оно возбуждено тѣмъ игнорированіемъ новыхъ началъ жизни, которое составляетъ подкладку романа гр. Толстого. Эти начала до такой степени по плечу современной массѣ, что она, конечно, не иначе какъ съ крайнею досадою смотритъ на всякаго, кто не присоединяется къ ея вкусамъ и симпатіямъ, кто указываетъ на мѣщанскій покрой платья, въ которомъ она только что собралась пощеголять.

Винить автора въ этомъ отрицательномъ отношеніи къ современной дѣйствительности, винить его въ томъ, что онъ не указалъ намъ новаго идеала, что выведенная имъ среда привлекательна только потому, что сохранила очарованія прежняго общества, прежней эпохи, разумеется, вѣдься. Если бы жизнь представляла новыя положительныя стороны, онъ, безъ сомнѣнія, отразился бы въ романѣ. Винавать не авторъ, — виновато органическое истощеніе творческихъ силъ, которое чувствуется въ самой жизни. Авторъ, напротивъ, сдѣлалъ съ своей стороны все, чтобы отыскать наиболѣе возможную и удобную форму жизни среди новыхъ условий. Онъ думаетъ, что можно уйти въ дальное уединеніе, въ семью, въ народъ; онъ не хочетъ оставить читателя безъ примиренія и исхода. Но и примиреніе и исходъ оказываются крайне искусственными. Несмотря на чрезвычайную свѣжесть, вбѣющую отъ тѣхъ страшиль, гдѣ Левинъ, уединившись у себя въ деревнѣ, весь проникается сельско-хозяйственными интересами, сближается съ народомъ, проводить съ нимъ цѣлые дни подъ открытымъ небомъ на покосѣ — читатель чувствуетъ во всемъ нѣкоторую натяжку и не вѣрить, чтобы можно было действительно совсѣмъ уйти въ эту жизнь. Авторъ, впрочемъ, держитъ въ запасѣ для своего героя вѣчто другое — бракъ, семью. Но браки бываютъ счастливые и несчастные, семьи бываютъ дружественныя и идущія въ разладъ. Решеніе только кажущееся, на самомъ же дѣлѣ вопросъ остается открытымъ.

Но мы довольно уже вращались въ общихъ идеяхъ, довольно толковали объ общемъ содержаніи романа; пора обратиться къ частностямъ. Ограничимся, впрочемъ, лишь немногими замѣчаніями.

Графъ Толстой, какъ извѣстно, принадлежитъ къ числу фальш-романистовъ, которые очень мало заботятся о внѣшней фабулѣ и о планѣ произведенія. Мы, конечно, не станемъ утверждать, чтобы то и другое было въ такой же мѣрѣ важно, какъ и внутреннее содержаніе романа; но нѣтъ сомнѣнія, что бѣдность фактическаго вымысла; излишняя

растянутость и несоразмерность плана отзываются невыгоднымъ образомъ даже на такихъ замѣчательныхъ созданныхъ таланта, какъ „Анна Каренина“. Недостатокъ этотъ становится особенно ощутителенъ въ послѣднихъ главахъ помѣщенныхъ въ мартовской и апрѣльской книжкахъ „Русскаго Вѣстника“. Драма, такъ сильно и ярко завязанная между Анной и Вронскимъ, пріостанавливается вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оба эти лица сходятъ на время со сцены дѣйствія. Правда, жизнь Левина въ деревнѣ, сцены на тягѣ, на покосѣ—дышать свѣжею, здоровою поэзіей; но въ нихъ слишкомъ чувствуется отсутствіе драматическаго элемента, и онѣ затягиваютъ ходъ повѣствованія. Виною здѣсь отчасти самъ Левинъ, т. е. его недѣятельная, пассивная натура. Такие люди очень симпатичны, но ихъ жизнь большею частью мало интересна, потому что въ ней слишкомъ мало фактовъ. Вообще можно сказать, что мужской персонажъ въ романѣ гораздо слабѣе женскаго. И Левинъ и Вронскій не могутъ не показаться людьми недостаточно значительными подлѣ такихъ женщинъ какъ Кити и Анна. Въ Левинѣ слишкомъ мало инициативы, въ Вронскомъ слишкомъ мало внутренняго содержанія. Это натура лишь вышнимъ образомъ блестящая, и если Анна увлеклась имъ, то, конечно, только потому, что наше общество вообще оскудѣло замѣчательными людьми. Нельзя не подумать также, что Вронскій—главная причина того непониманія, съ какимъ критика отнеслась къ героинѣ романа. Въ ея выборѣ увидѣли свидѣтельство ея собственной пустоты и даже... безправственности. Послѣдній пунктъ можно пройти молчаніемъ, потому что позволительно усомниться въ правдивости той теоріи, на основаніи которой наша критика „положила мораль“ на Анну. Относительно же пустоты и, какъ выражаются наши газетные рецензенты, „пошлости этой женщины“ нельзя не замѣтить, что пошлость есть понятіе весьма относительное. По нашему, напримѣръ, мнѣнію, героини повѣстной беллетристики, разносяція по градамъ и весямъ земли русской тенденціи петербургскаго журнализма, гораздо пошлѣе Анны Карениной, не въ обиду

умъ будь сказано. Впрочемъ, это такой предметъ, о которомъ надо сказать очень много, чтобы быть вполне понятимъ, а мѣста у насъ очень мало. Замѣтимъ только, что это одна изъ самыхъ блестящихъ героинь, созданныхъ графомъ Толстымъ: она принадлежитъ къ той же категоріи женщинъ, какъ и героини Пушкина, Лермонтова, Тургенева. — женщинъ, живущихъ исключительно сердцемъ. Героини эти не во вкусъ нашего „новаго“ общества, но едва ли авторъ много о томъ заботился...

Читатели, конечно, догадаются, что если въ этой статьѣ мы позволимъ себѣ сказать послѣднее мнѣніе о некоторыхъ истинныхъ недостаткахъ романа графа Толстого, то это потому, что общія художественныя достоинства произведенія, его исключительное мѣсто въ текущей литературѣ — мы считаемъ не подлежащими никакому сомнѣнію. Несмотря на нѣсколько ослабѣвшій интересъ послѣднихъ главъ, мы остаемся при томъ же впечатлѣніи, какое высказали четыре мѣсяца назадъ, въ первой статьѣ нашей объ этомъ романѣ.

*Изъ „Русскаго Мира“ 1875 г. Статья А. О.  
(В. Г. Аверченко).*

\*\*\*

Наша охранительная печать, за послѣднее время, какъ-то особенно „не въ авантажѣ обрѣтается“, и чуть не падежомъ шагу дѣлаетъ „описки“ вольныя и невольныя, вѣдомыя и невѣдомыя. Къ числу такихъ „описокъ“ я отношу отзывъ г-на А. О. о новомъ романѣ гр. Л. Н. Толстого „Анна Каренина“.

Этотъ г. А. О. подвизается за разъ и въ „Русскомъ Мирѣ“ и въ то же время (какъ оцѣ недавно самъ заявилъ) практикуетъ и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Критикъ этотъ, очевидно, считается у нашихъ охранителей за отличнаго трика, потому что (какъ видите) его берутъ они парас-

\*) „Новое Время“ 1875 г., № 49. Статья Экса (А. Н. Чевышева-Дмитревъ).

хватъ. И однако, этотъ критикъ парасхватъ написалъ объ „Аниѣ Карениной“ такую галиматью, что въ ней ровно ничего понять нельзя.

Содержаніе этого едва начавшагося романа можно разсказать очень кратко: жилъ, а можетъ быть, живетъ и теперь въ Москвѣ пустой, но добрый малый и пріятный человѣкъ, пріятель всего свѣта, Степанъ Аркадьевичъ Облонскій. Чтобы дать вамъ болѣе ясное понятіе объ этомъ добромъ маломъ, приведу слѣдующее мѣсто изъ романа: „... (Выписка, начинающаяся словами: „Степанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету“ и кончающаяся словами: „Онъ любилъ свою газету, какъ сигару послѣ обѣда, за легкій туманъ, который она производила въ его головѣ“).

Жилъ себѣ Облонскій весело, безмятежно благодушествовать—и вдругъ въ одинъ прекрасный вечеръ попался: его женѣ попалась его перениска, изъ которой она узнала, что „мужъ ея былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ французскою гувернанткой—и вотъ, она объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ“. Въ посредники примиренія Облонскій вызвалъ изъ Петербурга свою сестру Анну Каренину. Та прѣзжаетъ и улаживаетъ дѣло между супругами. Анна Каренина описана авторомъ настолько, что возбуждаетъ въ читателѣ неодолимое желаніе познакомиться съ нею ближе, но абрисъ этотъ, при всемъ своемъ неподражаемомъ мастерствѣ, еще не даетъ читателю возможности составить себѣ точное понятіе, что это за женщина: мы знаемъ только, что (говоритъ словами одного охранительнаго рецензента) „это роскошная красавица и натура, какъ видно, богато одаренная: но еще не знаемъ, какъ смотрѣть на нее; покуда у насъ является невольное недоверіе къ ея добротѣ и ко всемъ ея качествамъ“.

Рядомъ съ этой драмой въ семьѣ Облонскихъ, идетъ другая. Пріятель Облонскаго, Левинъ, влюбленъ въ сестру его жены, книжну Кити Щербацкую. Та, въ свою очередь, заинтересована не имъ, а блестящимъ, выхощен-

нымъ, пустымъ не менѣе Облонскаго, но безъ его добродушія, флигель-адъютантомъ графомъ Вронскимъ, который ухаживаетъ за нею ради препровожденія времени, нисколько не интересуясь ею серьезно. Приѣзжаетъ въ Москву Анна Каренина — и Вронскій сразу сталъ ея поклонникомъ, бросивъ свое ухаживанье за Кити. Вотъ вамъ вкратцѣ содержание романа и характеристика его главнѣйшихъ героевъ. Но вотъ что я читаю у критика парасхватъ г. А. О.:

„Среди безпорядочно сѣмшавшагося общества еще есть люди, сохранившіе привычки и стремленія къ чему-то лучшему, у которыхъ изящество жизни не считается развлеченіемъ, культурныя формы общежитія не рассматриваются какъ продуктъ крѣпостного права, красота и свѣжесть производятъ впечатлѣніе. Теченіе несетъ ихъ, куда ему вздумается, но они остаются сами собою, разсѣваясь, но не растворяясь въ мутномъ потокѣ. Отличительная черта таланта гр. Л. Толстого, особенность его авторской индивидуальности заключается именно въ томъ, что онъ умѣетъ находить этихъ людей, сохраняющихъ среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія стараго культурнаго общества. Оставаясь реалистомъ, какимъ его необходимо признать, авторъ, „Войны и Мира“ умѣетъ надъ возмуженнымъ уровнемъ современной дѣйствительности отыскать разрывъ верхній слой, живущій чисто-человѣческими интересами, доступный благороднымъ чувствамъ и романтическимъ порываніямъ. Оттого романы и повѣсти гр. Л. Толстого, независимо отъ его чарующаго таланта, производятъ такое освѣжающее, можно сказать, облагораживающее впечатлѣніе“.

Примѣромъ графа Л. Н. Толстого г. А. О. желаетъ колотъ панну либеральную беллетристику. Колотъ ее стоить, я за нее не стою, — но... Прошу васъ, сравните Анну Каренину съ тѣмъ, что пишеть объ этомъ романѣ г. А. О., — и вы согласитесь, что самый сумбурный изъ продуктовъ нашей либеральной беллетристики все-таки не того сумбуренъ, какъ рецензія г. А. О. Дѣйствіе „Анны Карениной“ (по словамъ г. А. О.) происходитъ въ томъ

„разрѣженномъ верхнемъ слое“, который „живетъ чисто-человѣческими интересами“. Прекрасно. Я читаю романъ и вижу, что однимъ изъ главныхъ героевъ этого „разрѣженного верхняго слоя“ является Облонскій: а человекъ этотъ такого сорта, что „ни наука, ни искусство, ни политика собственно его не интересовали“. Выходить, по г. А. О., что не интересоваться ни наукой, ни искусствомъ, ни политикой—значить „жить чисто человѣческими интересами“. Облонскій заводитъ любовницу у себя въ домѣ: по г. А. О. выходитъ, что это значить „изящество жизни не считать развратомъ“ и „сохранять среди новыхъ наслоеній лучшія преданія стараго культурнаго времени“. Вронскій занимается тѣмъ, что для пріятнаго пуръ-се-денеца кружить голову двушкѣ, къ которой ни серьезнаго и никакого чувства не питасть: по г. А. О. выходитъ, что такое времяпрепровожденіе есть культурная сторона обществѣ“, свидѣтельствующая о „благородныхъ чувствахъ и романтическихъ порываніяхъ“. Вронскій увлекся Карениной. Такія блестящія, опытные въ жизни, прожженные (извините за простонародное выраженіе) женщины всегда производятъ неотразимое впечатлѣніе на такихъ хлыщевъ, какъ Вронскій. Но и эта исторія хлыщеватой любви неспособна производить на читателей того „освѣжающаго и, можно сказать, облагораживающаго впечатлѣнія“, о которомъ толкуетъ г. А. О.

Изъ всего, что говорить г. А. О., можно согласиться развѣ только съ однимъ: Облонскій измѣнилъ своей старой и некрасивой женѣ ради черноглазой француженки. Въ этомъ я готовъ видѣть характеризующее (по мнѣнію г. А. О.) верхній разрѣженный слой „стремленіе къ чему-то лучшему“. Я готовъ признать, что Облонскій при этомъ, дѣйствительно, проявилъ себя истиннымъ сыномъ „культурной среды“, на котораго „красота и свѣжесть производятъ впечатлѣніе“,—даже до адюльтера. Но я увѣренъ, что своимъ согласіемъ въ этомъ пунктѣ я не доставлю удовольствія г-ну А. О.,—напротивъ! Словомъ, г. А. О. какъ будто страдаетъ галлюцинаціею и, вслѣдствіе того,

видить въ „Аннѣ Карениной“ совсѣмъ не то, что этотъ романъ представляетъ собою въ дѣйствительности. Если же мы отвлечемся отъ того, что говорить для публики сей критиканъ нарасхватъ, и постараемся проникнуть въ то, что онъ чувствуетъ про одного себя—тогда вся его высокопарно-безсмысленная тирада о „разрѣженномъ слоѣ“ объясняется очень просто и оказывается замысловатымъ выраженіемъ весьма незамысловатаго чувства.

Г-нъ А. О. принадлежитъ къ класу представителей той вѣрно-преданно-камердинерской философіи, о которой я говорилъ въ прошломъ письмѣ по поводу „Гражданина“. Крѣпостные камердинеры не любили „мужичья“ и чувствовали рабью симпатію къ знатымъ барамъ. Г-нъ А. О. тоже не любитъ мужичья, и уже давно сокрушается о томъ, что наша литература, со временъ Гоголя, возится все съ низшими слоями общества. Графъ Л. Н. Толстой взялъ мѣстомъ дѣйствія своему роману великосветскую среду, — ну, вотъ и выиграло камердинерское сердце г-на А. О. радости велию: „Хоть Левъ-то Миколанчъ знается съ хорошими людьми“...

Рецензій на „Анну Каренину“ навели меня на нѣкоторыя мысли о положеніи нашей современной критики вообще. Объ этомъ предметѣ я поговорю въ слѣдующемъ письмѣ.

Изъ „Новаго Времени“ 1875 г. Статья Экса (А. П. Чебышева-Дмитріева).

\* \* \*

\*) Нѣтъ ничего вульгарнѣе и безсмысленнѣе стереотипныхъ приговоровъ, въ родѣ „высоко-художественное произведеніе“. Эти выраженія даютъ вамъ слишкомъ много, а потому ничего не даютъ. Въ самомъ дѣлѣ, — Венера или Медуза, Аполлонъ или Сатиръ, развѣ они не „высоко-художественныя“ произведенія? Но, вѣдь, вопросъ этимъ не исчерпывается: мнѣ любопытно узнать ту мысль, которая

„Новости“ 1875 г. № 134. Статья М. В.

руководствовала извѣстнымъ созданиемъ, прослѣдить тѣ черты, которыя бы мнѣ дали право произнести тотъ или другой приговоръ. Работа эта, конечно, не легкая, гораздо труднѣе той, которая идетъ на словозверженія вроде: „талантливый“, „высокій“, „художественный“ и т. д.

Вся разница кроется здѣсь въ томъ отношеніи, въ которомъ находится читатель къ произведенію. Большинство читателей придерживается системы такъ называемыхъ повольныхъ, т. е. весьма неопредѣленныхъ впечатлѣній. Я читаю книгу, она мнѣ нравится, она производитъ на меня впечатлѣніе пріятное—вотъ и все. Далѣе этого анализъ обыкновенно не идетъ. Процессъ чтенія производится какъ бы машинально, впечатлѣнія воспринимаются непосредственно, подѣтски: изъ плодовъ этихъ чтеній являются, конечно, тѣ высокопарныя и пустыя сужденія, о которыхъ я упоминалъ.

А спросите-ка любого изъ этихъ глашатаевъ искусства, почему такое произведеніе высоко, художественно и т. д.? Оно подумаетъ, подумаетъ и скажетъ: „какъ почему? да развѣ вы этого не чувствуете?“ да развѣ здѣсь еще нужно размышлять? Оно художественно потому, что оно производитъ художественное впечатлѣніе!“....

Въ одной изъ комедій Мольера, докторъ слѣдующимъ образомъ объясняетъ дѣйствіе опиума: „опіумъ усиливаетъ, потому что онъ обладаетъ усиляющимъ свойствомъ“. Точно также и большинство читателей судить о художественности произведенія.

Да не подумаетъ иной читатель, что я началъ борьбу съ вѣтринами мельницами, и хочу поражать то, что давно уже погребено литературными мифіями. Дѣло въ томъ, что у насъ, къ сожалѣнію, литература и публика во многомъ еще стоятъ на совершенно различной почвѣ: литература сама по себѣ, а публика сама по себѣ. То, что уже давно стало достояніемъ литературы, то, что вошло уже влѣоть и кровь ея, то еще долго должно дожидаться благосклоннаго пріема публики: публика обыкновенно своенравна и легка, но она всегда была и будетъ завзятымъ, упрямымъ консерваторомъ.

И въ этомъ случаѣ публика крѣпко держится своихъ догматическихъ взглядовъ на искусство: ей нужны непосредственные впечатлѣнія, она боится критики; по ея мнѣнію, критика не только не возвышаетъ искусства, а только унижаетъ его. Она допускаетъ только такую критику, которая въ сущности рѣла бы ей то же самое, что она почти безсмысленно повторяетъ: ей нужны слѣпыя дифирамбы генію, ей нужны вѣнки и цвѣты, которые украшали бы его алтарь. Ваюлибъ ли заслужены эти вѣнки, — до этого ей дѣла нѣтъ.

Но, какъ я уже замѣтилъ, на ряду съ консерватизмомъ въ публикѣ живетъ не малая доля своеправности и легкости характера. Она въ одинъ мигъ готова разбить свои кумиры, попортить ихъ алтари и развѣять вѣнки и цвѣты по воздуху. Въ такія минуты она, къ несчастію, обращается къ критикѣ, не понимая и се, какъ она подчасъ не понимаетъ и своихъ геніевъ. Каждое замѣчаніе критики возводится чуть не въ преступленіе автора: изъ мухи мгновенно вырастаетъ слонъ, и этотъ слонъ сметаешь своимъ хоботомъ все хорошее, оставляя какъ бы на смѣхъ одни недостатки, одни промахи.

Извѣстно, что критику, въ особенности критику безпристрастную, всего чаще занимаютъ недостатки произведенія: чѣмъ выше это произведеніе, тѣмъ, конечно, требованія къ нему шире и тѣмъ недостатки его рельефнѣе выступаютъ передъ глазами критика. Мы можемъ допустить не-правильность формъ въ какомъ-нибудь грубомъ малеваніи, но она немыслима въ Рафаэлевой мадоннѣ. И вотъ это то свойство критики весьма часто должно истолковываться публикою, и она, подхвативъ какое-нибудь рѣзкое сужденіе объ одномъ или нѣсколькихъ промахахъ автора, распространяетъ его на все произведеніе, оборачивается къ нему снисною и начинаетъ презрительно пожимать плечами.

Мысли эти возбуждены во мнѣ по поводу романа гр. А. Толстого „Анна Каренина“. Романъ этотъ породилъ большія ожиданія какъ въ литературѣ, такъ и въ публикѣ. На первую часть его накинудись съ такою единодушною

жадностью, что книжку „Русского Вѣстника“, гдѣ онъ былъ помѣщенъ, приходилось доставать чуть не съ бою. Но вотъ въ критикѣ начали появляться осужденія разныхъ отдельныхъ промаховъ автора (осужденія по большей части или преждевременныя или невѣрныя: такъ, напримѣръ, одинъ изъ критиковъ указалъ на Левина, какъ на фальшивое лицо; другой ставилъ въ вину гр. Толстому, что онъ полемъ дѣйствія избралъ не весь народъ, а только отдельные слои общества), и публика вдругъ охладѣла къ этому произведенію. Тѣ самыя лица, которыя чуть не со священнымъ ужасомъ брались за первую часть романа, теперь отзываются о немъ съ какою-то пренебрежительною легкостью, а тѣ, которые продолжаютъ упорно провозглашать „высокохудожественность“ этого произведенія, говорятъ это такимъ тономъ, какъ будто имъ самимъ стоитъ только присѣсть, чтобы сразу породить такую же „высокохудожественность“. Недаромъ римляне говорили: „habent sua fata libella“. Да, книги имѣютъ свою судьбу, и судьбу весьма часто печальную.

Стоитъ только взглянуть въ каждую изъ сценъ новаго романа, чтобы видѣть всю силу таланта автора. Каждая глава представляетъ собою какъ-бы законченное художественное произведеніе. Этотъ романъ напоминаетъ мнѣ большія картины, истинно талантливыя, въ которыхъ, несмотря на множество группъ, каждое лицо отдельной группы воспроизведено съ замѣчательною художественностію. Отдельныя описанія дышатъ правдою, нигдѣ нѣтъ натяжки, словно вы все передъ собою живьемъ видите. Описываетъ гр. Толстой деревню, общество или кружки, и вы точно живете въ этой деревнѣ, вращаетесь въ томъ обществѣ и имѣете интересы общіе съ кружкомъ. Ужъ за одно это произведеніе гр. Толстого стоитъ многихъ выше тѣхъ доморожденныхъ романовъ, въ которыхъ каждое описаніе составлено какъ бы изъ клочковъ, каждое лицо вымышлено и ходульно, а не взято изъ жизни и освѣщено правдой.

Передавать содержаніе романа невозможно въ одномъ фельетонѣ, да къ тому же романъ и не оконченъ. Я хочу

нѣтъ только разобрать одинъ отрывокъ, который, по упомянутому свойству таланта гр. Толстого, можно прочесть совершенно отдѣльно отъ романа, и онъ тѣмъ не менѣе произведетъ вполне цѣльное впечатлѣніе какъ красотою описанія, такъ и тонкостью психологическаго анализа. Одна изъ сценъ представляетъ намъ русское семейство на нѣмецкихъ водахъ.

„Фюрстъ Щербакскій *земля, гемалингъ, древо, погнерегъ*“ прѣхали на воды и тотчасъ же „кристаллизировались въ свое опредѣленное и предназначенное имъ мѣсто“.

На водахъ кристаллизація эта замѣчается особенно ярко. Здѣсь, несмотря на такъ называемую простоту, существуетъ самый строгій этикетъ, и если какая-нибудь „гемалингъ фюрста“ и вздумаетъ говорить съ простымъ смертнымъ, то она умѣетъ это дѣлать такимъ тономъ, какъ будто даетъ ему милостыню или беретъ на себя эту миссію съ единственною цѣлью стать ангеломъ утѣшителемъ бѣднаго смертнаго. Въ остальномъ же князья и графы держатся строго своихъ кружковъ и не допускаютъ никакихъ прѣсей.

Вмѣстѣ съ княземъ и княгинею прѣхала и дочь ихъ Кити. Для объясненія послѣдующаго нужно упомянуть, что Кити была влюблена въ блестящаго офицера Вронскаго, который, однако, отвергъ ее любовь для Анны Карениной. Она заболѣла и доктора совѣтовали отвратиться на воды.

И такъ Кити на водахъ. Больное сердце не устало, оно ищетъ кого полюбить: эта черта превосходно подмѣчена гр. Толстымъ. Обманутая любовь не сунитъ сердца, напрасно такъ полагаютъ многіе. Нѣтъ, въ эти-то минуты сердце болѣе всего ищетъ къ кому бы привязаться, кого бы полюбить. И Кити находитъ свою привязанность: это русская дѣвушка Варенька, воспитанница мадамъ Шталь, великосвѣтской барыни. Варенька представляетъ собою идеальную сестру милосердія: она не только ухаживаетъ за больною мадамъ Шталь, но находитъ еще время ухаживать за другими больными и утѣшать ихъ. Все это дѣлается ею съ такою простотою и безыскусственностью, что всѣ прини-

мають ея услуги, какъ нѣчто должное, и она становится почти необходимою для всѣхъ. Кити съ перваго раза очарована Варенькой. Встрѣчаясь съ нею, она долго на нее смотритъ, какъ бы желая взглядомъ своимъ выразить симпатію, которую она къ ней чувствуетъ. Съ другой стороны, глаза Вареньки говорятъ то же самое. Наконецъ, Кити при помощи матери знакомится съ Варенькой. Книжница, услышавъ, что Варенька хорошо поетъ, приглашаетъ ее къ себѣ, чтобы она спѣла что-нибудь. Варенька исполняетъ эту просьбу съ такою же простотою и безыскусственностію, съ какою она все дѣлаетъ. Между нотами попадаетъ итальянская пѣсня. „Пропустимъ эту“, говоритъ, краснѣя, Варенька. Кити поняла, что съ этою пѣсней было связано какое-нибудь воспоминаніе. Послѣ нѣмня между ними происходитъ слѣдующая сцена.

— Кити съ Варенькой вышли въ садикъ, бывший подлѣ дома.

— Правда, что у васъ соединено какое-то воспоминаніе съ этою пѣсней? сказала Кити. Вы не говорите, поспѣшно прибавила она: — только скажите, правда?

— Нѣтъ, отчего? я скажу, просто сказала Варенька, и не дожидаясь отвѣта, продолжала: — Да, это воспоминаніе и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека, и эту вещь я пѣла ему\*.

Понятно, съ какимъ интересомъ Кити должна слушать это объясненіе. Поэтому она съ какимъ-то болѣзненнымъ любопытствомъ допытывается о подробностяхъ романа Вареньки. Варенька ей рассказываетъ, что „этотъ человекъ“ женился на другой по волѣ матери. Кити продолжаетъ допытываться и, наконецъ, высказываетъ свою задушевную мысль:

— ....Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человекъ пренебрегъ вашею любовью, что онъ не хотѣлъ...

— Да онъ не пренебрегъ: я вѣрю, что онъ любилъ меня, но онъ былъ покорный сынъ...

— Да, *но если бы онъ не по волѣ матери, а самъ...* говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ея, горящее румянцемъ стыда, уже изобличало ее\*.

И такъ, Кити незамѣтно переходитъ къ разговору о своихъ собственныхъ страданіяхъ. При всей ея добротѣ, страданія Вареньки для нея важны только какъ отраженіе ея собственныхъ; допытавшись отъ Вареньки того, чего она отъѣла, открывъ ей свою рану, она уже оставляетъ Вареньку въ сторонѣ и всецѣлю предается собственнымъ ощущеніямъ, — эгоизмъ, весьма тонко подмѣченный въ людяхъ какъ физически, такъ и нравственно больныхъ. Чувство ярости и неудовлетворенной любви улеглось уже въ Кити, для нея наступилъ теперь второй періодъ, въ ней преобладаетъ уже оскорбленное самолюбіе. „Любите ли вы его ли нѣтъ?“ спрашиваетъ Варенька. „Я ненавижу его“, говоритъ Кити. „Такъ что же?“ — *„Стихъ, оскорбленіе“*... говоритъ она. До сихъ поръ она жила только сердцемъ, и не могла понимать, какъ такое чувство не поглотитъ всего другого. Она страдаетъ отъ любви, и страдаетъ сильно, следовательно, только *эти* страданія важны, только они способны поглотить всего человека. Но Варенька разубѣждаетъ ее.

— ...Нѣтъ дѣвушки, которая бы не испытала этого, говорила она. — И все это такъ не важно.

— А что же важно? спросила Кити, съ любопытнымъ вниманіемъ вглядываясь въ ея лицо.

— Ахъ, многое важно, улыбаясь сказала Варенька.

— Да что же?

— Ахъ, *многое важное*, отвѣчала Варенька, *не зная, что сказать*...

Но это не означаетъ, что Варенька говоритъ „многое важно“ — въ видѣ красивой фразы. Нѣтъ, она довольно видѣла людское горе, она и сама его испытала настолько, до знаетъ многое, что важнѣе обманутой любви. Но она не можетъ себѣ разомъ представить самое рельефное изъ всего видѣннаго ею; для нея людское горе и людскія боли слишкомъ заурядное явленіе, чтобы она могла изъ нихъ выбирать. Это *важное* является у нея не плодомъ размышленія, а продуктомъ сердца: оно прочувствовано, но не продумано. Да и правду сказать, *продумать* можно только

путемъ философскаго отвлеченія и холоднаго анализа, и некогда думать тогда, когда чувствуешь... Но Кити уж данъ толчекъ. Она начинаетъ думать о томъ, что такое важно и, наконецъ, изъ общенія съ Варенькой и мадамъ Шталь, для нея становится яснымъ, что важно.

„То „что важно“ открылось для нея, и оно было то самое, что она и предчувствовала: важно было то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сихъ поръ отдавалась Кити, была жизнь духовная, понятная для Кити. Жизнь эта открывалась религіей, но религіей, не имѣющей ничеа общаго съ тою, которую съ дѣтства знала Кити, — религіей, выражавшеюся въ обѣдѣ и всенощной во вдовьемъ домѣ, гдѣ можно было встрѣтить знакомыхъ, и въ изученіи съ батюшкой наизусть славянскихъ текстовъ“...

....Кити узнала все это не изъ словъ. Мадамъ Шталь говорила съ Кити какъ съ милымъ ребенкомъ, на котораго любишь, какъ на воспоминаніе своей молодости, и только одинъ разъ упомянула о томъ, что во всѣхъ людскихъ горестяхъ утѣшеніе даетъ лишь любовь и вѣра, и что для состраданія къ намъ Христа нѣтъ ничтожныхъ горестей, и тотчасъ же перевела разговоръ на другое. Но Кити въ каждомъ ея движеніи, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ небесномъ, какъ называла Кити, взглядѣ ея, въ особенностъ во всей исторіи ея жизни, которую она знала черезъ Вареньку, во всемъ узнавала то, „что было важно“ и что она до сихъ поръ не знала. Кити видѣла въ г-жѣ Шталь олицетвореніе христіанскаго терпѣнія и высоты душевной“.

....На Вареньку она поняла, что стоило только *любви себѣ*, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотѣла быть Кити. Появивъ теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовлетворялась тѣмъ, чтобы восхищаться этимъ, но тотчасъ же *всѣмъ душою отдавалась этой радости открывшейся ей жизни...*“

Ей нужна теперь какая-нибудь реакція послѣ аналитическаго, нужна какая-нибудь цѣль, которая наполнила бы пустоту сердца, и она находитъ утѣшеніе въ религіи, въ помощи, которую она хочетъ оказывать страждущимъ. Она въ пер-

вое время и сама не чувствуетъ фальшивости своего по-  
ложения; она не понимаетъ, что миссія, которую она бе-  
ретъ на себя, не есть плодъ глубокаго убѣжденія, а только  
редство заставить молчать свое наболѣвшее сердце. И она  
съ полнымъ рвеніемъ бросается на свое новое дѣло, она  
старается помогать больнымъ, утѣшать ихъ, и дѣлаетъ это  
съ такимъ порывомъ, что мать, наконецъ, замѣчаетъ ей  
существо въ ея рвеніи, а мѣстная принцесса называетъ  
ея «ангеломъ-утѣшителемъ». Но фальшивость ея положенія  
коро становится вполне ясна для Кити. Она, между про-  
чимъ, старается облегчить страданія чахоточнаго художника  
Петрова, находящагося на водахъ вмѣстѣ съ своею женою.  
По результатъ выходитъ противъ всякихъ ожиданій Кити:  
Петровъ въ нее влюбляется, а жена его старается вслѣд-  
ствіе этого отдалить себя и мужа отъ Кити. Она даже до-  
говаривается съ мужемъ уѣхать совсѣмъ. Сообщеніе это передаетъ  
Кити Варенька. Между ними происходитъ сцена, которая,  
наконецъ, открываетъ Кити глаза на ея положеніе. Приведу  
важные моменты этой истинно-прекрасной сцены.

— Когда же мы увидимся? спросила Варенька.

— Маман хотѣла зайти къ Петровымъ. Вы не будете  
мѣшать? сказала Кити, испытывая Вареньку.

— Я буду, отвѣчала Варенька. Они собираются уѣзжать,  
и я обещалась помочь укладываться.

— Ну, и я приду.

— Нѣтъ, что вамъ?

— Отчего? отчего? отчего? широко раскрывая глаза, за-  
говорила Кити... Нѣтъ, постойте, отчего?... Нѣтъ, пожа-  
луйста, скажите.

Все говорить? спросила Варенька.

— Все, все! подхватила Кити.

— Да особеннаго ничего нѣтъ, а только то, что Ми-  
хиль Алексѣичъ (такъ звали живописца) прежде хотѣлъ  
идти раньше, а теперь не хочетъ уѣзжать... И почему-  
то Анна Павловна сказала, что онъ не хочетъ *оттого*,  
*что вы идите*... Такъ лучше вамъ не ходить... И вы по-  
смайте, вы не обижайтесь...

— И подѣломъ мнѣ, и подѣломъ мнѣ, быстро заговорила Кити, схватывая зонтикъ изъ рукъ Вареньки и глядя мимо глазъ своего друга... Подѣломъ за то, что *все это было притворство*, потому что все это *выдуманное*, а не отъ сердца. Какое мнѣ дѣло было до чужого человека, и вотъ вышло, что я причиной ссоры, и что я дѣлала то, чего меня никто не просилъ. Оттого что все притворство, притворство!...

— Да съ какою же цѣлью?

— Чтобы казаться *лучше* передъ людьми, *передъ собой*, передъ Богомъ, всѣхъ обмануть. Нѣтъ, теперь ужъ я не поддамся на это. Быть *фигурою*, но, по крайней мѣрѣ не *ложивою*, не *обманщицею*.

Сколько правды, сколько тонкаго психологическаго анализа въ этой сценѣ! Правдивая и честная натура Кити возмущается противъ всякой лжи и ханжества, будь они хоть направлены на доброе дѣло. Она, въ порывѣ негодованія на себя, готова даже выставить свои поступки въ худшемъ свѣтѣ, чѣмъ они были на самомъ дѣлѣ. Она не хочетъ признаться, что она желала дѣлать добро для того, чтобы забыть свои страданія, она говоритъ, что желала выставить себя лучшею, чѣмъ она есть, обмануть и людей, и себя, и Бога. „Быть хоть дурною, но не лживою“, вотъ что подсказываетъ ей глубоко-честная ея натура. Она не навидитъ притворство и не можетъ признать ничего хорошаго тамъ, гдѣ притворство существуетъ. Она живой человекъ, съ недостатками живого человека, съ эгоизмомъ, присущимъ живому человеку. Нѣмецкій „Weltschmerz“ ей незнакомъ и не по сердцу. Она не можетъ страдать съ каждымъ страждущимъ только изъ-за того, что тотъ страдаетъ; ей мало этого; ей еще нужно, чтобы лицо, которое страдаетъ, было ей почему либо близко, составляло бы часть ея собственнаго существа. Она живетъ только сердцемъ, и отвлеченная мораль не по ней.

— Что мнѣ за дѣло до Анны Павловны! говоритъ она Варенькѣ въ той же сценѣ.—Пусть они живутъ какъ хотятъ, и я какъ хочу. Я не могу быть другою. И все это

не то... *Я не могу иначе жить, какъ по сердцу*, а вы живете по правиламъ. Я васъ полюбила просто, а вы вѣрно только затѣмъ, чтобы спасти меня, научить меня...”

„Я васъ полюбила просто“, — въ этомъ *profession de foi* Кити. Она не даетъ отчета въ своихъ чувствахъ: у нея любовь, состраданіе, антипатія зараждаются *просто*, безъ анализа, безъ всякихъ причинъ. Такова жизнь сердца. Она не требуетъ никогда доказательствъ ни за ни противъ, она сама себѣ лучшее доказательство, и никакіе доводы не раздумать ей симпатій и антипатій. Для того, чтобы чувство сдерживалось, нужно, чтобы сердце же, а не разумъ, провело этотъ переворотъ.

....Она не отрекалась отъ всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что можетъ быть чѣмъ, чѣмъ хотѣла быть. Она какъ будто очнулась: почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства держаться на той высотѣ, на которую она хотѣла подняться... и восторге захотѣлось на свѣжій воздухъ, въ лесно, въ Покровское...

Такую полную картину душевнаго настроенія и душевной борьбы можетъ передать только громадный талантъ. Каждая строчка дышетъ правдой, каждое движеніе души — какъ будто сами испытываете, и вотъ чѣмъ великъ гр. Толстой, какъ романистъ-психологъ. Пусть нападаютъ на звяку романа, пусть нападаютъ на отдѣльные промахи его, но „Анна Каренина“ по силѣ своей должна занимать мѣсто изъ высшихъ мѣстъ въ литературѣ.

Изъ настоящаго фельетона вы можете убѣдиться, что избрать этотъ романъ дѣло совсѣмъ не такое легкое и простое. Сложность его, главнымъ образомъ, проистекаетъ оттого, что почти надъ каждою сценою приходится останавливаться, что нельзя передать эти сцены въ сжатомъ видѣ (какъ это можно сдѣлать съ громаднымъ большинствомъ всѣхъ произведеній). Отъ такой передачи можетъ только страдать романъ, въ которомъ каждое лицо, каждое душевное движеніе, каждая картина воспроизведены съ такою вѣрностью, что невольно остановившись надъ ними и

долго, долго ими любуешься. Какъ видите, не моя вина, что весь фельетонъ ушелъ на одинъ только отрывокъ этого гениальнаго произведенія.

*Изъ „Новостей“ за 1875 г. Статья М. В.*

\*\*\*

\*) Я былъ намѣренъ ограничиться отчетомъ о первой части романа гр. Л. Толстого и ни слова болѣе не говорить о немъ до окончанія его печатанія, а затѣмъ обозрѣть его въ полномъ составѣ. Но мнѣ приходится отложить въ сторону свое намѣреніе. Во второй части романа такъ много своеобразныхъ прелестей, что силъ нѣтъ удержаться и не говорить о нихъ. Къ тому же объ этихъ прелестяхъ такъ много толкуютъ въ обществѣ; онѣ занимаютъ общество именно теперь, по прочтеніи этой второй части, въслѣдствіи, пожалуй, и не будутъ уже занимать въ такой степени, забудутся; къ тому же подобнаго рода прелестей можетъ накониться къ концу романа такъ много, что небольшой фельетонной статейки не хватитъ уже на нихъ, придется упомянуть только о нѣкоторыхъ. На всѣхъ этихъ основаніяхъ я измѣняю свое намѣреніе и буду впредь бесѣдовать съ читателями о каждой части романа въ отдельности.

Начну съ того, что при чтеніи второй части романа, въ связи, конечно, съ первой, вы начинаете все болѣе и болѣе ощущать тотъ букетъ, которымъ проникнуть романъ и который составляетъ все его, такъ сказать, философское содержаніе; и знаете, какой это букетъ, — очень, надо признаться, рѣзко бросающійся вамъ въ носъ?—Это тотъ своеобразный запахъ, какой вы ощущаете, войдя въ дѣтскую, — индивидуальскій ароматъ дѣтскихъ пеленокъ. Вы не думайте, что я говорю это ради одного зубоскальства и въ какомъ нибудь переносномъ смыслѣ. Обратите вниманіе, читая романъ гр. Толстого, что авторъ тогда только и ощу-

\*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1875 г., № 77. „Мысли о декующей литературѣ“. Статья Зауряднаго читателя (А. М. Скабичевскаго).

является, тогда только и доходить до поэтического напева, когда начинает повѣствовать вамъ о томъ, какъ юють и вянчать ребятъ, какъ хозяйки заказываютъ кушанья и бренчать ключами, какъ мужья, въ халатъ и шлема туфлями, отправляются въ спальню, гдѣ ложатся съ женами на двухспальную кровать и бесѣдуютъ съ ними на оныя грядущій. Напримѣръ, хоть бы вотъ такая сцена:

„Ровно въ двѣнадцать, когда Анна еще сидѣла за письменнымъ столомъ, дописывая письмо къ Долли, — послышались шаги ровные въ туфляхъ, и Алексѣй Александровичъ, замытый и причесанный, съ книгою подъ мышкой, подошелъ къ ней.

— Пора, пора, сказали оны, *особѣнно удивителенъ*, и прошесть въ спальню.

— И какое право имѣлъ онъ тамъ смотрѣть на него? подумала Анна, вспоминая взглядъ Вронскаго на Алексѣя Александровича.

Раздѣвшись, она вошла въ спальню, но на лицѣ ея не только не было того оживленія, которое, въ бытность ея въ Москвѣ, такъ и брызгало изъ ея глазъ и улыбки: напротивъ, теперь огонь казался потухеннымъ въ ней или какъ-то далеко припрятаннымъ“.

Замѣчательно, что уже въ послѣдней части „Войны и Мира“ авторъ съ гомерическимъ пафосомъ самыми мелкими штрихами представляетъ вамъ всю идиллію семейной жизни вонхъ пережившихся героевъ, водить васъ по спальнямъ и по дѣтскимъ и съ особеннымъ смакованьемъ заставляетъ васъ вдыхать въ себя всевозможные запахи этихъ прываемыхъ отъ чужихъ и любопытныхъ взоровъ покоевъ. Но въ „Войнѣ и Мирѣ“ подобнаго рода идилліи были какъ-то кетати и несколько не портили общаго впечатлѣнія. Вы не обращали вниманія на отношеніе автора къ нимъ и соображали только, что по всемъ условіямъ русской жизни начала нынѣшняго столѣтія герои и особенно героини „Войны и Мира“ должны были кончить ни чѣмъ инымъ, какъ подобнаго рода идилліями, такъ что авторъ, казалось вамъ, былъ тутъ совсѣмъ въ сторонѣ, и вы могли даже похва-

лить его за проникательность. Представьте же, новый романъ гр. Л. Толстого показываетъ вамъ, что гр. Л. Толстой относится къ семейнымъ идеямъ несколько не объективно, а напротивъ того, съ субъективностью самого припемакивающего свойства. Оказывается, что на этихъ идеяхъ онъ основываетъ весь романъ, что онъ всю жизнь разсматриваетъ только по отношенію къ нимъ, все изъ нихъ выводитъ и все къ нимъ сводитъ, такъ что представляется, будто все, что ни дѣлается на свѣтѣ, — все это дѣлается единственно для того, чтобы жены могли съ нежнымъ умилеіемъ материнской любви во взорахъ, мыть въ корытахъ своихъ малютокъ, а мужья въ двѣнадцать часовъ ночи входить, шлепая туфлями, въ спальни своихъ жёнъ и приговаривать имъ, особенно улыбаясь: пора, пора!.. На этомъ одномъ держится весь міръ, все остальное тѣнь и суета...

— Какъ? — наморщивъ брови, возразить мнѣ читатель: — Вы издѣваетесь надъ семейными началами? Ужъ не думаете ли вы потрясти всё основы? — Успокойся, успокойся, читатель: ни надъ чѣмъ я не думаю издѣваться, ничего я не потрясаю... Я самъ человѣкъ семейный, и очень хорошо понимаю всю прелесть ароматовъ дѣтскихъ пеленокъ. Но для меня недостаточно, чтобы поэзія только и ограничивалась тѣмъ, что заставляла бы меня непрестанно вдыхать эти ароматы и внушала, что лучше ихъ не можетъ быть въ жизни, никакихъ запаховъ. Семейные интересы пусть остаются семейными интересами, но они не мѣшаютъ мнѣ имѣть и другіе, считать ихъ не менѣе важными и существенными, чѣмъ семейные, не мѣшаютъ требовать и отъ литературы, чтобы она соответствовала этимъ другимъ моимъ интересамъ, стояла на ихъ, такъ сказать, высотѣ. И я имѣю право требовать этого отъ гр. Толстого, тѣмъ болѣе что нѣкогда онъ удовлетворялъ этимъ высшимъ интересамъ публики... Вспомните всё его прежнія произведенія, съ „Войною и Миромъ“ включительно. Но что же дѣлать, — видно такова уже судьба всѣхъ россійскихъ писателей, что какія бы идеи ни проводили бы они въ своихъ

молодыхъ произведенійхъ, и какъ-бы ни были глубоки ихъ анализъ жизни на основаніи этихъ идей. — а кончить имъ придется все тою же домостроевщиною, ея же не избѣжиши. Все мы тамъ будемъ!.. И ужъ если такіе первоклассные писатели, какъ гр. Л. Толстой, доходятъ до того, что преподаютъ намъ мудрые совѣты о томъ, что „а по сея бы дни у мужа жена спрашивалась, и совѣтова о всякомъ обиходѣ, и воспоминала, что надобеть. А въ гости ходити, и къ себѣ звать: есмь-ли съ кемъ велитъ мужъ“ и проч. — то тѣмъ болѣе намъ, скромнымъ зауряднымъ читателямъ, свойственно подъ старость дѣтъ убедиться въ томъ, какъ полезно сыну „не дать власти во юности, но сокрушить ему ребра, дондеже растеть, а ожесточивъ не повинеть ти яг“. Смишите всего то, что въдь есть люди, которые во всѣхъ этихъ семейныхъ идилліяхъ, размазываемыхъ гр. Л. Толстымъ, видятъ особенный букетъ россійской народности: имѣю основаніе предполагать, что и самъ гр. Л. Толстой выражаетъ въ этомъ свои славянофильскія пристрастія. Нелѣзное заблужденіе! Гдѣ вы видѣли, чтобы русскій человѣкъ, самый прекрасный семьянинъ, любилъ умиляться и таять въ созерцаніи, какъ жена его мостъ ребенка, какъ ребенокъ этотъ хватаетъ мамашу за носъ, а мамаша говоритъ ему: забодая, забодая! Не любя самъ рассказывать о своихъ семейныхъ мицальностяхъ, русскій человѣкъ тѣмъ не менѣе не любитъ слушать и отъ другихъ людей что-либо подобное. У русскаго человѣка есть особеннаго рода философия, мудреная скромность, побуждающая его хранить въ глубокой тайнѣ свои семейныя радости и ни передъ кѣмъ не хвалиться ими, и ужъ если гдѣ существуетъ страсть къ выставленію на показъ семейныхъ добродѣтелей и къ интимнымъ мицальностямъ всякаго рода, то это именно у нѣмцевъ, — да, у тѣхъ самыхъ нѣмцевъ, которыхъ славянофилы такъ не жалуютъ, такъ что букетъ россійской народности, преподносимый намъ гр. Л. Толстымъ, является совершенно въ нѣмецкомъ духѣ.

Но что вы будете дѣлать съ русскимъ писателемъ, хотя и первокласснымъ? Можете ли вы требовать какого-либо

серьезнаго содержанія отъ его произведеній, вѣрнаго чутъ духа русской или какой-либо иной жизни, когда мышленіе его находится въ такомъ еще зачаточномъ состояніи, что чего-либо выработаннаго, опредѣленнаго, своего, вы не найдете ни у одного нашего беллетриста и слѣда: среди такихъ людей и въ какомъ кружкѣ повертится руссійскій беллетристъ годика три, четыре, — такъ сейчасъ же, глядя и напугавшись духомъ среды, начинаетъ смотрѣть и на вещи подлѣ угломъ зрѣнія своихъ знакомыхъ. Вотъ хоть бы и гр. Л. Толстой съ своимъ новымъ романомъ. Кто могъ бы думать, что гр. Л. Толстой могъ бы проникнуться когда-либо тенденціями „Русскаго Вѣстника“ и явиться пошлымъ карикатурею нигилистовъ, изображая ихъ совершенно въ духѣ Стебницкаго стереотипными мелодраматическими злодѣями! Но, однакожь, гр. Л. Толстой унизился до такого направленія и, если хотите, превзошелъ даже своихъ собратьевъ по московской беллетристикѣ. Такъ, XV глава 1-ой части романа (первая во 2-й книжкѣ „Русскаго Вѣстника“) съ того и начинается, что герой романа Левинъ отправляется искать своего блуднаго брата Николая. Надо замѣтить, что братъ этотъ оказывается прошедшимъ сквозь огонь и воду и трубы мѣдныя. Онъ въ университетѣ, и годъ послѣ университета, несмотря на насмѣшки товарищей, жилъ какъ монахъ, въ строгости исполняя все обряды религіи, службы, посты и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ, и потомъ вдругъ его прорвало, и онъ пустился въ пьянство, игру, развратъ, сблизился съ самыми гадкими людьми. Потомъ у него было дѣло съ родителями мальчика, котораго онъ взялъ изъ деревни и воспитывать, — дѣло за то, что въ припадкѣ злости такъ избилъ мальчика, что его обвиняли въ причиненіи увѣчья. Потомъ онъ проигралъ деньги шулеру и, не платя денегъ, подалъ на шулера жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ, и, разумеется, не доказавъ, былъ принужденъ отдать деньги, но не отдать, считая это несправедливымъ. Это были деньги, которыя заплатилъ Сергій Ивановичъ. Потомъ онъ попался полиціи въ безобразныхъ кутежахъ и буйствахъ, уронивъ

шихъ его окончательно въ общественномъ мѣѣнн и уда-  
лившихъ отъ него всѣхъ порядочныхъ людей его круга.  
Потомъ онъ затѣялъ совершенно неосновательный и по-  
стыдный процессъ съ братомъ Сергѣемъ Ивановичемъ за  
то, что тотъ не выплатилъ ему долю изъ материнскаго имѣ-  
ня, потомъ уѣхалъ служить въ Западный край, и тамъ по-  
палъ подъ судъ за побой, нанесенные старшинѣ“...

Но оказывается, что всѣ подобныя вещи не составляли  
еще верха паденія этого блуднаго сына. Окончательною  
побѣдою его было сближеніе съ злокозненными нигилиста-  
ми. Когда Левинъ увидѣлъ своего брата въ грязномъ пу-  
хлякѣ московской гостиницы въ сообществѣ съ сими неча-  
стыми ада, тогда только онъ понялъ, читаемъ мы въ ро-  
манѣ, что близость съ этого рода людьми есть самый вѣр-  
ный признакъ безнадежно испорченной жизни“.

Нигилистъ Крицкій, бесѣдовавшій съ Николаемъ при  
приходѣ Левина о введеніи какихъ-то слесарныхъ мастер-  
скихъ, оказывается тѣмъ же самымъ стереотипнымъ ниги-  
листомъ, какіе пародируютъ во всѣхъ романахъ „Русскаго  
Вѣстника“: конечно, ужъ онъ съ взъерошенными волосами,  
съ поддевкѣ, съ злою и враждебною улыбкою, напоминав-  
шею выраженіе собаки, показавшей зубы; конечно, ужъ  
онъ хвалится, что не знаетъ, что проповѣдывали первые  
христіане, и знать не хочетъ, что не считаетъ нужнымъ  
тратить время на чтеніе бездарныхъ книгъ и т. п.

И поймите вы непостижимую логику русскаго белле-  
триста, когда вдругъ, нѣсколько страницъ спусти, оказы-  
вается, что разговоръ съ столь злосхиднымъ отрицателемъ,  
какъ Крицкій, и съ братомъ, падшимъ даже до знаком-  
ства съ этимъ отрицателемъ, оказывается вдругъ благотвор-  
ное вліяніе на Левина. „Разговоръ брата о коммунизмѣ,  
читаемъ мы въ романѣ, къ которому тогда онъ такъ легко  
отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ пе-  
редѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда  
чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравне-  
ніи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что  
для того, чтобы чувствовать себя вполне правымъ, онъ,

хотя прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще болѣе работать и еще меньше позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собою, что всю дорогу онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ добрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь, онъ въ девятомъ часу ночи подъѣхалъ въ своему дому.

Но какой же логики хотите вы отъ русскаго беллетриста, хотя бы и первокласснаго, какого серьезнаго содержанія въ его произведеніяхъ, когда онъ оказывается способнымъ тратить свой талантъ на изображеніе такихъ сценъ, какъ изслѣдованіе докторомъ молодой дѣвушки; и замѣйте, что курьезнѣе всего здѣсь то, что писатель изображаетъ подобнаго рода сцены не съ какими либо художественными или хотя бы просто клубничными цѣлями, а вѣдь тенденціозно. Ну подумайте же только, въ какой иной литературѣ мыслимо, чтобы литераторъ изображалъ медицинскія изслѣдованія больныхъ женщинъ, съ цѣлью обличить подобнаго рода изслѣдованія съ точки зрѣнія ихъ неприличности; только русскому писателю могутъ прийти въ голову подобнаго рода абсурды. Дѣлю въ томъ, видите, что Кити Щербацкая, покинутая Вронскимъ, захворала. Обратились къ докторамъ, конечно, въ томъ числѣ и къ одному знаменитому доктору, который и предложилъ такую возмутительно-безправственную вещь, какъ изслѣдованіе больной. „Знаменитый докторъ, читаемъ мы въ романѣ, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовалъ осмотра больной. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть остатокъ варварства и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще не старый мужчина ощупывать молодую обнаженную дѣвушку. Онъ находилъ это естественнымъ, потому что дѣлалъ это каждый день и при этомъ ничего не чувствовалъ и не думалъ, какъ ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость въ дѣвушкѣ онъ считалъ не только остаткомъ варварства, но и оскорбленіемъ себя“...

Затѣмъ слѣдуетъ сцена осмотра и консилиума, при чемъ

не забыты и такія подробности, какъ докторъ мылъ послѣ осмотра руки, какъ у пехудавшей и румяной Кити былъ особенный блескъ въ глазахъ, вслѣдствіе перенесеннаго стыда и какъ она всыхнула, когда докторъ вторично вошелъ въ ея комнату, и глаза ея наполнились слезами.

И вѣдь очень можетъ быть, что гр. А. Толстой и подобнаго рода обличеніе медицины, создавшей такой скандалъ, какъ онцуваніе молодыми докторами обнаженныхъ дѣвушекъ, пустилъ не для чего иного, какъ ради все тѣхъ же славянофильскихъ пристрастій. Не забудьте, что медицинская наука, отъ лица которой совершаются такія безстыдства, принесена къ намъ нѣмцами. Въ допетровской Руси докторовъ дѣйствительно не было, и молодыхъ дѣвушекъ никакимъ осмотрамъ не подвергали. Правда, тогда случалось, что молодыхъ дѣвокъ и женокъ выводили обнаженныхъ въ студеную пору на базаръ, на посмѣяніе толпы, но, вѣдь, то были не великосвѣтскія же барышни, — не такъ-ли, гр. Толстой?

Часть романа, помѣщенная во 2-ой книжкѣ „Русскаго Вѣстника“, кончается тѣмъ, что Вронскій достигаетъ, наконецъ, полной побѣды надъ Анною Карениною, и послѣ двухъ строчекъ таинственныхъ точекъ мы читаемъ слѣдующаго рода мѣста въ патетическомъ духѣ: „То, что почти цѣлый годъ для Вронскаго составляло исключительно одно желаніе его жизни, замѣнившее ему всѣ прежнія желанія, то что для Анны было невозможною, ужасною и тѣмъ болѣе обворожительною мечтою счастья, — это желаніе было удовлетворено. Влѣдній, съ дрожащею нижнею челюстью, стоялъ надъ нею и умолялъ успокоиться, самъ не зная, чѣмъ и чѣмъ.“

Анна! Анна! говорилъ онъ дрожащимъ голосомъ:

Анна, ради Бога!

Но чѣмъ громче онъ говорилъ, тѣмъ ниже она опускала голову, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала съ дивана, на которомъ сидѣла, на полъ, къ его ногамъ: она упала бы на колѣни, если-бы онъ не держалъ ее.

— Прости меня, — всхлиывая говорила она.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощенья, а въ жизни теперь, кромѣ его, у нея никого не было. Больше она ничего не говорила, не могла говорить. Она, глядя на него, физически чувствовала свое униженіе. Онъ же чувствовалъ, что долженъ чувствовать убійца, когда видить тѣло лишеннымъ жизни. Это тѣло, лишенное имъ жизни, была ихъ любовь, первый періодъ ихъ любви. Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено страшною цѣною стыда. Стыдъ передъ духовною наготою своей давилъ ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужасъ убійцы передъ тѣломъ убитаго, надо рѣзать на куски, прятать это тѣло, надо пользоваться тѣмъ, что убійца пріобрѣлъ убійствомъ. И съ озлобленіемъ, какъ будто со страстью, бросается убійца на это тѣло, и тащитъ, и рѣжетъ его, такъ и онъ покрывалъ поцѣлуями ея лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась“...

Но будетъ: и далѣе цѣлая страница еще въ такомъ родѣ. И вѣдь курьезнѣе всего, какъ подумаешь, что это мелодраматическая дребедень, въ духѣ старыхъ французскихъ романовъ, растечается по поводу заурядныхъ амуровъ великосвѣтскаго хлыща и петербургской чиновницы, любовательницы эксельбантовъ... И вѣдь это пишетъ все тотъ-же гр. Л. Толстой, авторъ „Войны и Мира“, а не начинающій гимназистъ... Вотъ оно гдѣ полное начало-то конца, совершенная какая-то литературная ростенель!..

*Заурядный Читатель (А. М. Скабичевскій).*

\* \* \*

- \*) „Чрезвычайное происшествіе!
- Неожданное извѣстіе!
- Что, что такое?

---

\*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1875 г., № 42, 69, 88. „Литературныя и общественныя замѣтки“. Статья Z. Z.—Z.

Непредвидѣнное дѣло: приходимъ въ гостиницу...

О, позвольте, Петръ Ивановичъ, я расскажу.

О, итъ, позвольте, ужъ я... позвольте, позвольте... вы ужъ и слога такого не имѣете ..

А вы собьетесь и не припомните всего.

— Припомню, ей Богу, припомню. Ужъ не мѣшайте.

Да говорите, что такое? Ну, что, что такое?—

Передъ читателемъ, конечно, уже встали во всей своей оригинальной красѣ безсмертныя, кургузыя, „чрезвычайно похожія другъ на друга“ фигурки Бобчинскаго и Добчинскаго, стремительно, запыхавшись, влетающія въ гостиную съ самыми животренеющими новостями. Эти фигурки живо встали въ моей памяти, когда я просматривать послѣдніе №№ русскихъ газетъ, наполненные въ нижнихъ тажахъ отчетами о новомъ романѣ графа А. Толстого. Такой суеты въ передачѣ читателямъ этой литературной новости въ нашей журналистикѣ давно не бывало. Всѣ надерывъ старались опередить другъ друга. Инварская книжка „Русскаго Вѣстника“ разрѣзывалась съ лихорадочною поспѣшностью, и страницы романа проглатывались какъ стригицы, затѣмъ тутъ же переносились переневаренными на столбцы газетъ и разносились въ публику, которая, въ дополненіе картины, двѣ капли воды походила на Анну Андреевну и Марью Антоновну, пришедшихъ въ сильную сенсацию по случаю пріѣзда ревизора. Я хотѣлъ было отложить бесѣду о новомъ романѣ, но не могу этого сдѣлать въ виду крайняго любопытства Анны Андреевны и Марьи Антоновны, для которыхъ даже „два часа“ казалось какою-то вѣчностью: „Черезъ два часа! Покорнѣйше благодарю! Вотъ одолжили!“ и т. д. Печего дѣлать, откладывать нельзя.

И такъ: чрезвычайное происшествіе! „Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ. Жена узнала, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ“.

„Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ!“ восклицаетъ ли-

тературный Бобчинскій. Какъ просто, коротко и ясно! И однако читатель уже съ этихъ словъ (!?) чувствуетъ, что онъ брошенъ прямо въ водоворотъ, что онъ сейчасъ увидитъ нечто очень сложное, очень серьезное! \*).

„Въ домѣ Облонскихъ случилось несчастье. Жена, Дарья Александровна, узнала, что мужъ былъ въ связи“... и т. д. Такъ начинается литературный Добчинскій. „По отношенію къ такому крупному литературному дарованію, какъ графъ .І. Толстой, общія разсужденія неумѣстны: поэтому, безъ предисловія и оговорокъ, передамъ содержаніе первой части романа“ \*\*).

Я не стану повторять всѣхъ Бобчинскихъ и Добчинскихъ, но увлеченный самъ этими литературными репортерами, вступаю въ состязаніе съ ними.

И такъ: чрезвычайное происшествіе! Въ домѣ Облонскихъ случилось несчастье. Дарья Михайловна объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ. Прошло три мучительныхъ дня, въ которые вся семья чувствовала себя въ крайне-незловкомъ положеніи“... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами „Жена не выходила изъ своихъ комнатъ“...—и кончающаяся словами: „Съ тѣхъ поръ она не хотѣла видѣть мужа“).

Этотъ экзепозиціонный эпизодъ романа вызываетъ въ рецензентахъ чувство умиленія. „Сцена пробужденія Степана Аркадьевича послѣ ссоры съ женой необыкновенно хороша“! восклицаетъ одинъ. „Какъ эти немногія простыя строки рисуютъ во всей полнотѣ человѣческую личность Степана Аркадьевича“! восклицаетъ другой. Но, перечитывая всѣ эти умиленія, невольно спрашиваешь: что же тутъ „необыкновенно хорошаго“? и что тутъ „рисуетъ во всей полнотѣ“? Что графъ .І. Толстой—крупный литературный талантъ и что его новый романъ доставитъ интересное чтеніе—это лежитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Глубокій аналитикъ человѣческой души, тонкій знатокъ самыхъ запу-

\*) „Русскій Міръ“.

\*\*) „Голосъ“.

живается. тогда только и доходить до поэтического пафоса, когда начинает повѣствовать вамъ о томъ, какъ тоютъ и вянуть ребятъ, какъ хозяйки заказываютъ кушанья и бренчать ключами, какъ мужья, въ халатъ и шлепаня туфлями, отираются въ спальню, гдѣ ложатся съ женами на двухспальную кровать и бесѣдуютъ съ ними на сонъ грядущій. Напримѣръ, хоть бы вотъ такая сцена:

„Ровно въ двѣнадцать, когда Анна еще сидѣла за письменнымъ столомъ, дописывая письмо къ Долли, — послышались шаги ровные въ туфляхъ, и Алексѣй Александровичъ, умытый и причесанный, съ книгою подъ мышкой, подошелъ къ ней.

— Пора, пора, сказалъ онъ, *особенно удивляетъ*, и прошелъ въ спальню.

— И какое право имѣлъ онъ тамъ смотрѣть на него? подумала Анна, вспоминая взглядъ Бронскаго на Алексѣя Александровича.

Раздѣвшись, она вошла въ спальню, но на лицѣ ея не только не было того оживленія, которое, въ бытность ея въ Москвѣ, такъ и брызгало изъ ея глазъ и улыбки: напротивъ, теперь огонь казался потухеннымъ въ ней или да-то далеко припрятаннымъ“.

Замѣчательно, что уже въ послѣдней части „Войны и Мира“ авторъ съ гомерическимъ пафосомъ самыми мелкими штрихами представляетъ вамъ всю идиллію семейной жизни своихъ пережившихся героевъ, водить васъ по спальнямъ и по дѣтскимъ и съ особеннымъ смакованьемъ заставляетъ васъ вдыхать въ себя всевозможные запахи этихъ прикрываемыхъ отъ чужихъ и любопытныхъ взоровъ покоевъ. Но въ „Войнѣ и Мирѣ“ подобнаго рода идилліи были какъ-то кетати и несколько не портили общаго впечатлѣнія. Вы не обращали вниманія на отношеніе автора къ нимъ и соображали только, что по всемъ условіямъ русской жизни начала нынѣшняго столѣтія герои и особенно героини „Войны и Мира“ должны были кончить ни чѣмъ инымъ, какъ подобнаго рода идилліями, такъ что авторъ, казалось вамъ, былъ тутъ совсѣмъ въ сторонѣ, и вы могли даже похва-

лить его за пропихательность. Представьте же, новый романъ гр. Л. Толстого показываетъ вамъ, что гр. Л. Толстой относится къ семейнымъ идеаламъ несколько не объективно, а напротивъ того, съ субъективностью самого приемикающего свойства. Оказывается, что на этихъ идеалахъ онъ основываетъ весь романъ, что онъ всю жизнь разсматриваетъ только по отношенію къ нимъ, все изъ нихъ выводитъ и все къ нимъ сводитъ, такъ что представляется, будто все, что ни дѣлается на свѣтѣ, — все это дѣлается единственно для того, чтобы жены могли, съ нѣжнымъ умиленіемъ материнской любви во взорахъ, мыть въ корытахъ своихъ малютокъ, а мужья въ двѣнадцать часовъ ночи входить, шленая туфлями, въ спальни своихъ женъ и приговаривать имъ, особенно улыбаясь: пора, пора!.. На этомъ одномъ держится весь міръ, все остальное тѣнь и суета...

— Какъ? — наморщивъ брови, возразить мнѣ читатель: — Вы издѣваетесь надъ семейными началами? Ужъ не думаете ли вы потрясти все основы? — Успокойся, успокойся, читатель: ни надъ чѣмъ я не думаю издѣваться, ничего я не потрясаю... Я самъ человѣкъ семейный, и очень хорошо понимаю всю прелесть ароматовъ дѣтскихъ пеленокъ. Но для меня недостаточно, чтобы поэзія только и ограничивалась тѣмъ, что заставляла бы меня непрестанно вдыхать эти ароматы и внушала, что лучше ихъ не можетъ быть въ жизни, никакихъ запаховъ. Семейные интересы пусть остаются семейными интересами, но они не мѣшаютъ мнѣ имѣть и другіе, считать ихъ не менѣе важными и существенными, чѣмъ семейные, не мѣшаютъ требовать и отъ литературы, чтобы она соответствовала этимъ другимъ моимъ интересамъ, стояла на ихъ, такъ сказать, высотѣ. И я имѣю право требовать этого отъ гр. Толстого, тѣмъ болѣе что нѣкогда онъ удовлетворялъ этимъ высшимъ интересамъ публики... Вспомните все его прежнія произведенія, съ „Войною и Миромъ“ включительно. Но что же дѣлать, — видно такова уже судьба всехъ русскіихъ писателей, что какія бы идеи ни проводили бы они въ своихъ

плодѣхъ произведенійхъ, и какъ-бы ни былъ глубокъ ихъ анализъ жизни на основаніи этихъ идей, — а кончить имъ придется все тою же домостроевщиною, ея же не избытки. Все мы тамъ будемъ!.. И ужъ если такіе первоклассные писатели, какъ гр. Л. Толстой, доходить до того, то преподносятъ намъ мудрые совѣты о томъ, что „а не ся бы дни у мужа жена сиранивалась, и совѣтова о всякомъ биходѣ, и вспоминала, что надобеть. А въ гости ходити, къ себѣ звать: есылатца съ кемъ велить мужъ“ и проч. — о тѣмъ болѣе намъ, скромнымъ зауряднымъ читателямъ, вѣроуменно подъ старость дѣтъ убѣдиться въ томъ, какъ полезно сыну „не дать власти во юности, но сокрушить му ребра, дондеже ростеть, а ожесточивъ не повинеть тия“. Смыслѣе всего то, что вѣдь есть люди, которые во слѣхъ этихъ семейныхъ идиллійхъ, размазываемыхъ гр. Л. Толстымъ, видятъ особенный букетъ россійской народности: имѣю основаніе предполагать, что и самъ гр. Л. Толстой выражаетъ въ этомъ свои славянофильскія пристрастія. Нелѣзное заблужденіе! Гдѣ вы видѣли, чтобы русскій человѣкъ, самый прекрасный семьянинъ, любилъ умиляться стоять въ созерцаціи, какъ жена его мсеть ребенка, какъ ребенокъ этотъ хватаетъ мамашу за носъ, а мамаша говорить ему: забодаю, забодаю! Не любя самъ рассказывать о своихъ семейныхъ мицальностяхъ, русскій человѣкъ тѣмъ не менѣе не любитъ слушать и отъ другихъ людей что-либо подобное. У русскаго человѣка есть особеннаго рода фломудренная скромность, побуждающая его хранить въ глубокой тайнѣ свои семейныя радости и ни передъ кѣмъ не хвалиться ими, и ужъ если гдѣ существуетъ страсть въ выставленію на показъ семейныхъ добродѣтелей и къ иментальнымъ мицальностямъ всякаго рода, то это именно у нѣмцевъ, — да, у тѣхъ самыхъ нѣмцевъ, которыхъ славянофилы такъ не жалуютъ, такъ что букетъ россійской народности, преподносимый намъ гр. Л. Толстымъ, является совершенно въ нѣмецкомъ духѣ.

Но что вы будете дѣлать съ русскимъ писателемъ, хотя и первокласснымъ? Можете ли вы требовать какого-либо

серьезнаго содержанія отъ его произведеній, вѣрнаго муть духа русской или какой-либо иной жизни, когда мышленіе его находится въ такомъ еще зачаточномъ состояніи, что чего-либо выработаннаго, опредѣленнаго, своего, вы не найдете ни у одного нашего беллетриста и слѣда: среди какихъ людей и въ какомъ кружкѣ повертнется русскій беллетристъ годика три, четыре, — такъ сейчасъ же, глядя на него и напугавшись духомъ среды, начинаетъ смотрѣть и на вещи подлѣ угломъ зрѣнія своихъ знакомыхъ. Вотъ хоть бы и г-н. Л. Толстой съ своимъ новымъ романомъ. Кто могъ бы думать, что г-н. Л. Толстой могъ бы проникнуться когда-либо тенденціями „Русскаго Вѣстника“ и явиться пошлымъ карикатурнымъ нигилистомъ, изображая ихъ совершенно въ духѣ Стебницкаго стереотипными мелодраматическими злодѣями. Но, однакожь, г-н. Л. Толстой унизился до такого наравленія и, если хотите, превзошелъ даже своихъ собратьевъ по московской беллетристикѣ. Такъ, XV глава 1-ой части романа (первая во 2-й книжкѣ „Русскаго Вѣстника“) съ того и начинается, что герой романа Левинъ отправляется искать своего блуднаго брата Николая. Надо замѣтить, что братъ этотъ оказывается прошедшимъ сквозь огонь и воду и трубы мѣдныя. „Онъ въ университетѣ, и годъ послѣ университета, несмотря на насмѣшки товарищей, жилъ какъ монахъ, въ строгости исполняя всѣ обряды религіи, служилъ, посты и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ, и потомъ вдругъ его прорвало, и онъ пустился въ пьянство, игру, развратъ, сблизился съ самыми гадкими людьми. Потомъ у него было дѣло съ родителями мальчика, котораго онъ взялъ изъ деревни и воспитывалъ, — дѣло за то, что въ принадлежѣ злости такъ избилъ мальчика, что его обвинили въ причиненіи увѣчья. Потомъ онъ проигралъ деньги шулеру и, не платя денегъ, подалъ на шулера жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ, и, разумеется, не доказавъ, былъ принужденъ отдать деньги, но не отдать, считая это несправедливымъ. Это были деньги, которыя заплатилъ Сергѣй Ивановичъ. Потомъ онъ попалъ въ полицію въ безобразныхъ кутежахъ и буйствахъ, уронивъ

нихъ его окончательно въ общественномъ мѣѣнн и уда-  
вившихъ отъ него всѣхъ порядочныхъ людей его круга.  
Итомъ онъ затѣялъ совершенно неосновательный и по-  
тѣдный процессъ съ братомъ Сергѣемъ Ивановичемъ за  
то, что тотъ не выплатилъ ему долю изъ материнскаго имѣ-  
ня, потомъ уѣхалъ служить въ Западный край, и тамъ по-  
палъ подъ судъ за побой, нанесенные старшинѣ“...

Но оказывается, что всѣ подобныя вещи не составляли  
еще верха паденія этого блуднаго сына. Окончательною  
побѣдою его было сближеніе съ злокозненными нигилиста-  
ми. Когда Левинъ увидѣлъ своего брата въ грязномъ ну-  
мерѣ московской гостиницы въ сообществѣ съ сими неча-  
йными ада, тогда только „онъ повѣлъ, читаемъ мы въ ро-  
манѣ, что близость съ этого рода людьми есть самый вѣр-  
ный признакъ безнадежно испорченной жизни“.

Нигилистъ Крицкій, бесѣдовавшій съ Николаемъ при  
приходѣ Левина о введеніи какихъ-то слесарныхъ мастер-  
скихъ, оказывается тѣмъ же самымъ стереотипнымъ ниги-  
листомъ, какіе пародируютъ во всѣхъ романахъ „Русскаго  
Вѣстника“: конечно, ужъ онъ съ взѣрошенными волосами,  
съ поддевкѣ, съ злою и враждебною улыбкою, напоминав-  
шею выраженіе собаки, показавшей зубы; конечно, ужъ  
онъ хвалится, что не знаетъ, что проповѣдывали первые  
христіане, и знать не хочетъ, что не считаетъ нужнымъ  
тратить время на чтеніе бездарныхъ книгъ и т. п.

И поймите вы непостижимую логику русскаго белле-  
триста, когда вдругъ, нѣсколько страницъ спусти, оказы-  
вается, что разговоръ съ столь злоехиднымъ отрицателемъ,  
какъ Крицкій, и съ братомъ, надшимъ даже до знаком-  
ства съ этимъ отрицателемъ, оказывается вдругъ благотвор-  
ное вліяніе на Левина. „Разговоръ брата о коммунизмѣ,  
читаемъ мы въ романѣ, къ которому тогда онъ такъ легко  
отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ пе-  
редѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда  
чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравне-  
ніи съ бѣдностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что  
для того, чтобы чувствовать себя вполне правымъ, онъ,

хотя прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще болѣе работать и еще меньше позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собою, что всю дорогу онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ добрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь, онъ въ девятомъ часу ночи подъѣхалъ къ своему дому.

Но какой же логики хотите вы отъ руссiйскаго беллетриста, хотя бы и первокласснаго, какого серьезнаго содержанія въ его произведеніяхъ, когда онъ оказывается способнымъ тратить свой талантъ на изображеніе такихъ сценъ, какъ изслѣдованіе докторомъ молодой дѣвушки; и замѣтите, что курьезнѣе всего здѣсь то, что писатель изображаетъ подобнаго рода сцены не съ какими либо художественными или хотя бы просто клубничными цѣлями, а вѣдь тенденціозно. Ну подумайте же только, въ какой нролитературѣ мыслимо, чтобы литераторъ изображалъ медицинскія изслѣдованія больныхъ женщинъ, съ цѣлью обличить подобнаго рода изслѣдованія съ точки зрѣнія ихъ неприличности; только руссiйскому писателю могутъ прийти въ голову подобнаго рода абсурды. Дѣло въ томъ, видите, что Кити Щербацкая, покинутая Вронскимъ, захворала. Обратились къ докторамъ, конечно, въ томъ числѣ и къ одному знаменитому доктору, который и предложилъ такую возмутительно-безиравственную вещь, какъ изслѣдованіе больной. „Знаменитый докторъ, читаемъ мы въ романѣ, не старый еще, весьма красивый мушца, потребовалъ осмотра больной. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть остатокъ варварства и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще не старый мушца ощупывалъ молодую обнаженную дѣвушку. Онъ находилъ это естественнымъ, потому что дѣлалъ это каждый день и при этомъ ничего не чувствовалъ и не думалъ, какъ ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость въ дѣвушкѣ онъ считалъ не только остаткомъ варварства, но и оскорбленіемъ себя“...

Затѣмъ слѣдуетъ сцена осмотра и консилиума, при чемъ

не забыты и такія подробности, какъ докторъ мылъ послѣ осмотра руки, какъ у исхудавшей и румяной Кити былъ особенный блескъ въ глазахъ, вслѣдствіе перенесеннаго стыда и какъ она вспыхнула, когда докторъ вторично вошелъ въ ея комнату, и глаза ея наполнились слезами.

И вѣдь очень можетъ быть, что гр. Л. Толстой и подобнаго рода обличеніе медицины, создавшей такой скандалъ, какъ ощупываніе молодыми докторами обнаженныхъ дѣвушекъ, пустилъ не для чего иного, какъ ради все тѣхъ же славянофильскихъ пристрастій. Не забудьте, что медицинская наука, отъ лица которой совершаются такія безсудства, принесена къ намъ нѣмцами. Въ допетровской Руси докторовъ дѣйствительно не было, и молодыхъ дѣвушекъ никакимъ осмотрамъ не подвергали. Правда, тогда случалось, что молодыхъ дѣвокъ и женокъ выводили обнаженныхъ въ студеную пору на базаръ, на посмѣяніе толпы, но, вѣдь, то были не великосвѣтскія же барышни, не дакъ-ли, гр. Толстой?

Часть романа, помѣщенная во 2-ой книжкѣ „Русскаго Вѣстника“, кончается тѣмъ, что Вронскій достигаетъ, наконецъ, полной побѣды надъ Анною Карениною, и послѣ двухъ строчекъ таинственныхъ точекъ мы читаемъ слѣдующаго рода мѣста въ патетическомъ духѣ: „То, что почти вѣрный годъ для Вронскаго составляло исключительно одно желаніе его жизни, замѣнявшее ему все прежнія желанія, то что для Анны было невозможно, ужасною и тѣмъ болѣе обворожительною мечтою счастья, — это желаніе было удовлетворено. Влѣдний, съ дрожащею нижнею челюстью, въ стоялъ надъ нею и умолялъ успокоиться, самъ не зная, чѣмъ и чѣмъ.“

Анна! Анна! говоритъ онъ дрожащимъ голосомъ:

Анна, ради Бога!

Но чѣмъ громче онъ говорилъ, тѣмъ ниже она опускала голову, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала съ дивана, на которомъ сидѣла, на полъ, къ его ногамъ: она упала бы на колѣни, если-бы онъ не держалъ ее.

— Прости меня, — всхлипывая говорила она.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощенья, а въ жизни теперь, кромѣ его, у нея никого не было. Больше она ничего не говорила, не могла говорить. Она, глядя на него, физически чувствовала свое униженіе. Онъ же чувствовалъ, что долженъ чувствовать убійца, когда видѣть тѣло лишеннымъ жизни. Это тѣло, лишенное имъ жизни, была ихъ любовь, первый періодъ ихъ любви. Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, что было заплачено страшною цѣною стыда. Стыдъ перенесенною наготою своей давилъ ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужасъ убійцы передъ тѣломъ убитаго, надо рѣзать на куски, прятать это тѣло, надо пользоваться тѣмъ, что убійца пріобрѣлъ убійствомъ. И съ озлобленіемъ, какъ будто со страстью, бросается убійца на это тѣло, и тащить, и рѣзать его, такъ и онъ покрывать поцѣлуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась”...

Но будетъ; и далѣе цѣлая страница еще въ такомъ же родѣ. И вѣдь курьезнѣе всего, какъ подумаешь, что это мелодраматическая дребедень, въ духѣ старыхъ французскихъ романовъ, растечается по поводу заурядныхъ амуровъ великосвѣтскаго хлыща и петербургской чиновницы, любительницы эксельбантовъ... И вѣдь это нишеть все тотъ-же гр. Л. Толстой, авторъ „Войны и Мира“, а не начинающій гимназистъ... Вотъ оно гдѣ полное начало-то конца, совершенная какая-то литературная ростенель!..

*Заурядный Читатель (А. М. Скабичевскій).*

\* \* \*

- \*) „Чрезвычайное происшествіе!
- Неожиданное извѣстіе!
- Что, что такое?”

---

\*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1875 г., № 42, 69, 88. „Литературныя и общественныя замѣтки“. Статья Z. Z.—Z.

Непредвидѣнное дѣло: приходишь въ гостиницу...

О, позвольте, Петръ Ивановичъ, я расскажу.

О, нѣтъ, позвольте, ужъ я... позвольте, позвольте... вы ужъ и слога такого не имѣете...

А вы събѣтесь и не припоминайте всего.

— Припомню, ей Богу, припомню. Ужъ не мѣшайте.

Да говорите, что такое? Ну, что, что такое?

Передъ читателями, конечно, уже встали во всей своей оригинальной красѣ безсмертныя, кургузыя, „чрезвычайно похожія другъ на друга“ фигурки Бобчинскаго и Добчинскаго, стремительно, запылавшіеся, влетающія въ гостиницу съ самыми животрепещущими новостями. Эти фигурки живо встали въ моей памяти, когда я просматривалъ послѣдніе №№ русскихъ газетъ, наполненные въ нижнихъ частяхъ отчетами о новомъ романѣ графа А. Толстого. Такой суеты въ передачѣ читателямъ этой литературной новости въ нашей журналистикѣ давно не бывало. Всѣ наперерывъ старались опередить другъ друга. Январская книжка „Русскаго Вѣстника“ разрывалась съ лихорадочною поспѣшностью, и страницы романа проглатывались какъ устрицы, затѣмъ тутъ же переносились непереваренными на столбцы газетъ и разносились въ публику, которая, въ дополненіе картины, двѣ капли воды походила на Анну Андреевну и Марью Антоновну, пришедшихъ въ сильную сенсацию по случаю пріѣзда ревизора. Я хотѣлъ было отложить бесѣду о новомъ романѣ, но не могу этого сдѣлать въ виду крайняго любопытства Анны Андреевны и Марьи Антоновны, для которыхъ даже „два часа“ казалось какою-то вѣчностью: „Черезъ два часа! Покорнѣйше благодарю! Вотъ одолжили!“ и т. д. Нечего дѣлать, откладывать нельзя.

И такъ: чрезвычайное происшествіе! „Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ. Жена узнала, что мужъ былъ въ связи съ бывшею въ ихъ домѣ французенкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ“.

„Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ!“ восклицаетъ ли-

тературный Бобчинскій. Какъ просто, коротко и ясно! И однако читатель уже съ этихъ словъ (!?) чувствуетъ, что онъ брошенъ прямо въ водоворотъ, что онъ сейчасъ увидитъ нечто очень сложное, очень серьезное! \*).

„Въ домѣ Облонскихъ случилось несчастье. Жена, Дарья Александровна, узнала, что мужъ былъ въ связи“... и т. д. Такъ начинается литературный Добчинскій. „По отношенію къ такому крупному литературному дарованію, какъ графъ .А. Толстой, общія разсужденія неумѣстны: поэтому, безъ предисловія и оговорокъ, передамъ содержаніе первой части романа“ \*\*).

Я не стану повторять всѣхъ Бобчинскихъ и Добчинскихъ, но увлеченный самъ этими литературными репортерами, вступаю въ состязаніе съ ними.

И такъ: чрезвычайное происшествіе! Въ домѣ Облонскихъ случилось несчастье. Дарья Михайловна объявила мужу, что не можетъ жить съ нимъ въ одномъ домѣ. Прошло три мучительныхъ дня, въ которые вся семья чувствовала себя въ крайне-неудобномъ положеніи“... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами „Жена не выходила изъ своихъ комнатъ“...—и кончающаяся словами: „Съ тѣхъ поръ она не хотѣла видѣть мужа“).

Этотъ экзозиціонный эпизодъ романа вызываетъ въ рецензентахъ чувство умиленія. „Сцена пробужденія Степана Аркадьевича послѣ ссоры съ женой необыкновенно хороша“! восклицаетъ одинъ. „Какъ эти немногія простыя строки рисуютъ во всей полнотѣ человѣческую личность Степана Аркадьевича“! восклицаетъ другой. Но, пересчитывая всѣ эти умиленія, невольно спрашиваешь: что же тутъ „необыкновенно хорошаго“? и что тутъ „рисуетъ во всей полнотѣ“? Что графъ .А. Толстой—крупный литературный талантъ и что его новый романъ доставитъ интересное чтеніе—это лежитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Глубокій аналитикъ человѣческой души, тонкій знатокъ самыхъ запу-

\*) „Русскій Міръ“.

\*\*) „Голосъ“.

танныхъ душевныхъ моментовъ, писатель, одаренный художественнымъ чутьемъ, авторъ „Дѣтства, отрочества и юности“ — не можетъ написать аляповатого, топорнаго произведенія. Произведенія Л. Толстого всегда бывали интересны не со стороны фабулы, а со стороны психологическаго анализа. И авторъ въ этомъ случаѣ является не теоретикомъ. Человѣческій организмъ вовсе не такой предметъ, для изслѣдованія котораго было бы достаточно одного анатомическаго ножа; психологическимъ же науки изслѣдователи еще не располагаютъ или плохо имъ манипулируютъ. А изобрѣтатели машинъ еще не придумали спарца для опредѣленія, измѣренія и извѣщиванія тѣхъ многообразныхъ проявленій — нормальныхъ и ненормальныхъ — нервныхъ огиправленій, которыя дѣлаютъ изъ человѣка одно изъ самыхъ загадочныхъ явленій. Художникъ съ своимъ эстетическимъ чутьемъ, съ своимъ дедуктивнымъ творчествомъ играетъ не ничтожную роль, если его творчество опирается на опытъ и наблюдение. Изъ свѣтъ нѣтъ чистой дедукціи, какъ это остроумно доказалъ Бэкъ, даже пресловутая дедукція съ ньютоновскимъ яблокомъ имѣла въ своемъ источникѣ опытъ и наблюдение. Творчество графа Л. Толстого, если можно такъ выразиться, индуктивно-дедуктивное. Онъ не кабинетный писатель, сидящій надъ фоліантами или ископаемыми костями, онъ окунается въ самые глубокіе тайники души человѣка, и среди непроницаемой тьмы, царящей тамъ, силою своего зоркаго художественнаго глаза, успѣваетъ подмѣчать кое-какія явленія въ этой сферѣ. Вотъ почему мы еще ждемъ отъ его новаго романа; но пока въ романѣ этого элемента нѣтъ или, если и есть, то очень мало. Его Степанъ Аркадьевичъ не представляется въ этомъ отношеніи глубоко обслѣдованнымъ и систематически прослѣженнымъ авторомъ. Въ вѣншемъ представленіи рисуется образъ Степана Аркадьевича какъ-то слабо, безъ рѣзко очерченныхъ линий и опредѣленныхъ красокъ, хотя авторъ посвятилъ ему не мало *oil on canvas*. Вотъ, напримѣръ, одна изъ наиболѣе рельефныхъ характеристикъ... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Сте-

нанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету — ... и кончающаяся словами: „Эти свѣдѣнія не доставляли ему, какъ прежде, тихаго, прощическаго удовольствія“).

„Здѣсь единственная оригинальная черта, единственная индивидуальная конкретность, отдѣляющая Степана Аркадьевича отъ безформенныхъ и безцвѣтныхъ фигуръ русскаго романа — это предпочтеніе имъ либеральнаго направленія, потому что оно *подходило ближе къ его образу жизни*. Но, къ сожалѣнію, этотъ новый и въ высшей степени оригинальный ингредиентъ русскаго либерализма брошенъ въ романъ, но крайней мѣрѣ въ первой части, такъ сказать, мимоходомъ. А между тѣмъ на ничего не говорящіе аксессуары и детали въ романѣ тратятся непроизводительнымъ для читателя образомъ цѣлыя страницы. Я приглашаю самаго восторженнаго поклонника даровитаго беллетриста отвѣчать, на какой „психологическій“ конецъ введенъ въ романъ, напр., слѣдующій рестораціонный эпизодъ... (Слѣдуетъ выписка: „Если прикажете, ваше сіятельство, отдѣльный кабинетъ сейчасъ опростается“, — кончая словами: „Или ты другой сыръ любишь?“).

Все это аксессуары, безъ которыхъ, конечно, не можеть обойтись романнеть; но, вѣдь, и аксессуары аксессуарамъ рознь. Описаніе самыхъ ничтожныхъ мелочей квартиры Обломова дополняетъ героя, такъ какъ все эти мелочи составляютъ Илью Ильича, ибо туфля подъ его кроватью, засохшая чернильница, книга, покрытая толстымъ слоемъ пыли, — все это вмѣстѣ составляетъ правдивенный образъ Обломова. Ну, а что же придаетъ индивидуальнаго къ правдивенному образу Степана Аркадьича сущь-претаньеръ или тюрбо подъ густымъ соусомъ, кромѣ того, что рисуетъ въ немъ гастронома? Но я боюсь упрека въ придирчивости и... пожалуй, въ неуваженіи къ авторитетамъ.

Здѣсь я сдѣлаю одно отступленіе, чтобы предупредить упрекъ въ неуваженіи. Я съ большимъ удовольствіемъ читалъ въ январской книжкѣ „Вѣсти Европы“ статью: „Признанія литературныхъ отцовъ“, написанную по поводу недавно изданныхъ произведеній Теофила Готье и Шанфлера.

Въ этой статьѣ брошенъ категорическій упрекъ русскимъ журнальнымъ и театральнымъ рецензентамъ за ихъ неуважительное отношеніе къ произведеніямъ отечественной литературы и вообще къ явленіямъ отечественнаго искусства. Этотъ упрекъ русская рецензія не можетъ назвать гололовнымъ и должна принять его къ свѣдѣнію, и не столько принять упрекъ, сколько поучиться изъ этой статьи приемамъ французской критики. Эти приемы намъ кажутся черезчуръ изысканными, галантерейными, пожалуй, приторными: но это происходитъ оттого, что намъ совершенно чужды та солидарность, которая соединяетъ у французовъ, такъ выражается авторъ, „république de lettres“. Несмотря на разнообразіе отбѣнокъ и направленій, во французской прессѣ чувствуется, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, всегда присутствіе чего-то объединяющаго, желаніе воздать собрату должное, если не какъ человѣку своего кружка и лагеря, то какъ французу, принадлежащему къ той же корпорации умственнаго труда. Надъ шовинизмомъ, конечно, трудно не смѣяться, но врядъ ли лучше этого шовинизма холодное и безыдейное зубоскальство, не дорожающее никакимъ національнымъ достоинствомъ. Для француза „une des gloires de la France“ — не пустой звукъ. Возьмите, говоритъ авторъ, любого клерикала и реакціонера и допросите его, напримѣръ, хоть о Викторѣ Гюго... Что бы онъ о немъ ни высказалъ, а кончить тѣмъ, что признаетъ его крупнымъ національнымъ достоинствомъ и сниметъ шанку. Дѣйствительно, у насъ, въ Россіи, эта манера еще чужда русской критикѣ. Съ легкой руки Базарова, провозгласившаго, что Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ, наша русская критика сдѣлала въ этомъ направленіи не малые успѣхи: „Пушкинъ—альбомный поэтъ“, „саногн выше Шекспира“ и т. п. великіе афоризмы заслужили себѣ почтенную извѣстность... Еще недавно педагогическая критика провозгласила въ лицѣ г. Евтушевека, что „графъ Л. Толстой — саножникъ“. Но всего не перечесть. Само собою разумѣется, что мы будемъ читать и отзывы о новомъ романѣ Л. Толстого въ такомъ же вкусѣ... Ко всему этому

не привыкать стать. Но не менѣе неказиста и другая критика, приходящая въ слѣпной восторгъ отъ „gloire de la Russie“. Что графъ Л. Толстой — *gloire de la Russie* — это вѣрно, но... зачѣмъ стужа лопать? И въ его романѣ есть недостатки, которые критики должны указать, но, конечно, безъ злораднаго глумленія и безыдейнаго зубоскальства. Чѣмъ болѣе кому дано, тѣмъ болѣе съ того взыскивается. Этотъ девизъ освобождаетъ насъ отъ идолопоклонническаго отношенія къ писателямъ первой величины.

Возвращаясь къ роману гр. Л. Толстого, мы пока воздержимся отъ строгихъ критическихъ замѣчаній: но во всякомъ случаѣ замѣтимъ, что въ его новомъ романѣ нѣтъ никакой ни злобы дня, ни злобы вѣчности, ни тенденціи, ни... ни даже идеи... но зато есть типы, характеры? In spe, если этотъ романъ изъ современной жизни такъ же удался автору, какъ и „Война и Миръ“; но *пока*... пока мы только на предисловіи. Очень можетъ быть, что авторъ подаритъ насъ цѣлымъ рядомъ типовъ, „характеровъ“, какъ нѣкогда подарилъ древній міръ Осифрастъ, но, повторяю, все это in spe.

\*) Романъ графа Л. Толстого представляетъ собою, по словамъ нѣкоторыхъ критиковъ „отраженіе интересовъ культурныхъ слоевъ общества“, въ немъ читатель поставленъ лицомъ къ лицу съ „страстями и побужденіями цивилизованнаго быта.“ Что же это за страсти, побужденія? Любовь, любовь и любовь; при чемъ романъ въ домѣ Облонскихъ — измѣна мужа; романъ въ домѣ Карениныхъ — измѣна жены. Романъ въ домѣ князя Щербацкаго — измѣна жениха. Тѣ же болѣзни, страданія, недоразумѣнія, тѣ же побужденія, желанія, идеалы, тѣ же душевныя complicatіоны, тѣ же житейскія коллизіи. Ну, не безцвѣтны ли, не безцѣльны ли, не вялы ли все эти набившія оскомину изображенія усладительныхъ любовныхъ сценочъ, нѣжныхъ и разслабляющихъ мотивовъ жизни уточеннаго и сытаго комфорта, мотивовъ, полныхъ въ изображеніи, напримѣръ, гр.

\* „Одесскій Вѣстникъ“ 1875 г., № 69 (продолженіе).

Толстого, утонченной художественной и тѣмъ болѣе возбудительной чувственности. Читая гр. Толстого, удивляешься, какъ этотъ могучій, оригинальный и весьма симпатичный талантъ не можетъ подняться хоть сколько-нибудь выше ординарнаго и намозолившаго намъ глаза уровня психологическихъ наблюдений, какъ этотъ талантъ не можетъ выбиться изъ узкой колеи, изъ тѣсныхъ рамокъ этихъ наблюдений рутинныхъ „страстей и побуждений“ великосвѣтскаго мірка, именуемаго критикомъ „Русск. Вѣстн.“ „свѣтскимъ обществомъ“. Я не говорю о томъ, — это каждый и безъ меня знаетъ, — что гр. Толстой глубоко изучилъ жизнь этого уголка, во всей ея блестящей пустотѣ и изысканной пошлости, со всѣми тайными закоулками и переулками этой жизни, на которыхъ авторъ не жалѣетъ своего тонкаго анализа. Но, прочитавъ хотя бы первыя двѣ части „Анны Карениной“, вы чувствуете, что вы не удовлетворены, что чего-то вамъ недостаетъ, точно вы просидѣли часъ — другой въ щегольскомъ помѣщеніи, но до того низкомъ, что долобокъ его давить и жаль васъ. Чего недостаетъ? Воздуху, шири, размаху.

\*) Прежде чѣмъ продолжать, я разскажу читателю слѣдующій анекдотъ. Одинъ астрономъ Фридриха II доставилъ своему брату славу великаго предвѣдателя погоды. Извѣстность этого послѣдняго сдѣлалась такъ велика, что Фридрихъ пожелалъ его видѣть.

— Какимъ образомъ ты предсказываешь погоду? — спросилъ его король.

— Очень просто, — отвѣчалъ тотъ: — когда мой братъ, придворный астрономъ вашего величества, говоритъ, что будетъ хорошая погода, я говорю, что будетъ дурная, и всегда случается по-моему.

Совершенно такую же славу могу составить себѣ и я. Когда столичная критика говоритъ, что такой-то романъ будетъ прекрасенъ, мнѣ остается сказать, что онъ будетъ дуренъ и... я не знаю, всегда ли случится по-моему, но

съ „Анной Карениной“ случилось именно такъ. Когда петербургская критика до небесъ превозносила первую часть романа и предскаывала ему блестящую будущность, я сомнительно покачивалъ головой. Когда петербургская критика продолжала сочувственно относиться ко второй (т.-е. собственно февральской) части, я отнесся къ роману уже совѣмъ отрицательно. Наконецъ, явилась мартовская часть и — ахъ, какой пассажъ! — я читаю въ петербургской критикѣ то, что я писалъ въ своихъ замѣткахъ о первыхъ частяхъ, но уже болѣе категорически сформулированное. По поводу февральской части я писалъ, что въ этомъ романѣ все безцѣпно, вяло, что романъ исчерпывается изображеніями усладительныхъ любовныхъ сценочекъ, нѣжныхъ и разслабляющихъ мотивовъ жизни утонченнаго и сытаго комфорта и возбудительной чувственности и пр. и пр. Но какъ пріятно я былъ удивленъ, когда встрѣтилъ солидарный съ моимъ отзывъ и въ петербургской критикѣ. Я не хочу сказать, какъ это дѣлаютъ мелкотравчатые писатели и поворожденные эле-грамотные рецензенты, что критикъ, напр., „Вирж. Вѣдом.“ замѣтствовалъ взглядъ на романъ у меня. Но если у меня есть *bel esprit*, то по поводу этого совпаденія рецензій остается сказать только, что *les beaux esprits se rencontrent*, и затѣмъ предоставить говорить тому *bel esprit*, который раньше формулировать „э!“, хотя я раньше его замѣтилъ это „э!“ Нужно ли объяснять читателю, говорю я словами критика или говорить критикъ моими мыслями, что любовь (которою исчерпывается все содержаніе „Анны Карениной“) производитъ на насъ пріятное впечатлѣніе только своею человѣческою стороною, тѣми идеями, которыми она освящается и возвышается, тѣми элементами человѣческой симпатіи, которые входятъ въ нее и составляютъ всю ея поэзію. Откиньте вы эти элементы, и передъ вами предстанетъ одна скотская чувственность, самая омерзительная изъ всего омерзительнаго.

Искусство имѣетъ право изображать все, что ему угодно: ни одна сторона человѣческой жизни не должна быть чуждою ему. Но дѣло только въ томъ, что во все, что оно

изображаетъ, оно должно вносить человѣческую мысль; иначе, вмѣсто чувства эстетическаго наслажденія, оно будетъ производить въ васъ омерзѣніе. Почему, напри- мѣръ, картины природы въ произведеніяхъ Байрона или Гете васъ восхищаютъ, а въ произведеніяхъ г. Фета — возбуждаютъ омерзѣніе? Именно потому, что у первыхъ эти картины постоянно тѣсно соединены съ идеями, которыя ихъ вдохновляютъ: въ картинахъ этихъ видны тѣ же мыслители, что и въ сценахъ жизни человѣческой, тогда какъ въ произведеніяхъ г. Фета такъ и глядитъ на васъ Маниловъ, плачущій передъ зарею не почему другому, какъ только потому, что она — заря, заря!.. Замѣчательно въ этомъ отношеніи, какъ переродились многіе наши писатели 40-хъ годовъ и какъ одні и тѣ же сферы жизни являются у нихъ совершенно въ иномъ видѣ въ молодыхъ произведеніяхъ, сильныхъ мыслью, тѣмъ въ произведеніяхъ позднѣйшихъ, явившихся тогда, когда мысль ихъ успѣла ослабѣть и измелѣчать. Возьмите, напримѣръ, г. Тургенева. Онъ всегда любилъ изображать картины природы, и въ этой сферѣ дошелъ до неподражаемаго совершенства. Въ то же время на первомъ планѣ во всѣхъ его произведеніяхъ стоитъ изображеніе чувства любви, и въ этомъ отношеніи онъ тоже не послѣдній мастеръ. Возьмите теперь его юныя произведенія. „Записки Охотника“ преисполнены ландшафтами природы. Но эти картины невидимы и въ то же время самыми тѣсными узами соединены съ тѣми идеями, которыя проводятся въ этихъ очеркахъ; онѣ составляютъ фонъ и колоритъ этихъ идей. Вы чувствуете, что безъ нихъ передъ вами не предстали бы такъ живо и рельефно въ са- мой ихъ сути тѣ люди, которые живутъ, радуются и стра- даютъ среди этихъ картинъ. Люди и ландшафты составля- ютъ передъ вами нѣчто одно, неразрывное цѣлое. Перечти- те-ка послѣ этого какіе-нибудь „Призраки“: тамъ вы уви- дите тоже ландшафтъ на ландшафтѣ—но къ чему всѣ эти ландшафты, какія воспоминанія будятъ они въ васъ, какія мысли возбуждаютъ? Что видите вы въ нихъ, кромѣ какой- то чудовищной похотливости разнузданной фантазіи? То же

самое и относительно любви. Отчего ни въ „Рудинѣ“, ни въ „Затишьѣ“, ни въ „Асѣ“, ни въ „Наканунѣ“ многообразныя сцены любви, со всеѣми ихъ дневными и ночными свиданіями и сладостными поцѣлуями, не вызываютъ въ васъ ни тѣни сладострастія, — почему онѣ являются пренебреженными цѣломудрія, хотя во многихъ изъ нихъ представляются картины далеко не цѣломудренныя? Именно потому, что во всеѣхъ этихъ картинахъ любовь является одухотворенною мыслью: на первомъ планѣ во всеѣхъ ихъ стоитъ анализъ думъ и чувствъ героевъ, касающійся вопросовъ ихъ судьбы и высшихъ интересовъ жизни. Когда Наташа является на ночное свиданіе къ Рудину и говоритъ, что она готова идти за нимъ куда угодно, когда Лиза цѣлуетъ страстно Лаврецкаго, когда Елена говоритъ Инсарову, что отдается ему вся, — передъ вами во всеѣхъ этихъ сценахъ на первомъ планѣ раскрываются такіе потрясающіе или трогательныя драмы, иногда и трагедіи, что вамъ и въ голову не приходитъ какая-либо грязная мысль, въ родѣ желанія раскрыть скромно-опущенную писателемъ завѣсу и посмотреть, что было или могло быть послѣ такого-то поцѣлуя: для подобной мысли нѣтъ здѣсь мѣста; вы замѣчаете, что и у писателя она не могла быть при писаніи подобной сцены. Но подумайте, какою же мыслью одухотворены подобныя сцены въ „Дымѣ“ или „Вешнихъ Водахъ“? Какое участіе могутъ возбудить въ васъ къ себѣ все эти необузданные сластолюбны, въ родѣ Антвинова или героя „Вешнихъ Водъ“ со своими героинями — вакханками. Что выносите вы изъ этихъ сценъ, кромѣ одного сладострастнаго созерцанія того, какъ онъ ее вкусно поцѣловалъ, обхвативъ ее станъ, и какъ она къ нему прижалась, и какъ онъ почувствовалъ при этомъ запахъ молодого женскаго тѣла, и у него пошла кругомъ голова и пр. Однимъ словомъ, здѣсь передъ вами изображеніе одной голой, скотской чувственности, лишенной всего человѣческаго. Оттого подобнаго рода сцены и производятъ въ васъ омерзѣніе: искусство не выходитъ въ нихъ до унижительной роли комфортатива. То же самое мы видимъ и у г. Гончарова. И „Обыкновенная Исторія“ и

„Обломовъ“ преисполнены любовныхъ сценъ, но вы не уносите ихъ ни въ сферу сладострастія, потому что ваше вниманіе непрестанно занято при чтеніи этихъ произведеній тѣми идеями, которыми проникнуты эти произведенія. Когда же вы читаете „Обрывъ“, напротивъ того, передъ вами цѣлыя страницы, преисполненные самаго утонченнаго сладострастія, и вся драма, разыгрывающаяся на краю и на дыбъ обрыва, представляется вамъ словно какою-то почвою оргіею кошекъ со всеми ея взвизгиваніями и стонами разыгравшихся похотей.

Вотъ „э!“, прекрасно сформулированное критикомъ и совершенно совпадающее не только съ моимъ „э!“, но и всякаго читателя, требующаго отъ произведенія искусства, чтобы оно было одушевлено какою-нибудь мыслью, а не представляло бы только одиѣ картинки эротическаго, гастрономическаго, эстетическаго и т. п. свойства, рядъ которыхъ составляетъ романъ г-на .І. Толстого. Безыдейность этого романа достигаетъ кульминаціоннаго пункта. Ыда, џитье, спанье, охота, балы, скачки, и любовь, любовь и любовь, въ самомъ голомъ смыслѣ этого слова, не осложненная никакими психическими актами, ни малѣйшимъ нравственнымъ интересомъ — вотъ начало и конецъ романа. Я не стану приводить выдержекъ изъ романа, такъ какъ этотъ ординарный пріемъ критики въ данномъ случаѣ ничего не доказываетъ. Я приглашаю читателя, еще не читавшаго романа, открыть его наугадъ на любой страницѣ, потомъ перекинуть нѣсколько страницъ и пробѣжать одну — двѣ, и опять перекинуть и опять пробѣжать одну — двѣ — это будетъ для него гораздо доказательнѣе, чѣмъ одна — другая выдержки изъ романа, которыя привелъ бы я. Читателя же, прочитавшаго романъ, я приглашаю указать мнѣ хоть одну страницу, хоть полстраницы, на которой было бы присутствіе хоть какой-нибудь идейки или вольт-идейки. Ничѣмъ инымъ, какъ этимъ отсутствіемъ всякаго нравственнаго интереса въ романѣ, слѣдуетъ объяснить то по истинѣ замѣчательное охлажденіе публики къ новому роману одного изъ заровнѣйшихъ русскихъ писателей.

*Изъ „Одесскаго Вѣстника“ 1875 г. Станья Z. Z. Z.*

\*  
\*  
\*

\*) Въ одномъ изъ прошлыхъ номеровъ, мы показывали читателямъ „Анну Каренину“, сами не зная еще, что это такая за мессія въ нашей литературѣ. Теперь передъ нами двѣ книжки „Русскаго Вѣстника“, и мы предоставляемъ самому читателю судить объ этомъ пресловутомъ романѣ, весь успѣхъ котораго основанъ на фирмѣ, которую въ настоящее время далеко превзошли такіе романисты, какъ, напримеръ, Каразинъ съ своимъ романомъ „Съ сѣвера на югъ“.

Перейдемъ къ произведенію „Анна Каренина“.

Константинъ Левинъ, послѣ своего неудачнаго предложенія Кити Щербацкой, наканунѣ выѣздя изъ Москвы, отправился къ своему родному брату Николаю, котораго Толстой рисуетъ *почему-то* забитой и обиженной собакой. Когда Левинъ навѣстилъ брата: „Онъ былъ еще худѣ, чѣмъ три года тому назадъ, когда Константинъ Левинъ видѣлъ его въ послѣдній разъ. На немъ былъ короткій сюртукъ. И руки и широкія кости казались еще огромнѣе. Волосы стали рѣже, тѣ же прямые усы висѣли на губѣ, тѣ же глаза странно и пассивно смотрѣли на вошедшаго.“

— А, Костя! вдругъ проговорилъ онъ, узнавъ брата. Глаза засвѣтились радостью. Но въ ту-же секунду онъ оглянулся на молодого человека и сдѣлалъ опять судорожное движеніе головой, и совсѣмъ другое, дикое, страдальческое и жесткое выраженіе остановилось на его исхудаломъ лицѣ.

— Я писалъ и вамъ и Сергѣю Ивановичу, что я васъ не знаю и не хочу знать. Что тебѣ, что вамъ нужно?—

Подъ перомъ Толстого, этотъ нравственно обиженный человѣкъ, съ задатками и помыслами Кряжева въ „Хроникѣ села Смурина“, рисуется какимъ-то отребьемъ, пролетаріемъ въ обществѣ, душевно и физически истощеннымъ, безцѣльнымъ и жалкимъ „нигилистомъ“, котораго существованіе ничто иное, какъ послѣдовательное разложеніе и гноеніе души и тѣла, жизнь котораго авторъ все-таки по-

априль одной утѣхой, проституткой изъ публичнаго дома, которую Николай вырвалъ оттуда, и которая единственно беззапѣтно преданно относилась къ нему.

Взавѣвъ этой картины, читатель можетъ остановиться на добродушномъ, лихомъ и видимо полюбившемся автору ероѣ — Вронскомъ.

Вронскій слушалъ съ удовольствіемъ этотъ веселый летъ хорошенъкой женщины \*), поддакивалъ ей, давалъ душутливые совѣты и вообще тотчасъ-же принималъ свой привычный тонъ обращенія съ этого рода женщинами. Душайте, читатель, и любуйтесь на міровоззрѣніе этого благороднаго и честнаго, славнаго малаго Вронскаго, любимаго женщинъ и товарищей:

....Въ его петербургскомъ мірѣ все люди раздѣлялись на два совершенно противоположные сорта: пошлые, глупые и, главное, смѣшные люди, которые вѣрують въ то, во одному мужу надо жить съ одной женой, съ которою онъ обвѣчанъ, что дѣвушкамъ надо быть певичною, женщинамъ стыдливою, мужчинамъ мужественною, воздержною и твердому, что надо воспитывать дѣтей, зарабатывать свой хлѣбъ, платить долги и разныя тому подобныя глупости. *Это былъ сортъ людей старомодныхъ и смѣшныхъ.* Но былъ другой сортъ людей, настоящихъ, къ которому все принадлежали, въ которомъ надо быть, главное, безантимъ, красивымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться всякой страсти не краснѣя, и надъ всемъ стальнымъ смѣяться“.

Что-же это такое?!

Анна Каренина пала, и стала любовницею Вронскаго. Но кто былъ дороже Вронскому: Анна-ли, или Фру-Фру, то лошадь, которой онъ на скачкахъ спину переломилъ — мы узнаемъ, вѣроятно, въ апрѣльской книжкѣ.

Что находить хорошаго въ этомъ романѣ, интересно было-бы знать: но моему, если ужъ бить на цинизмъ, такъ

\* Не вырванная изъ среды проститутки, а блаженствующая камелия чуждаго полета.

„Благонамѣренныя Рѣчи“ Щедрина стоятъ несравненно выше салонно-приторнаго романа „Анна Каренина“.

Пока еще только двѣ личности выдаются въ романѣ: Константинъ Левинъ и Стива, по справится ли съ ними авторъ? Они слишкомъ характерны, чтобы довольствоваться только одной отфѣлкой подъ лакъ и подъ орѣхъ.

Изъ „Дона“ 1875 г.

\* \* \*

\*) Вышла февральская книга „Русскаго Вѣстника“ съ продолженіемъ „Анны Карениной“. Первая часть окончена и напечатано десять главъ второй части. Слѣдовательно, романъ достаточно подвинуть, и авторъ уже настолько высказался, что становятся возможными нѣкоторыя сужденія, которыя останутся вѣрными и при окончѣ цѣлаго произведенія. Эти новыя, прочитанныя нами главы прекрасны безспорно да оно иначе и быть не можетъ; но чѣмъ дальше читаешь, тѣмъ чаще и чаще повторяется невольный вопросъ: отчего въ этихъ превосходныхъ сценахъ, въ этихъ мастерскихъ и вѣрныхъ картинахъ все такъ знакомо, такъ черезчуръ знакомо, какъ будто перечитываешь уже не разъ перечитанную книгу? Этотъ вопросъ возбуждается не отъ того знакомаго вѣянія дѣйствительности, своей пережитой и чужой подсмотрѣнной жизни, которымъ дышитъ каждое глубоко-художественное произведеніе. Нѣтъ, въ новомъ романѣ графа Л. Толстого чѣмъ дальше, тѣмъ больше находишь чрезвычайно знакомые приемы, опредѣленія, черты дѣйствующихъ лицъ; наконецъ, весь, такъ сказать, обликъ романа—давно уже гдѣ-то читаннымъ и сохранившимся въ памяти. Гдѣ же мы читали все это? и дѣйствительно ли читали? На этотъ вопросъ можно отвѣтить категорически: да, мы все это уже читали, и читали въ

\*) „С. Петербургскія Вѣдомости“ 1875 г., № 65. Статья Сине Яра (В. С. Соловьевъ).

сочиненіяхъ русскаго извѣстнаго и любимаго писателя, графа Льва Толстого.

„Анна Каренина“, какъ бы и чѣмъ бы ни закончилъ авторъ, во всякомъ случаѣ, выйдетъ замѣчательнымъ, первокласснымъ романомъ, и въ немъ, безспорно, найдется не мало страницъ, которыя навсегда сохранятся въ памяти читателя; но теперь, по прочтеніи конца первой части и половины второй, мы рѣшаемся сказать, что писать этотъ романъ было нѣсколько рано, для него оказалось недостаточно матеріала, и автору пришлось довольно часто черпать изъ стараго, богатаго источника „Войны и Мира“. Началась „Анна Каренина“ совершенно новымъ, самостоятельнымъ романомъ; но уже сейчасъ послѣ замѣчательнаго описанія бала, съ XV-й главы стала оказываться недостаточность свѣжаго матеріала. То здѣсь, то тамъ начали всплывать страницы „Войны и Мира“, фигура Левина слилась съ фигурой Пьера Безухова, изъ-за князя Щербацкаго выгнулись, только довольно поумнѣвшій, старикъ Ростовъ, бабушкѣ Натанѣ захотѣлось воплотиться въ свою внучку Кити. Быть можетъ, графъ Л. Толстой сознательно допустилъ такое переселеніе душъ; но такъ какъ новый романъ называется „Анна Каренина“, а не „Метампсихоза“, то покуда у насъ нѣтъ достаточныхъ основаній для серьезнаго утвержденія въ этомъ предположеніи...

Вотъ передъ нами предвѣстная страница: чувства, мечты и думы Левина по возвращеніи въ деревню послѣ неудавшейся любви къ Кити. „Ну, что же дѣлать?.. Я не виноватъ. Но теперь я хочу по новому жить. Только едва ли. Не допустить жизнь, прошедшее не допустить. Что же дѣлать? По старому жить? Только лучше, гораздо лучше жить"... вотъ что, между прочимъ, говоритъ себѣ Левинъ. Прочтя всю эту главу, если только вы хорошо помните „Войну и Миръ“, вамъ непременно придется убѣдиться, что передъ вами снова Пьеръ Безухій, весь, цѣликомъ, со всѣми своими мыслями, мечтами и чувствами, со всѣми своими выводами и рѣшеніями, даже почти съ тѣми же самыми словами, которыми онъ говорилъ съ собою въ 1805—

1812 годахъ. Только обстановка его, виѣшняя жизнь не та, и потому онъ занятъ не братьями масонами, не Панапономъ, а краснопѣгими коровами и книгой Тиндала о теплотѣ.

Возьмите сцены въ домѣ Щербацкихъ во время болѣзни Кити, возьмите стараго князя, его отношеніе къ женѣ, дочери и самому себѣ—графъ Ростовъ встаетъ передъ вами изъ гроба; посмотрите на Кити попристальнѣе во все это время, разберите ее отношеніе къ отцу, къ матери, ее разговоръ съ Долли, ее движенія, чувства, направленіе мысли---и вы увидите Наташу.

Разумѣется, ни Левинъ, ни Щербацкій, ни Кити не могутъ страдать оттого, что въ нихъ переселяются души ихъ предковъ—они остаются живыми, чрезвычайно вѣрно и художественно обрисованными лицами, но, вѣдь, мы несколько и не хотимъ возставать противъ нихъ. Мы хотимъ только доказать очевидную для насъ тождественность ихъ съ характерами, коротко знакомыми намъ по „Войнѣ и Миру“.

Говоря о первыхъ пятнадцати главахъ „Анны Карениной“, мы выразили наше мнѣніе, что графъ Л. Толстой вполне обладаетъ чувствомъ мѣры, и что изъ этихъ пятнадцати главъ ничего нельзя выбросить и трудно что-нибудь къ нимъ прибавить. Теперь же, къ нашему величайшему удивленію и сожалѣнію, намъ приходится упрекнуть почтеннаго автора, по поводу одной страницы, именно въ томъ, что чувство мѣры ему измѣнило. Этой страницей начинается вторая часть романа. Измѣна Вронскаго такъ сильно подѣйствовала на Кити, что она заболѣла. Ея силы ослабѣвали, ей становилось хуже. „Домашній докторъ давалъ ей рыбій жиръ, потомъ желѣзо, потомъ липсъ; но такъ какъ ни то, ни другое, ни третье не помогало, и такъ какъ онъ совѣтовалъ отъ весны уѣхать за-границу, то принимавшій былъ знаменитый докторъ. Знаменитый докторъ, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовалъ осмотра больной. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвчья стыдливость есть только остатокъ варварства, и что нѣтъ ничего естественнѣе какъ

то, чтобъ еще не старый мужчина оцупывалъ молодую обнаженную дѣвушку. Онъ находилъ это естественнымъ, потому что дѣлалъ это каждый день и при этомъ ничего не чувствовалъ и не думалъ, какъ ему казалось, дурного, и потому стыдливость въ дѣвушкѣ онъ считалъ не только остаткомъ варварства, но и оскорбленіемъ себя“. „Послѣ внимательнаго осмотра и постукиванья растерянной и ошеломленной отъ стыда больной, знаменитый докторъ, старательно вымывъ свои руки, стоялъ въ гостиной и говорилъ съ княземъ“.

Что это такое? реальность? доведенная до совершенства жизненная правда? Но, вѣдь, такимъ образомъ, значить, можно и должно восхищаться поэтической строчкой г. Некрасова, *„и въ зѣблѣхъ подожженныхъ снѣговъ“*! и многими фразами г. Щедрина, приводить которыя у насъ рѣшительно не хватаетъ храбрости?! Зачѣмъ нуженъ былъ этотъ разсказъ? что пояснилъ онъ или дополнилъ? Почему захотѣлось автору кинуть въ свой прекрасный, художественный романъ эту ненужную, циническую и даже не совсѣмъ вѣрную дѣйствительности страницу! Да, не совсѣмъ вѣрную дѣйствительности, потому что страданія Кити (какъ дальше видно) были вовсе не такого рода, чтобы какой бы то ни было, знаменитый или не знаменитый, докторъ могъ потребовать осмотра, который бы ошеломилъ и сжегъ стыдомъ пациентку, а доктора заставить „стоять въ гостиной, старательно вымывъ руки“. Да и, наконецъ, всякій докторскій осмотръ, каковъ бы онъ ни былъ, не можетъ быть ужаснымъ и безразличнымъ, такъ какъ каждая мало-мальски разумная и цѣломудренная женщина или дѣвушка, именно вълѣдствіе своей цѣломудренности, не должна и не можетъ въ извѣстную минуту смотрѣть на доктора какъ на мужчину, а потому говорить о „весьма красивомъ, не старомъ мужчинѣ и молодой обнаженной дѣвушкѣ“ совершенно неумѣстно. Если бъ у Кити было испорченное, развращенное воображеніе—тогда другое дѣло; но авторъ изображаетъ ее вовсе не такою. Если мы остановились на этой безобразной страницѣ и рѣшилисѣ сдѣлать изъ нея выписку, то

единственно потому, что намъ пришлось обвинить графа А. Толстаго въ очень рѣзкомъ промахѣ, который, при повтореніи, можетъ грозить большой бѣдою, а обвинять въ чемъ бы то ни было такого глубоко-талантливаго художника позволительно только съ вещественными уликами.

Героиню романа, красавицу Анну, мы оставили въ I А. „Русскаго Вѣстника“ очень блѣдной фигурой и недоумѣвали, что изъ нея выйдетъ. Теперь изъ нея вышла очень неинтересная женщина, безъ особеннаго ума, безъ особенной доброты, безъ злобы, даже безъ той стихійной силы и страсти, которыя въ своихъ яркихъ, горячихъ порывахъ могутъ быть такъ невольно привлекательны, что имъ прощались многое. Мы еще боимся рѣшиться на окончательный приговоръ относительно Анны; быть можетъ, въ моменты дальнѣйшаго развитія драмы, она выкажетъ какія-нибудь новыя стороны своего характера, которыя оправдаютъ автора, давшаго ей первое мѣсто въ романѣ; но покуда, повторяемъ, она очень не интересна, всѣ остальные женщины, поставленныя на второй планъ, гораздо интереснѣе.

Анна уѣзжаетъ изъ Москвы, увлеченная Вронскимъ, и думаетъ, что бѣжить отъ Вронскаго, т. е. въ сущности она отлично знаетъ, что не бѣжить отъ него, что вовсе и не хочетъ бѣжать; она просто вступаетъ въ наивную сдѣлку съ своей совѣстью, и хочетъ себя успокоить приличностью своихъ чисто виѣшнихъ дѣйствій. Вронскій летитъ за нею въ томъ же поѣздѣ и объявляетъ ей, что куда она, туда и онъ, и что иначе ему невозможно. Анна разумѣется, замираетъ отъ счастья, услышавъ это, и очень плохо притворяется передъ своимъ обожателемъ. Въ Петербургѣ, на дебаркадерѣ, ее встрѣчаетъ мужъ, и она очень удивляется, отчего это у него такъ выросли уши. Затѣмъ начинается петербургская жизнь—у мужа уши выросли, слыть вовсе не такъ хорошо, какъ прежде ей казалось, вездѣ скучно, вездѣ, гдѣ нѣтъ Вронскаго. Но Вронскій всюду, по счастью, да къ тому же и услужливая пріятельница устраиваетъ свиданія влюбленныхъ. Покуда Анна все больше молчитъ на страницахъ романа, и мы не зна-

онъ даже, о чемъ она бесѣдуетъ съ Вронскимъ во время долгаго и оживленнаго tête-à-tête на вечерѣ у княгини Бетси. Не знаетъ этого и мужъ ея (прекрасно обрисованная и, несмотря на уни, положительно симпатичная фигура); но онъ, вовсе не ревнивый и сильно, по своему, любящій Анну, не можетъ не замѣтить того впечатлѣнія, которое производитъ этотъ tête-à-tête на окружающихъ. Онъ рѣшается предупредить ее. Его мысли и чувства, вслѣдствіе которыхъ онъ доходитъ до этого рѣшенія, составляютъ замѣчательныя, художественныя страницы. Превосходна тоже сцена объясненія его съ женою, да и, кромѣ того, она очень важна для характеристики Анны. „Анна, мнѣ нужно переговорить съ тобой“. — „Со мной?“ сказала она удивленно, вышла изъ двери и посмотрѣла на него. — „Что же это такое? О чемъ это?“ спрашивала она, садясь. — „Ну, давай, переговоримъ, если такъ нужно. А лучше бы спать“. Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей собственной лжи. Какъ просты, естественны были ея слова и какъ похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одѣтой въ непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. „Анна, я долженъ предостеречь тебя“, сказалъ онъ. — „Предостеречь?“ сказала она. „Въ чемъ?“ Она смотрѣла такъ просто, такъ весело, что кто не зналъ ея, какъ зналъ мужъ, не могъ бы замѣтить ничего неестественнаго ни въ звукахъ ни въ мысли ея словъ. Но для него, знавшаго ее, знавшаго, что, когда онъ ложился пятью минутами позже, она замѣчала и спрашивала о причинѣ, для него, знавшаго, что всѣя свои радости, веселье, горе—она тотчасъ сообщала ему, для него теперь видѣть, что она не хотѣла замѣчать его состоянія, что не хотѣла ни слова сказать о себѣ—значало многое. Онъ видѣлъ, что та глубина ея души, всегда прежде открытая передъ нимъ, была закрыта отъ него. Мало того, по тону ея онъ видѣлъ, что она и не смущалась этимъ, а прямо какъ бы говорила ему: да, закрыта, и это такъ должно быть и будетъ впередъ. Теперь

онъ испытывалъ чувство, подобное тому, какое испытывалъ бы человекъ, возвратившійся домой и находящій домъ свой закрытымъ. „Но, можетъ быть, ключъ еще найдется, думалъ Алексѣй Александровичъ...“ Онъ предостерегаетъ ее въ томъ, что, по легкомыслию, она можетъ подать поводъ говорить о себѣ, что ея tête-à-tête съ Вронскимъ обратилъ на себя общее вниманіе. „Онъ говорилъ и смотрѣлъ на ея смѣющіеся, страшные теперь для него своею провинцальностью глаза и, говоря, чувствовалъ всю безполезность и праздность своихъ словъ. — „Ты всегда такъ“, отвѣчала она, какъ будто совершенно не понимая его, и изъ всего того, что онъ сказалъ, умышленно понимая только послѣднее. — „То тебѣ непріятно, что я скучна, то тебѣ непріятно, что я весела. Миѣ не скучно было. Отъ тебя оскорбленъ? Алексѣй Александровичъ вздрогнулъ и загнулъ руки, чтобы трещать ими (его привычка). — „Ахъ, пожалуйста, не трещи, я такъ не люблю“, сказала она. — „Анна, ты ли это?“ сказалъ Алексѣй Александровичъ, тихо сдѣлавъ усиліе надъ собою и удержавъ движеніе рукъ“. — „Да что жь это такое? сказала она съ такимъ искреннимъ и комическимъ удивленіемъ. „Что тебѣ отъ меня надо?“ Алексѣй Александровичъ помолчалъ и потеръ рукою лобъ и глаза. Онъ увидѣлъ, что, вмѣсто того, что онъ хотѣлъ сдѣлать, то есть предостеречь свою жену отъ ошибки въ глазахъ свѣта, онъ волновался невольно о томъ, что касалось ея совѣсти, и боролся съ воображаемою имъ какою-то стѣной...“

Онъ говоритъ ей тихимъ, спокойнымъ и грустнымъ тономъ, говоритъ, что считаетъ ревность чувствомъ оскорбительнымъ и унижительнымъ, и никогда не позволяетъ себѣ руководствоваться этимъ чувствомъ; но, что не могъ не замѣтить, что она держала себя не совѣтъ такъ, какъ можно было желать. Анна рѣшительно ничего не понимаетъ и почему-то думаетъ: „Ему все равно; но въ обществѣ замѣтили, и это тревожить его“. Она замѣчаетъ ему, что онъ, вѣрно, нездоровъ, и хочетъ удалиться. Онъ останавливаетъ ее движеніемъ. „Ну-съ, слушаю, что будетъ“, про-

говорила она спокойно и насмѣшливо. Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному, вѣрному тону, которымъ она говорила, и выбору словъ, который она употребляла... Мужъ продолжаетъ все также спокойно. Онъ говоритъ ей, между прочимъ, что жизнь ихъ связана и связана не людьми, а Богомъ, что разорвать эту связь можетъ только преступленіе. „Ничего не понимаю. Ахъ, Боже мой, и какъ мнѣ на бѣду спать хочется!“ сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшіяся ленточки. „Анна, ради Бога не говори такъ“, сказалъ онъ кротко. — Можетъ быть, я ошибаюсь, но повѣрь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, какъ и за тебя. И мужъ твой и люблю тебя.“ Голосъ его дрогнулъ. На мгновеніе лицо ея опустилось и потухла насмѣшливая искра во взглядѣ; но слово „люблю“ опять возмутило ее... Возмущаясь этимъ словомъ и заставляя себя говорить себѣ внутренне, что онъ любви не понимаетъ, не любитъ ее, она, очевидно, хочетъ ухватиться за послѣднюю соломинку оправданія, но не можетъ не сознавать она, что это совсѣмъ никуда негодная соломинка. Она говоритъ ему, что не понимаетъ, ничего не понимаетъ...

„Позволь, дай договорить мнѣ (продолжалъ онъ). Я люблю тебя. Но я говорю не о себѣ, главные лица тутъ нашъ сынъ и ты сама. Очень можетъ быть, повторяю, тебѣ покажутся совершенно напрасными и неумѣстными мои слова; можетъ быть, они вызваны моимъ заблужденіемъ. Въ такомъ случаѣ я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малѣйшія основанія, то я тебя прошу подумать, и если сердце тебѣ говорить, высказать мнѣ...“ Алексѣй Александровичъ, самъ того не замѣчая, говорилъ совершенно не то, что приготовилъ. „Мнѣ нечего говорить. Да и... вдругъ быстро сказала она, съ трудомъ удерживая улыбку, — право пора спать.“

Объясненіе было кончено. Анна была очень рада — ей свободно можно было думать о Вронскомъ, а подумавъ о мужѣ, она прошептала съ улыбкой: „поздно, поздно, ужъ поздно“. Это замѣчательная и глубоко художественная,

драматическая сцена; это сцена, духъ захватывающая по глубинѣ, правдѣ и чувству. Но какой жалкой и пошлой, дрянной женщиной глядитъ изъ нея Анна. Поэтому-то еще страннѣе кажется слѣдующая сцена, въ которой авторъ желаетъ опоэтизировать паденіе той же Анны. Въ Х главѣ второй части, послѣ двухъ рядовъ узаконенныхъ и принятыхъ въ литературномъ обществѣ точекъ, оба они, т. е. Анна и Вронскій, смущены страшно. Онъ стоитъ надъ нею и умоляетъ ее успокоиться.

„Анна! Анна!“ говорилъ онъ дрожащимъ голосомъ. „Анна, ради Бога!..“ Но чѣмъ громче онъ говорилъ, тѣмъ ниже опускала она свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала съ дивана (не черезчуръ ли ужъ это?), на которомъ сидѣла, на полъ къ его ногамъ; она упала бы на коверъ, еслибъ онъ не удержалъ ее. „Прости меня“, всхлиывая говорила она. Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощенья, а въ жизни теперь, кромѣ его, у ней никого не было... Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этой страшной цѣной стыда. Стыдъ передъ духовною наготою своею давилъ ее и сообщался ему... Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцѣлуи—то, что куплено этимъ стыдомъ. Да, и эта одна рука, которая будетъ всегда моею, рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцѣловала ее... „Все кончено“, сказала она, „у меня ничего нѣтъ, кромѣ тебя. Помни это.“ — „Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...“ — „Какое счастье!“ съ отвращеніемъ и ужасомъ сказала она, и ужасъ невольно сообщился ему. — „Ради Бога, ни слова, ни слова больше“. Она быстро встала, и лицо ея приняло строгое выраженіе затаеннаго горя. „Ни слова больше“, повторила она, и съ тѣмъ же страннымъ, непроницаемымъ для него выраженіемъ лица, она разсталась съ нимъ. Она чувствовала, что въ эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса передъ этимъ вступленіемъ въ по-

вую жизнь, и не хотѣла говорить объ этомъ, опошлять это чувство неточными словами."

Разумѣется, всѣ Анны Каренины будутъ очень благодарны автору за эту красивую сцену; но мы осмѣливаемся быть недовольными ею. Она могла бы быть вѣрной психологически, еслибъ на мѣстѣ Анны была молоденькая, увлекавшаяся дѣвушка, женщина, наконецъ; но, во всякомъ случаѣ, не такая женщина, какою мы видѣли Анну Каренину въ ея объясненіи съ мужемъ. По нашему мнѣнію, врядъ ли такая Анна Каренина стала бы „стигаться и падать на полъ съ дивана," „находить ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этою странною цѣною стыда," чувствовать себя „раздавленною стыдомъ," и т. д. Да и самъ авторъ долженъ былъ упомянуть о „чувствѣ радости," о томъ чувствѣ, „которое она не хотѣла *опошлять* словами." Да и самъ авторъ рассказалъ ея сны, которые видѣлись ей каждую ночь. Ей грезилось, будто оба вмѣстѣ были ея мужья, оба расточали ей свои ласки. Алексѣй Александровичъ плакалъ, цѣлуя ея руки, и говорилъ: какъ хорошо теперь, и Вронскій былъ тутъ же, и онъ былъ также ея мужъ. И она будто удивлялась тому, что прежде ей казалось это невозможнымъ, объясняла имъ, смѣясь, что это гораздо проще, и что они оба теперь довольны и счастливы." Вотъ такъ-то лучше, и сны эти — прелесть! Настоящіе сны Анны Карениной.

Мы не ожидали, что придется указывать на страницы романа графа Л. Толстого—не для одного восторга и восхваленія ихъ. Мы не думали, что чтеніе его романа доставитъ намъ не одно только наслажденіе. Но все же наслажденія слишкомъ достаточно, и „Анна Каренина" остается до сихъ поръ замѣчательнымъ и высокоталантливымъ произведеніемъ.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей" 1875 г.

Статья *Sine Ica* (В. С. Соловьева).

\*  
\* \* \*

\*) Въ февральской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ помещено продолженіе „Анны Карениной“, романа графа Л. Н. Толстого. Это продолженіе производитъ впечатлѣніе менѣе обаятельное, чѣмъ начало: оно, если можно такъ выразиться, блѣднѣе, хотя и очень интересно. Романъ все еще вертится въ кругѣ свѣтскаго общества, которое само по себѣ представляетъ мало интереса для художника. Левинъ, послѣ того, какъ Кити отказалась отъ его руки и сердца, въ отчаяніи уѣзжаетъ въ деревню. Анна Каренина уѣзжаетъ въ Петербургъ къ мужу; за нею отправляется туда же и влюбленный графъ Вронскій. Мало-по-малу они сближаются. „То, что почти цѣлый годъ для Вронскаго составляло исключительно одно желаніе его жизни, замѣнивъшее ему всѣ прежнія желанія: то, что для Анны было невозможно, ужасною и тѣмъ болѣе обворожительною мечтою счастья—это желаніе было удовлетворено“. На этомъ оканчивается десятая глава второй части—все, что напечатано. Въ общей сложности, въ двухъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ появились до десяти печатныхъ листовъ, а между тѣмъ, двѣ главныя фигуры романа: графъ Вронскій и Анна Каренина—совершенно не выяснены, и еще неизвѣстно, что собственно онѣ должны собою представлять. Такое вялое развитіе дѣйствія и характеровъ не представляетъ ли ошибки, вредящей интересу романа? Впрочемъ, и то сказать, дѣйствіе романа происходитъ въ великосвѣтскомъ обществѣ, дѣйствующія лица—свѣтскіе люди, а эти люди и это общество едва ли могутъ служить предметомъ круіной драмы, даже въ смыслѣ личныхъ интересовъ. Графъ Л. Н. Толстой художникъ талантливый, а, по характеру своего таланта, реалистъ; онъ не надѣляется самостоятельностью мысли и чувства такихъ людей, которые, по воспитанію и общественному положенію, не могутъ имѣть ни того ни другого. Онъ не принадлежитъ къ нашимъ

\*) „Голосъ“ 1875 г., № 72. „Очерки литературы“. (Продолженіе „Анны Карениной“. Свѣтское общество и отношенія къ нему графа Л. Н. Толстого.—Вечеръ послѣ трагедіи. Статя X. Y. Z. (В. В. Чуйко).

великосвѣтскимъ беллетристамъ, которые надѣляютъ куколъ своего воображенія съ титулами графовъ и князей небываемыми добродѣтелями и, по примѣру нѣкоторыхъ французскихъ романистовъ, маскируютъ скуку и безсодержательность этого общества выдуманною драмой...

Графъ .Л. Н. Толстой — крайній реалистъ, въ самомъ широкомъ и точномъ значеніи этого слова, и оттого-то идеализация въ ту или другую сторону не встрѣчается въ его произведеніяхъ: онъ врагъ всего напускного, всего искусственнаго, всякой фальши, и, поэтому, хотя картины, представляемыя имъ, и не составляютъ простой фотографіи, но зато рисуютъ жизнь во всей ея суровой, а иногда и горькой правдѣ, безъ всякой задней мысли украсить одно явленіе въ ущербъ другому, или представить въ невыгодномъ свѣтѣ фактъ, который лично, можетъ быть, ему и не нравится. Эта черта особенно ярко проглядываетъ въ „Войнѣ и Мирѣ“, гдѣ графъ .Л. Н. Толстой поставилъ себѣ задачей уяснить политѣйшую непригодность высшихъ классовъ общества помочь великому народному бѣдствію 1812 года. Вообще, графъ .Л. Н. Толстой особенно любитъ снимать съ людей и явленій все эффектное, все картинно-величавое, и чаще всего изучаетъ людей и жизнь съ ироническою улыбкой. Такая иронія проглядываетъ въ „Войнѣ и Мирѣ“; такую же безпощадную и ѣдкую иронію можно видѣть и въ „Аниѣ Карениной“, по отношенію къ тому-же высшему обществу, которое, кажется, составляетъ главный предметъ романа. Вотъ, на примѣръ, какую характеристику свѣтской жизни рисуетъ романистъ въ новыхъ главахъ „Анны Карениной“... (Идетъ выписка, начинающаяся словами: „Эта свѣтская жизнь, казавшаяся Аниѣ, прежде чѣмъ она вступила въ нее, такимъ страшнымъ“... Конечъ ея:

„...но съ которымъ вкусомъ у него были не только сходны, но одни и тѣ-же“).

Таковъ взглядъ графа .Л. Н. Толстого на наше свѣтское общество, которое онъ знаетъ, конечно, не по паслышкѣ и не изъ лакейской, какъ большинство нашихъ великосвѣтскихъ беллетристовъ. Онъ долго изучалъ его и наблю-

далъ, и пришелъ къ тому отрицательному выводу, который проскальзываетъ на каждой страницѣ „Войны и Мира“ и который такъ рѣзко и откровенно выраженъ въ „Аннѣ Карениной“. Авторъ изучаетъ это общество подробно и точно, останавливаясь на каждой мелкой чертѣ, неумолимо разоблачая всѣ непривлекательныя стороны этого общества, рисуя людей такими, какими они есть, а не такими, какими они могутъ казаться, прикрываемые блескомъ туалета и заученныхъ фразъ.

И говорилъ еще о скинскихъ тенденціяхъ нѣкоторыхъ нашихъ беллетристовъ; это скинство заключается, главнымъ образомъ, въ намѣренно-фальшивомъ искаженіи жизни ради тѣхъ или другихъ цѣлей, не имѣющихъ ничего общаго съ искусствомъ; но скинство, по существу своему, всегда злобно и жестоко относится ко всему, что ему не нравится, и всегда съ подобострастіемъ смотритъ на то, что ему выгодно, или на то, что льститъ его дикимъ поповеніямъ. Отсюда и подобострастное отношеніе литературныхъ скиновъ къ такъ называемому свѣтскому обществу, которое поражаетъ ихъ мишурой и блескомъ, свѣтскими разговорами о бракахъ, столкновеніяхъ, повышеніяхъ, перемѣщеніяхъ, заботахъ о прическѣ и платьѣ, мелкими радостями и досадами тщеславія и честолюбія... Изъ-за всей этой вышней декорации, всего этого калейдоскопа мишуры и блеска, наши скины не видятъ ни настоящей жизни ни настоящихъ людей: пораженные блескомъ и ослѣпительнымъ свѣтомъ, они, въ восторженномъ состояніи, падаютъ на колѣни и принимаютъ прославлять этотъ кумиръ—единственный кумиръ, доступный ихъ пониманію.

Вышніе идеалы, жизнь мысли и сердца, интересы умственные и общественные, принципы для нихъ не существуютъ; они въ восторгѣ поклоняются блестящему кумиру, потеряли сознаніе дѣйствительности, и перѣдко потерявъ даже общественную совѣсть. Оттого-то, для скиновъ настоящая жизнь—жизнь великосвѣтской гостиной, настоящіе люди—свѣтскія куклы, а романы ихъ—скучное изліяніе словъ и фразъ, не прикрывающихъ иногда ихъ скинской

дикости. Но графъ Л. Н. Толстой не снисъ и тѣмъ болѣе не великосвѣтскій беллетристъ, хотя въ своихъ произведеніяхъ онъ часто возвращается къ свѣтскому обществу; это общество онъ изучаетъ, какъ натуралистъ, безпощадно разсѣкая своимъ анатомическимъ ножомъ предметъ своего изслѣдованія, не отступая передъ выводомъ и не искажая логики. Отсюда и тенденція (въ снискомъ значеніи слова) у него не замѣчается. „Многихъ увлекаетъ волшебное слово *направленіе*—говорилъ Бѣлинскій—они не понимаютъ, что въ сферѣ искусства никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта. Самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго“.

Рисуя ту или другую картину, изучая тотъ или другой характеръ, гр. Толстой вовсе не думаетъ *прочесть какую-нибудь мысль*—онъ просто изучаетъ, какъ изучаетъ всякій натуралистъ, безъ малѣйшаго желанія похвастать своею добродѣтелью. Оттого-то его картины поражаютъ правдою дѣйствительности, и лица, создаваемые имъ—драгоценный психологическій матеріалъ. Но изъ этого не слѣдуетъ вовсе, чтобъ онъ безучастно и индифферентно относился къ предмету своего изученія: какъ истинный художникъ, онъ не можетъ быть индифферентенъ; но его личное отношеніе обнаруживается только въ тонѣ, а этотъ тонъ, въ данномъ случаѣ, тонъ ироніи, фдкой, едва замѣтной исторіи...”

(Дальше идетъ выписка, начинающаяся словами: „Разговоръ въ обоихъ центрахъ, какъ и всегда, въ первыя минуты, колебался, перебиваемый встрѣчами, привѣтствіями, предложеніемъ чая, какъ-бы отыскивая, на чемъ остановиться...“ Кончается выписка словами: „Никто недоволенъ своимъ состояніемъ, и всякій доволенъ своимъ умомъ“, ска-завъ дипломатъ французскій стихъ”).

„Въ такомъ тонѣ тянется описаніе великосвѣтскаго вечера на нѣсколькихъ страницахъ безъ малѣйшей натяжки, и, несмотря на безсодержательность темы, на пустоту этихъ личныхъ разговоровъ, на отсутствіе всякой самостоятельности въ этомъ обществѣ, рабски подражающемъ француз-

ской боптотности, интересъ все больше и больше увеличивается, а увеличивается онъ оттого, что гр. Л. Н. Толстой и тутъ, какъ и вездѣ, отыскиваетъ психическій матеріалъ для изученія, и въ тонѣ его слышится сдержанная проща посторонняго, но не безучастнаго наблюдателя. Съ этой точки зрѣнія, въ романѣ графа Л. Н. Толстого все необыкновенно интересно — описываетъ-ли онъ путешествіе по желѣзной дорогѣ, рассказываетъ ли сцену въ грязной гостиницѣ или великосвѣтскій вечеръ, изучаетъ ли съ прощательностью психолога зарождающееся и развивающееся чувство любви въ героинѣ, или же наблюдаетъ въ ея мужѣ странный психическій поворотъ отъ полнаго безучастія къ ревности. Эта послѣдняя сцена, сначала кажется парадоксомъ, но, въ сущности, при внимательномъ чтеніи, оказывается простымъ, часто встрѣчающимся явленіемъ, но до сихъ поръ мало замѣченнымъ. Алексѣй Александровичъ, мужъ Анны, ничего особеннаго и неприличнаго не нашелъ въ томъ, что жена его сидѣла съ Вронскимъ и о чемъ-то оживленно разговаривала; но онъ замѣтилъ, что другимъ въ гостиной это показалось чѣмъ-то особеннымъ и неприличнымъ, и потому это показалось неприличнымъ и ему. Онъ рѣшилъ, что нужно сказать объ этомъ женѣ. Алексѣй Александровичъ былъ не ревнивъ. Ревность, по его убѣжденію, оскорбляетъ жену, а къ женѣ должно имѣть довѣріе. Почему должно имѣть довѣріе, то есть, полную увѣренность въ томъ, что его молодая жена всегда будетъ его любить, онъ себя не спрашивалъ: онъ не испытывалъ недовѣрія, потому что имѣлъ довѣріе и говорилъ себѣ, что надо его имѣть. Тенерь-же, хотя его убѣжденіе въ томъ, что ревность есть постыдное чувство и что нужно имѣть довѣріе, и не было разрушено, онъ чувствовалъ, что стоитъ лицомъ къ лицу передъ чѣмъ-то целогичнымъ и безтолковымъ, и не зналъ, что надо дѣлать. Алексѣй Александровичъ стоялъ лицомъ къ лицу передъ жизнью, передъ возможностью любви къ женѣ къ кому-нибудь, кромѣ него, и это-то казалось ему очень безтолковымъ и непонятнымъ, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь

свою Алексѣй Александровичъ прожить и проработать въ сферахъ служебныхъ, имѣющихъ дѣло съ отраженіями жизни. И каждый разъ, когда онъ сталкивался съ самою жизнью, онъ отстранялся отъ нея. Теперь онъ испытывать чувство подобное тому, какое испытывать бы челоѣкъ, спокойно прошедшій надъ пропастью по мосту и вдругъ увидѣвшій, что этотъ мостъ разобранъ, и что тамъ пучина. Пучина эта была сама жизнь, мостъ — та искусственная жизнь, которую прожилъ Алексѣй Александровичъ. Ему въ первый разъ пришла мысль о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и онъ ужаснулся такой мысли. Онъ ходитъ по комнатамъ въ волненіи... „Да, это необходимо рѣшить и прекратить, высказать свой взглядъ на это и свое рѣшеніе“. И онъ поворачивалъ назадъ. „Но высказать что-же? какое рѣшеніе?“ говорилъ онъ себѣ въ гостиной и не находилъ отвѣта. Да, наконецъ, спрашивалъ онъ себя передъ поворотомъ въ кабинетъ, что - же случилось? Ничего. Она долго говорила съ нимъ. Ну, что - же? Мало - ли съ кѣмъ женщина въ свѣтѣ можетъ говорить! И потомъ, ревновать значить унижать себя и ее, говорилъ онъ, входя въ ея кабинетъ; но разсужденіе это, прежде имѣвшее такой вѣсъ для него, теперь ничего не значило. И онъ отъ двери въ спальную поворачивался опять къ залѣ; но какъ только онъ входилъ назадъ въ темную гостиную, ему какой-то голосъ говорилъ, что это не такъ, и что если другіе замѣтили это, то, значить, есть что-нибудь. И онъ опять говорилъ себѣ въ столовой: да, это необходимо рѣшить и прекратить и высказать свой взглядъ. И опять въ гостиной, передъ поворотомъ, онъ спрашивалъ себя: какъ рѣшить? И опять спрашивалъ себя: что случилось? И отвѣчалъ: ничего, и разсуждалъ о томъ, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять въ гостиной убѣждался, что случилось что то. Мысли его, какъ и тѣло, совершали полный кругъ, не нападавъ ни на что новое...

Онъ сталъ думать о ней, о томъ, что она думаетъ и чувствуетъ. Онъ впервые живо представилъ себѣ ея личную жизнь, ея мысли, ея желаніе, — и мысль, что у нея мо-

жеть и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему такъ страшна, что онъ посидѣвши отогнать ее. Это была пучина, куда ему страшно было заглянуть. Перенестись мыслью и чувствомъ въ другое существо было невозможно для Алексѣя Александровича. Онъ считалъ это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фразерствомъ. Вопросы о ея чувствахъ, о томъ, что дѣлалось и можетъ дѣлаться въ ея душѣ, говорилъ онъ себѣ, это не мое дѣло—это дѣло ея совѣсти, и подлежить религіи, сказалъ онъ себѣ, чувствуя облегченіе при сознаніи, что найдетъ тутъ пунктъ узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство. Алексѣй Александровичъ былъ человекъ вѣрующій, во первыхъ, потому, что религіозные вопросы никогда живо не затрагивали его, и отъ этого на него не находили сомнѣнія; во вторыхъ, и главное, потому, что религія объясняла и опредѣляла все сложныя житейскія обстоятельства, размышленіе о которыхъ было непріятно уму Алексѣя Александровича. Религія, устранивъ все эти вопросы, давала досугъ и просторъ дѣятельности въ практическихъ сферахъ. Это все, сказалъ себѣ Алексѣй Александровичъ, вопросы ея совѣсти, до которыхъ мнѣ не можетъ быть дѣла. Моя же обязанность ясно опредѣляется: какъ глава семьи я лицо, обязанное руководить ею, а потому, отчасти лично ответственное; я долженъ указать опасности, которыя вижу, предостеречь и даже употребить власть. Но все эти добрыя намѣренія и твердыя рѣшенія разлетались въ прахъ, когда пришлось ихъ на дѣлѣ осуществить. Алексѣй Александровичъ, начавъ говорить женѣ, смутался, сталъ говорить не то, что хотѣлъ, былъ взволнованъ, расчувствовался и сталъ говорить ужъ совсѣмъ неподходящее: о своей любви...“ (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Анна ради Бога, не говори такъ“, сказалъ онъ кротко. „Можетъ быть, я ошибаюсь, но, повѣрь, что то, что я говорю, я говорю столько-же за себя какъ и за тебя“... Конецъ выписки. „Но если ты сама чувствуешь, что есть хотя малѣйшія основанія, то я тебя прошу подумать, и если сердце твое говоритъ, высказать мнѣ“).

Онъ окончательно спутался и замолкъ. Отъ простаго вѣшняго факта, которому онъ не придаетъ ни малѣйшаго значенія, онъ быстро перешелъ къ мысли въ броженіи, къ чувству въ тревогѣ, и незамѣтно самый фактъ въ его умѣ измѣнилъ свою физіономію, и явился совершенно не въ томъ видѣ, въ какомъ долженъ бы отразиться въ его умѣ, еслибъ умъ его оставался спокоенъ. Душа — говоритъ Спиноза — точно дѣтя, которое передъ страшнымъ зрѣлищемъ закрываетъ руками глаза, чтобы не видѣть; но это только усиливаетъ душевное страданіе. Начавъ спокойнымъ взвѣшиваніемъ факта, Алексѣй Александровичъ кончилъ сценой, изволновавшей его, чуть не доведшей его до слезъ и, во всякомъ случаѣ, поставившей его въ нелѣпное положеніе относительно жены. Такой избытокъ художественной правды — верхъ искусства; такъ глубоко заглядывать въ тайники души человѣческой, кромѣ графа Л. Н. Толстого, умѣютъ немногіе художники, и, во всякомъ случаѣ, въ русской литературѣ нѣтъ такого другаго художника и психолога...

*Изъ „Голоса“ 1875 г. Статья X. У. З. (В. В. Чуйко).*

\* \* \*

\*) По поводу романа графа Л. Н. Толстого какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ замѣчается странное явленіе. До появленія первыхъ главъ „Анны Карениной“ всѣ ожидали романа съ величайшимъ нетерпѣніемъ, точно предвкушая то эстетическое и умственное наслажденіе, которое дастъ имъ талантъ автора „Войны и Мира“. Такимъ образомъ, возникли нѣкоторые предвзятые идеи, отъ которыхъ и до сихъ поръ большинство читающей публики не можетъ освободиться. Появленіе первыхъ главъ романа нѣсколько разочаровало. Оказалось, что основная идея не такъ широко задумана, какъ идея „Войны и Мира“: вмѣсто

„Голосъ“ 1875 г., № 105. „Очерки литературы“. Статья X. У. З.  
(В. В. Чуйко).

исторіи цілої епохи русскаго общества, „Анна Каренина“ представляеть интимную исторію нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, почти безъ всякаго отношенія къ коллективной жизни общества; но вначалѣ, все-таки, поражаютъ мастерскою пріємъ, тонко намѣченные типы, рѣзко и интересно поставленныя положенія. Вторая книжка „Русскаго Вѣстника“ принесла еще большее разочарованіе: многіе увидѣли, что типовъ то собственно нѣтъ, ви́шній интересъ довольно слабъ, и если характеры пока выдержаны, то психическая исторія этихъ характеровъ вообще слабо намѣчена и по временамъ даже противорѣчитъ сама себѣ. Потомъ, мартовская книжка московскаго журнала окончательно повергла читающую публику въ уныніе. Оказалось, что, по старой привычкѣ и по заранѣ составленному шаблону, отъ графа Л. Н. Толстого ожидалось именно того, чего онъ упорно не давалъ въ своемъ романѣ, а беллетристическая сторона до крайности не удовлетворяла, и вообще порѣшено было, что для автора „Войны и Мира“ послѣднее произведеніе крайне плохо и не представляеть даже ви́шняго интереса. Миѣ кажется, что какъ были несправедливы ожиданія до появленія романа, такъ несправедливы нападки на него и теперь, когда мы познакомились съ началомъ „Анны Карениной“. Миѣ кажется, что по отношенію къ графу Л. Н. Толстому обнаружилась крайняя неспособность эстетическаго образованія русскаго общества и что требованія этого общества сами по себѣ не выдерживаютъ даже самой снисходительной критики. Наша лепечущая критика повторяла колебанія общественнаго мнѣнія, и представляеть въ своихъ отзывахъ рядъ противорѣчій и нелѣпныхъ заключеній по отношенію къ „Аннѣ Карениной“: одни недовольны тѣмъ, что „Анна Каренина“ не „Война и Миръ“; другіе, что въ романѣ нѣтъ достаточно славянофильскихъ тенденцій; третьи, что авторъ оказался слишкомъ „почвенникъ“ и славянофилъ; четвертые, наконецъ, самые пазойдивые и, въ то-же время, самые смѣшные, просто утверждаютъ, что „Анна Каренина“ ниже всякой критики, и что въ этомъ произведеніи, кромѣ сальности и безобразія, ничего нѣтъ.

и глубокомысленно объясняют это упадкомъ самаго общества, Среди подобныхъ, очевидно, нѣтъныхъ сужденій, слышатся по временамъ обвиненія и болѣе серьезныя.

Первое изъ этихъ обвиненій касается того, что графъ А. Н. Толстой весь интересъ современнаго русскаго общества намѣренно сузилъ въ рамки, такъ-называемаго, свѣтскаго общества. Неужели въ современной Россіи нѣтъ болѣе интересныхъ жизненныхъ продуктовъ, могущихъ дать автору „Дѣтства“ и „Отрочества“ интересный и новый матеріалъ для психическихъ наблюденій? Неужели стоитъ еще заниматься этимъ свѣтскимъ обществомъ, которое было истрепано такъ-называемыми великосвѣтскими беллетристами и на которое самъ графъ А. Н. Толстой смотритъ далеко не добродушно? Великосвѣтскій франтъ, будь онъ даже такой благоправный и неглупый молодой человѣкъ, какъ графъ Вронскій, представляетъ собою сильно потасканный и поблекшій цвѣтокъ нѣкогда живого общественнаго продукта, а среда, въ которой онъ прозябаетъ, уничтожила въ немъ все оригинальныя и индивидуальныя черты характера, оставивъ только видовыя признаки известной породы. Авторъ представляетъ его благоправнымъ и неглупымъ человѣкомъ, а между тѣмъ, вотъ какъ рекомендуетъ его читателямъ:

„Полковые интересы занимали *важное* мѣсто въ жизни Вронскаго и потому, что онъ любилъ полкъ, и еще болѣе потому, что его любили въ полку. Въ полку не только любили Вронскаго, но его *уважали и гордились имъ*, гордились тѣмъ, что этотъ человѣкъ огромно богатый, съ прекраснымъ образованіемъ и способностями, съ открытою дорогою ко всякаго рода успѣху и честолюбію и тщеславію, пренебрегалъ этимъ всемъ и *изъ всего жизненнаго интереса ближе всего принималъ къ сердцу* интересы полка и товарищества. Вронскій сознавалъ этотъ взглядъ на себя товарищей, и, сверхъ того, что любилъ эту жизнь, чувствовалъ себя обязаннымъ поддерживать установившійся на него взглядъ“.

Согласитесь, этого слишкомъ мало, особенно для моло-

дого человека съ прекраснымъ образованіемъ и способностями. Прекрасное образованіе, по необходимости, должно было-бы открыть Вронскому болѣе широкіе идеалы и жизненные интересы, его способности должны были бы открыть ему болѣе широкое поле для дѣятельности. А между тѣмъ, на что пошли способности Вронскаго? Кромѣ занятій службы и свѣта, у Вронскаго было еще занятіе—лошади, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ. Если присоединить къ этому еще его любовь къ Аннѣ Карениной, то окажется, что Вронскій былъ обуреваемъ двумя страстями: но эти двѣ страсти не мѣшали одна другой, хотя онъ смотрѣлъ, какъ на одну, такъ и на другую, подъ однимъ угломъ зрѣнія; другими словами, для него любовь къ женщинѣ не представлялась чѣмъ-то различнымъ отъ любви къ лошади... Такова характеристика Вронскаго. Его великосвѣтскіе товарищи не лучше, хотя, пожалуй, и не хуже. Ипполитъ, напримѣръ, игрокъ, кутила, и не только человекъ безъ всякихъ правилъ, но съ безправственными правилами, какъ рисуетъ его графъ Л. Н. Толстой; Ипполитъ былъ въ полку лучшій пріятель Вронскаго. Вронскій любилъ его и за его необычайную физическую силу, которую онъ, большею частью, выказывалъ тѣмъ, что могъ пить, какъ бочка, не спать, и быть все такимъ же, и за большую нравственную силу, которую онъ выказывалъ къ начальникамъ и товарищамъ, вызывая къ себѣ страхъ и уваженіе, и въ игрѣ, которую онъ велъ на десятки тысячъ, и всегда, несмотря на выпитое вино, такъ тонко и твердо, что считался первымъ игрокомъ въ англійскомъ клубѣ.

Таковъ тотъ психологическій матеріалъ, который отыскалъ авторъ въ великосвѣтскомъ обществѣ. Матеріалъ непривлекательный и далеко не интересный; но, вѣдь, графъ Л. Н. Толстой и не думалъ описывать современныхъ героевъ, и еслибъ мнѣ пришлось объяснить выборъ среды въ романѣ, то я сказалъ бы, не боясь грубо ошибиться, что авторъ выбралъ именно эту среду потому, что она и не характерна и не представляетъ никакихъ выдающихся чертъ. Не задаваясь ни исторіей общественныхъ идей, ни

исторіей правовъ современнаго общества, а ограничиваясь только специальнымъ кругомъ психическихъ наблюдений, вторъ, очевидно, выбралъ такую среду, которая по части дѣй не представляетъ ровно ничего, а по части правовъ я до такой степени взошла въ извѣстныя рамки и формы, въ такой степени въ нихъ застыла, до такой степени извѣстна, что даетъ самое лучшее поле для психическихъ наблюдений. Имѣя дѣло съ этою средой, беллетристъ не принужденъ забѣгать впередъ, уклоняться, объяснять и напѣвать ходъ общественныхъ идей, поскольку эти идеи отражаются въ этой средѣ — въ великосвѣтской средѣ никакія они никакъ не отражаются; ему не нужно рисовать правую среду, и, слѣдовательно, онъ можетъ исключительно освѣтить себя исторіи психическихъ движеній, такъ какъ даже въ Яшинѣ, даже въ Вронскомъ существуютъ нѣкоторые психическіе процессы... Я думаю, что это лучшее оправданіе графа Л. Н. Толстого, тѣмъ болѣе, что онъ 결코 не увлекается великосвѣтскимъ обществомъ и иногда, хотя очень рѣдко и какъ бы вскользь, описываетъ его такими чертами, которые могутъ вызывать на лицѣ только раскату стыда...

Въ романѣ, значить, все дѣло сводится на психическій анализъ. При этомъ является другое обвиненіе, еще болѣе серьезное. Многіе видятъ непослѣдовательность и нелогичность въ поступкахъ деревенскаго жителя Левина. Человѣкъ, очевидно, страстный и глубоко искренній, Левинъ влюбляется въ Кити. Онъ совершенно поглощенъ своею любовью и, пріѣхавъ въ Москву съ рѣшимостью, которая ему такъ много стоила, предлагаетъ Кити свою руку и сердце: онъ въ волненіи, не находитъ себѣ мѣста, и пылая болтовня Облонскаго производитъ на него впечатлѣніе ѣзикаго и непріятнаго диссонанса. Но вотъ Кити ему отказываетъ, онъ узнаетъ, что она увлечена Вронскимъ. Въ отчаяніи, онъ немедленно уѣзжаетъ въ деревню и начинаетъ, правда, въ уныніи строить планы будущей жизни: несмотря на свое отчаяніе, съ величайшимъ интересомъ знаетъ онъ отъ приказчика, что его корова отелилась, и

отправляется, съ страстною любовью хозяина и деревенскаго жителя, осматривать свое хозяйство, забывая на время разбитыя надежды и попорченную жизнь. Говорить въ Левинѣ чего-то недостаетъ и, изъ-за излишней оригинальности авторъ сдѣлать изъ него неживого человѣка. Мнѣ кажется, Левинъ—необыкновенно живой человѣкъ; въ немъ не только что недостаетъ чего-то, но, напротивъ, есть кое-что лишнее, именно великорусская лимфа, золотушная страстность, отсутствіе порыва и первности. Этою чертою опредѣляется и характеръ и поступки Левина. Русскій человѣкъ; который съ дѣтства страдалъ золотухой и въ которомъ не только сѣренькая природа и тусклое сѣренькое небо, но и все складъ общественной и исторической жизни выработали необыкновенное количество лимфы, не можетъ такъ поступать, какъ поступаетъ страстный итальянецъ или впечатлительный французъ. Итальянецъ, ни въ какомъ случаѣ не помирится бы съ такимъ исходомъ своей страсти: онъ или пуститъ бы себѣ пулю въ лобъ, какъ Иаконо Ортисъ, или же станетъ бы мстить, какъ мстил Яго; французъ, вѣроятно, вскорѣ забудетъ бы предметъ своей страсти, но въ первую минуту непременно надѣлалъ бы множество глупостей; Левинъ же, въ качествѣ русскаго, лимфатическаго человѣка, не могъ сдѣлать ни того ни другого. Благодаря лимфѣ, его душевные процессы гораздо медленнѣе и, такъ сказать, туже. Страсть тускло и мрачно бродитъ въ душѣ, порывы неблестящи, а привычки къ вѣчному умственному рефлексу (также результатъ вліянія общественной среды и лимфы) приводятъ человѣка не къ душевному взрыву, а къ болѣе или менѣе тусклому анализу, къ безплодному мысленному возврату, а не къ самому процессу жизни, и къ переживанію только самаго рефлекса. Левинъ, необыкновенно мѣтко схваченный русскій человѣкъ, на которомъ виднѣсь чрезвычайно ясно весь сложный процессъ вліянія климата и общественнаго организма, климата, который подавляетъ первную страстность нѣжнаго человѣка, живущаго подъ яснымъ небомъ и жаркимъ солнцемъ, и общественнаго организма, который не даетъ возможности развиваться инстинктамъ

общественности, и который, при отсутствіи всякой живой дѣятельности, въ зародышѣ губитъ множество способностей, и можетъ развивать только одну черту: бесплодное, теоретическое резонерство, легшее тусклымъ пятномъ на душу русскаго человека.

Правда, „Анна Каренина“ не даетъ исторіи общественныхъ идей, но за-то она даетъ гораздо больше: она даетъ ракурсы, необыкновенно ярко, необыкновенно талантливо и глубоко то, что даютъ величайшіе европейскіе писатели — этнографическую и душевную исторію русскаго человека, не въ качествѣ индивидуальнаго характера, не въ качествѣ случайнаго типа, возникающаго въ дѣйствіе тѣхъ или другихъ общественныхъ условій, а въ качествѣ представителя извѣстной народности и расы. О’Коннелъ и вся школа современной европейской критики показали, что Шекспиръ дѣлать, въ сущности, то же самое, и что въ этомъ заключается существенная его заслуга и доказательство его необыкновеннаго гения. Для осуществленія той же задачи, графу Л. Н. Толстому, конечно, неужно было только гения — результаты науки облегчили ему эту задачу, но, тѣмъ не менѣе, она, во времена Шекспира, была только случайнымъ проблескомъ гения, между тѣмъ, какъ въ наше время всѣ силы науки и искусства устремлены на разрѣшеніе этой задачи, и вотъ почему въ „Аннѣ Карениной“ графъ Л. Н. Толстой является болѣе современнымъ беллетристомъ, чѣмъ многіе изъ тѣхъ, которые рисуютъ современныхъ героевъ, сѣются дать исторію общественныхъ идей, заняты проповѣдываніемъ необыкновенной гуманности или необыкновенно передовыхъ направленій, и забываютъ, что прежде направленія и прежде идей, существуетъ самая жизнь — въ данномъ случаѣ русская жизнь, съ ея сѣренькимъ небомъ, сѣренькими идеями и еще болѣе сѣренькими душевными процессами.

Поклонники молодой беллетристики недовольны графомъ Л. Н. Толстымъ за это, будто бы парадоксы, въ дѣйствіе которыхъ Анна Каренина — какое-то непонятное нравственное чудовище. Она умная и хорошая женщина, она стра-

стно любить своего сына, весьма добродушно относится къ своему мужу и, между тѣмъ, влюбившись въ Вронскаго, отдается ему послѣ нѣсколькихъ колебаній, безъ всякихъ душевныхъ страданій, безъ малѣйшихъ мученій, и только послѣ такъ-называемаго паденія какъ будто приходитъ въ себя и начинаетъ замѣчать неизбежность послѣдствій своего поступка. На этомъ основаніи, графъ Л. Н. Толстой обвиняется въ психологическомъ парадоксѣ и даже въ небрежности по отношенію къ главному лицу своего произведенія. Конечно, большинство русскихъ современныхъ романо́въ оправдываетъ такое обвиненіе: въ нихъ, какъ извѣстно, преобладаетъ такъ называемый психологическій анализъ; авторъ тщательно и подробно описываетъ все процессы душевныхъ тревогъ, мученія и угрызения совѣсти, отмѣчаетъ все отбѣйки чувства, все сомнѣнія. Это сдѣлалось даже рутиннымъ приѣмомъ, который, ничего не объясняя, въ то же время наполняетъ десятки страницъ, какъ, напримѣръ, въ послѣднемъ романѣ г. Данилевскаго „Девятый валъ“. Конечно, графъ Л. Н. Толстой не отвѣчаетъ этому рутинному идеалу нашихъ современныхъ беллетристовъ, и на „Аннѣ Карениной“ показываетъ, что, не прибѣгая къ наглошнымъ описаніямъ душевныхъ процессовъ, можно, тѣмъ не менѣе, написать великолѣпную страницу изъ исторіи человѣческой души. Оставляя въ сторонѣ утомительное и въ сущности, нелѣпное описаніе псевдо-психическихъ процессовъ, онъ на фактъ самой жизни схватываетъ душевную жизнь человѣка, онъ не рассказываетъ, что Анна такъ-то и такъ-то мучилась, ей приходили въ голову такіа-то мысли—онъ только рассказываетъ, какъ Анна поступала, и это совершенно достаточно, чтобъ вполне ее объяснить. И тутъ обнаруживается одна изъ особенностей взгляда графа Л. Н. Толстого, какъ психолога: онъ полагаетъ, что душевные процессы человѣка, по большей части, безсознательны, и что, въ большинствѣ случаевъ, нами управляютъ не столько идеи, сколько слова; самый фактъ не представляетъ очень часто ничего необыкновеннаго, ничего поразительнаго: но когда этому факту дается извѣстное условное названіе, подѣ

которымъ скрывается извѣстное условное понятіе — самый фактъ немедленно преобразается въ сознаніи и представляется во всей его поразительной наготѣ. Ничто подобное авторъ подмѣчаетъ и въ Аннѣ. Самый фактъ любви ея къ Вронскому, хотя эта любовь поражала въ корнѣ счастіе ея мужа и сына, разрушала ея собственную семью, разрывала счастіе Кити, не казался ей ни негоднымъ ни безирравственнымъ; напротивъ, все это казалось ей естественнымъ, простымъ, она отдавалась своему чувству безотчетно, подчиняясь порывамъ своей натуры. Но какъ только *incident* совершилось, когда грубый фактъ во всей своей рѣзкости и логичности явился передъ ея глазами, она увидѣла значеніе этого факта въ ея жизни и въ жизни ее окружающихъ; она дала факту имя, которое объяснило ей все значеніе факта. Это необыкновенно вѣрно: слова — это, такъ сказать, вмѣстители идей, гдѣ медленно и незамѣтно накладываются наши впечатлѣнія и сужденія: слова какъ-бы математическія формулы, по большей части и въ ровномъ ходу обыденной жизни не представляющія никакого опредѣленнаго значенія, но заключающія въ себѣ весь результатъ нашего опыта и нашихъ сужденій.

Именно въ характеръ Анны Карениной графъ Л. Н. Толстой обнаружилъ необыкновенный талантъ тонкаго и живого наблюденія. Психологическій законъ, такъ ловко подмѣченный авторомъ, находитъ свое приложеніе преимущественно въ той средѣ, къ которой принадлежитъ Анна по происхожденію, воспитанію и привычкамъ. Въ этой средѣ, болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было, люди руководствуются словами, резюмирующими понятія, составляющими непреложный кодексъ морали. Самая фраза этой среды заключена въ извѣстныя законченныя рамки и, такимъ образомъ, выработаны правила для всѣхъ подробностей жизни. Самый поступокъ Анны Карениной въ этой средѣ — дѣло до такой степени обычное, что самъ по себѣ не представляетъ ничего безирравственного и выдающагося изъ обычной колесни: оттого-то Анна и подчинилась чувству новой любви съ такой легкостью, съ такимъ отсутствіемъ борьбы. Ей каза-

лось, что, при соблюденіи нѣкоторыхъ вѣншихъ приличій, ея новое чувство, столь-же въ порядкѣ вещей, какъ и ея старая привычка къ мужу; это ей казалось тѣмъ болѣе, что въ этой средѣ подобное усложненіе чувства и страсти не приводитъ ни къ какимъ усложненіямъ въ жизни, такъ какъ, въ сущности, тамъ не бываетъ ни нескрепнаго увлеченія ни глубокой страсти, а бываетъ только извѣстная привычка и капризъ, оправдываемые кодексомъ этого общества... На бѣду, Анна Каренина оказалась не вполнѣ свѣтскою женщиной; страсть и увлеченіе оказались глубже, а когда она очутилась лицомъ къ лицу съ грубымъ фактомъ жизни, когда этимъ фактомъ жизни было поставлено на карту все ея прошлое, ея личное душевное спокойствіе, то въ ней вспыхнула та самая вульгарная борьба раздвоенной и испорченной жизни, которую испытываютъ всѣ простые смертные, не принадлежащіе къ великосвѣтскому обществу и, слѣдовательно, не имѣющіе ни малѣйшаго понятія о его нравственномъ кодексѣ...

Пора, наконецъ, понять, что графъ А. Н. Толстой—художникъ, не идущій по рутинной дорожкѣ, а идущій въ искусствѣ новыхъ путей и новыхъ точекъ зрѣнія. Онъ не рутинный копистъ, пользующійся готовыми приѣмами и принимающій на вѣру извѣстные готовые выводы. Онъ, въ преимуществу, живой наблюдатель, вводящій въ свои почти научныя изслѣдованія особенности своей натуры и складъ своего ума. Реалистъ по натурѣ и фаталистъ по общему міросозерцанію, онъ подъ этимъ двойнымъ угломъ зрѣнія смотритъ на психическій механизмъ человѣка. Какъ бы ни были велики его ошибки, какъ бы ни были страшны ея кажущіеся парадоксы, эти парадоксы и эти ошибки его гораздо цѣннѣе и важнѣе ходячей и признанной истины и рутины большинства нашихъ беллетристовъ. Во время эпохи въ разгаръ нашего доморощенного романтизма, насъ угощали то необыкновенными героями и необыкновенными событіями, то сантиментальными тирадами на счетъ добродѣтели и платонистическими мечтаніями о чемъ-то общественномъ; теперь же, при той-же фальшивой дѣтской точкѣ

зрѣнія, насъ угощаютъ тою же мѣщанскою моралью въ видѣ хорошихъ людей, которые противопоставляются людямъ нехорошимъ, и различными общественно-гуманистическими теоріями, которыя олицетворяются въ благородныя души, готовые пострадать если не за человечество, то, по крайней мѣрѣ, за Россію. Споры нѣтъ, намѣренія прекрасны, какъ были прекрасны намѣренія и во время оно, но нельзя не согласиться, что, при абсолютной фальши самой точки зрѣнія, эта рутинная дорожка не можетъ дать ничего, кромѣ хорошихъ жалкихъ словъ. Все это необыкновенно наивно и показываетъ дѣтское состояніе литературы. Извѣстно, что всѣ дѣти, ярые моралисты, какъ и вообще мало развитые люди. Субъективная точка зрѣнія—самая элементарная и простая форма умственного прогресса. Объективизмъ — дѣло трудное и сложное, требующее не только большого развитія, но и значительной умственной работы: вотъ почему не только отдѣльные лица, но и цѣлые народы неизбежно проходятъ предварительно метафизическій фазисъ, т. е. субъективизмъ прежде, чѣмъ остановятся на фазисѣ позитивномъ, т. е. на объективизмѣ, указывающемъ на умственную зрѣлость. Наши художники, поэты, беллетристы чувствуютъ неудержимое стремленіе поучать насъ, олицетворяя великія добродѣтели и хорошія чувства въ образѣ не менѣе великихъ и хорошихъ людей, и даже Гоголь, подъ конецъ жизни, ощутилъ эту потребность поучать своихъ современниковъ, но Гоголь, по крайней мѣрѣ, былъ оригиналенъ въ своихъ поученіяхъ, а наши современные проповѣдники—изъ рукъ вонъ плохи. Русская литература, русское искусство такъ же, какъ и русская жизнь, находится въ метафизическомъ фазисѣ своего развитія, и потому еще не сознали той простой истины, что искусство, какъ и наука, не проповѣдь, а изслѣдованіе, и что какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ требуются не правила, не поученія, а только изслѣдованія фактовъ; но изслѣдовать фактъ гораздо труднѣе, чѣмъ резонерствовать по его поводу.

Графъ Л. Н. Толстой — европейскій художникъ, и вотъ почему онъ менѣе всего моралистъ, а его „Анна Каренина“ многимъ не по вкусу. Въмѣсто того, чтобъ поучать, негодовать, умиляться, графъ Л. Н. Толстой только рассказываетъ, а для тѣхъ, которые привыкли къ уместной лѣни, очевидно, простой неестественный разсказъ автора „Войны и Мира“ не представляетъ никакого интереса, и въ довершеніе ужаса, въ его разсказѣ нѣтъ морали! Вотъ почему, по отзыву многихъ, „Анна Каренина“ нигда не годится. Возьмемъ, хоть, напримѣръ, того же Вронскаго: неизвѣстно, что онъ такое — хорошій онъ человѣкъ или дурной, слѣдуетъ ли намъ умиляться или негодовать на него, уменъ онъ или глупъ, неизвѣстно, прогрессистъ онъ или ретроградъ. Просто, чортъ знаетъ, что такое! Тоже и Анна Каренина: то какъ будто она умная женщина, а между тѣмъ, страстно увлеклась какимъ-нибудь Вронскимъ, да и къ тому же какіе-такіе ея умственные интересы? Читаетъ она умныя книжки? Нѣтъ. Занимается ли она, по крайнему мѣрѣ, петербургскою филантропіей? Нѣтъ. Интересуется она Макъ-Магономъ? Тоже нѣтъ. Весь ея умственный интересъ — ея личная, узкая жизнь; ея страсть къ Вронскому, ея любовь къ сыну. Что же хотѣлъ авторъ сказать ея? Дастъ-ли онъ намъ ее въ видѣ образца, или въ лицѣ ея негодуешь на русскихъ женщинъ? Ничего не поймешь, и опять-таки, чортъ знаетъ, что такое! И глубокомысленный читатель заключаетъ, что гораздо интереснѣе и поучительнѣе другіе русскіе беллетристы, которые по крайности разжуютъ и положить въ ротъ, правда, глупость какую-нибудь, но глупость, болѣе понятную глубокомысленному читателю, въ родѣ повѣсти, напримѣръ, г. Студли: „Два раза замужемъ“, помѣщенную въ апрѣльской книжкѣ „Вѣстника Европы“.

*Изъ „Голоса“ 1875 г. Статья X. V. Z. (В. В. Чуйко).*

\* \* \*

\*) Когда вы читаете новое произведение талантливого и любимого вами автора, и съ каждой страницей все несомнѣннѣе и несомнѣннѣе убѣждаетесь, что прежняго таланта нѣтъ и въ поминѣ вамъ, конечно, становится грустно; но грусть эта какъ-то ослабѣваетъ и испаряется съ той минуты, какъ вы рѣшаетесь громко замѣтить, что авторъ „исписался“. Онъ „исписался“, его дѣятельность окончена и отошла въ прошлое; Вы знаете и помните его полнымъ жизни и силы, и глядите на новыя, жалкія его творенія какъ на что-то совсѣмъ постороннее, не имѣющее съ нимъ ничего общаго. Но странное является впечатлѣніе, если съ читаемыхъ страницъ на васъ дышитъ, по временамъ, свѣжей, не износившейся силой прежняго таланта, а между тѣмъ, въ то же самое время, вы чувствуете, что что-то непонятное случилось съ этой силой, что она почему-то лишена своего былого обаянія.

Подобное странное впечатлѣніе оставляютъ новыя главы „Анны Карениной“, напечатанныя въ мартовской книгѣ „Русскаго Вѣстника“. Вы видите мастерскую кисть истиннаго художника, вы видите здѣсь и тамъ вѣрныя краски и тонкія оттѣнки. Остановитесь на подробностяхъ — и онѣ окажутся безукоризненны; но взгляните въ то, что составлено изъ этихъ подробностей, взгляните въ цѣлую картину — и вы невольно скажете, что не стоило писать ее такъ горячо, съ такою любовью.

Разумѣется, всякое проявленіе жизни достойно вниманія и воспроизведенія; но если художникъ посвящаетъ многія и многія главы исключительно человѣческой пошлости и тщетно, съ любовью отшлифовываетъ эту пошлость, если онъ рѣшительно не хочетъ создать ни одного лица, на которомъ можно бы было остановиться и отдохнуть — онъ рискуетъ тѣмъ, что его внимательные и безпристрастные читатели останутся сильно неудовлетворенными.

Понятно, что только по окончаніи романа можно будетъ

судить о задачѣ, которую поставилъ себѣ графъ М. П. Толстой, приступая къ созданію „Анны Карениной“; быть можетъ, тогда выяснится многое, что приводитъ теперь въ недоумѣніе, быть можетъ, въ слѣдующихъ же главахъ авторъ выведетъ насъ изъ печальнаго общества петербургскихъ гвардейцевъ и безукоризненно приличныхъ дамъ, заводящихъ себѣ любовниковъ: быть можетъ, мы очутимся въ другой сферѣ, менѣе фашенебельной, но болѣе живой и интересной... Надѣмся, что такъ оно и будетъ; но дѣло въ томъ, что автору слѣдовало бы поторониться.

И такъ, многое еще поправимо, о многомъ нельзя правильно судить до окончанія романа. Есть только одно, что уже неоправимо, и о чемъ можно судить и въ настоящее время — это сама Анна Каренина. Дѣло не въ характерѣ, не въ ея качествахъ и недостаткахъ, а въ томъ, что ея образъ какъ-то двоится передъ читателемъ, и являются двѣ Анны Карениныхъ — одна выходитъ изъ самаго романа, а другая изъ отношенія къ ней автора. Поэтому, когда онъ отъ себя говоритъ объ ней, то кажется, будто онъ говоритъ не о той женщинѣ, которую описываетъ.

Что за женщина Анна Каренина? До сихъ поръ она явилась въ романѣ мелькомъ и проходила красивой и таинственной тѣнью. Теперь эта тѣнь воплотилась, матеріализировалась, какъ выражаются посятители спиритическихъ сеансовъ г. Бредифа. Теперь мы встрѣчаемъ ее уже обманувшей мужа, окончательно его возненавидѣвшей и поджигавшей своего любовника, Вронскаго. Но, вмѣсто любовника, является мужъ, пріѣхавшій къ ней на дачу. Она снова видитъ его знакомыя уши.

„Вотъ некстати, неужели почевать? подумала она, и ей такъ показалось ужасно и страшно все, что могло отъ этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, съ веселымъ и сіяющимъ лицомъ, вышла къ нимъ на встрѣчу и, чувствуя въ себѣ присутствіе уже знакомаго ей духа лжи и обмана, тотчасъ же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажетъ.“

— А, какъ это мило! сказала она, подавая руку мужу, съ улыбкой здороваясь съ домашнимъ человѣкомъ, Спудинымъ.

— Ты почувешь, надѣюсь? было первое слово, которое подсказалъ ей духъ обмана: а теперь ѣдемъ вмѣстѣ...

Затѣмъ она начинаетъ спрашивать его о здоровьи, занятіяхъ, уговариваетъ отдохнуть и переѣхать къ ней.

Вотъ въ какой типъ начинаетъ выливаться Анна Каренина. Типъ не новый, очень хорошо извѣстный и, несмотря на всю художественность отдѣлки, данной ему гр. Толстымъ, очень неинтересный.

Вронскій любитъ Анну Каренину такъ, что „эта страсть наполняетъ всю его жизнь“, „это не шутка, не забава, а дѣло, на которое, какъ на одну карту, поставлено все счастье жизни“. Но его жизнь ставится еще и на другую карту—вмѣстѣ съ Анной онъ любитъ скачки и свою прелестную кобылу, такъ любить, что забываетъ и Анну, и ее мужа, и то, что Анна только что объявила ему о своей беременности.

Онъ проигрываетъ вторую карту—ломастъ неловкимъ движеніемъ спину своей лошади на скачкахъ. Вотъ прелестная маленькая сцена —трагическій конецъ лошади"... (Слѣдуетъ выписка: „Все еще не понимая того, что случилось. Вронскій тянулъ лошадь за поводъ"... —кончающаяся словами: „Воспоминаніе объ этой скачкѣ надолго осталось въ его душѣ самымъ тяжелымъ и мучительнымъ воспоминаніемъ въ его жизни").

„Этотъ рассказъ о величайшемъ несчастіи въ жизни Вронскаго съ художественной стороны безукоризненъ, какъ и все описаніе скачекъ. Но виновать ли читатель, если Вронскіе и все ихъ несчастія подъ конецъ становятся ему просто невыносимо скучны?! Это вѣрное, художественное описаніе дѣйствительности! — прекрасно и совершенно справедливо; но дѣло въ томъ, что читатель поджидаетъ отъ таланта графа Толстого описанія другой дѣйствительности, на которую полагали большую надежду первыя главы романа. Въ этихъ прекрасныхъ главахъ, въ домѣ Облонскаго, явилась дѣй-

ствительно близкая читателю жизненная правда, та правда, надъ которой остановиться и разобрать которую стоило. Въ этихъ главахъ мелькнули лица, настоятельно требующія вниманія, и въ настоящее время болѣе чѣмъ когда-либо просящіеся подъ перо талантливаго писателя... Тамъ были: братъ Левина и его любовница, едва очерченная, но уже запросившая себѣ право гражданства на вполнѣ законномъ основаніи.

Пора вернуться къ этимъ людямъ, страждущимъ и старыми недугами и недугами нашего времени, пора свести этихъ сложныхъ, мудреныхъ людей съ людьми несложными и простыми, представителемъ которыхъ является Облонскій. Когда эти разнородные люди очутятся вмѣстѣ и станутъ другъ къ другу въ какія бы то ни было отношенія — тогда изъ этихъ отношеній выйдетъ дѣйствительная, живая правда нашей современной жизни, запутанная, туманная правда, распутываніе и выясненіе которой будетъ благодарной задачей для такого сильнаго художника, какимъ мы считаемъ графа Толстого.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1875 г.

Статья *Sine Ira* (В. С. Соловьева).

\* \* \*

\*) Читателямъ не безызвѣстно, конечно, что съ начала нынѣшняго года родился романъ гр. .І. Толстого „Анна Каренина“, что съ появленіемъ первыхъ-же главъ этого романа газетные рецензенты предались анализу его нею-

\*) „Дѣло“ 1875 г., № 5. Статья Н. Никитина (Н. Ткачова), подъ заглавіемъ: „Появленіе Анны Карениной“ и похвалы оной саранчей — газетными рецензентами. — Благожелатели гг. Всеволода Соловьева и Заурянаго Читателя по поводу „Анны Карениной“. — Особенности міросозерцанія гр. Толстого. — Мнѣніе президиума критики о непосредственномъ смѣреніи. — Непосредственная мораль, проводимая гр. Толстымъ въ „Войнѣ и Мирѣ“. — Почему гр. Толстой избралъ въ новомъ романѣ великосельскую среду? — Фигуры Левина, Облонскаго, Вронскаго.

статковъ и великихъ достоинствъ съ необычайнымъ азартомъ. Постѣ выхода каждой новой книжки „Русскаго Вѣстника“, гдѣ печатается произведеніе автора „Войны и Мира“, просто хотъ въ руки не бери номеровъ газетъ, украшенныхъ журнальными обзорѣніями: такъ тебя и осыпаютъ восторгами по поводу художественныхъ прелестей „Анны Карениной“, порицаніями „Анны Карениной“, объясненіями различныхъ типовъ, „созданныхъ“ въ „Аннѣ Карениной“, отчетами о различныхъ фазисахъ любви Анны Карениной къ флигель-адъютанту Вронскому, умиленіями отъ удивительной „простоты и жизненности“ всѣхъ лицъ романа и удивительнаго „психологическаго анализа“, обстоятельными и подробными сортированіями „безукоризненно“ художественныхъ страницъ и главъ „Анны Карениной“ отъ такихъ, въ которыхъ примѣтенъ нѣкоторый изъянъ насчетъ художественности, и т. д., и т. д. Точно жадная саранча нападаютъ на „Анну Каренину“ представители современной газетной критики, различные господа *Sine ira*, Заурядные Читатели и проч., и поѣдаютъ ее, такъ-сказать, по частямъ съ безпримѣрной поспѣшностью. Разумѣется, эта поспѣшность не вызывается никакой необходимостью. Публичка, бросившаяся вначалѣ на новинку, почти сейчасъ-же значительно проохладѣла въ своемъ вниманіи къ роману, подогрѣтомъ искусственно предварительными „возвѣщеніями“ тѣхъ-же газетъ, гдѣ распеваются борцы „крохоборной“ критики: но гг. Заурядные Читатели, *Sine ira* и К<sup>о</sup> все-таки усердствуютъ, воображая, что ихъ анализы и „приговоры“ кому-то и для-чего-то нужны, что этими анализами и приговорами слѣдуетъ встрѣчать чуть-ли не каждую новую главу народившагося произведенія г. Толстого. Разувѣрить ихъ въ этомъ печальномъ заблужденіи, безъ сомнѣнія, невозможно, и вълѣдствіе этого читателю газетъ грозитъ впереди цѣлый рядъ quasi-критическихъ словозверженій объ „Аннѣ Карениной“, которыми его будутъ преслѣдовать, пока г. Толстой не закончитъ романъ, а, можетъ быть, даже еще и долго послѣ того. Пріятная перспектива, нечего сказать!

До какой степени эти quasi-критическія словоизверженія представляют „несносный, хотя невинный вздор“, читатели могут судить изъ двухъ-трехъ образчиковъ, которые я приведу сейчасъ. Едва только вышла январская книжка „Русскаго Вѣстника“, заключающая въ себѣ первыя четырнадцать главъ романа, „крохоборный рецензентъ“ „Сиб. Вѣдомостей“, г. Sine ira, поспѣшилъ объявить, что онъ прочелъ эти главы „не залпомъ“, а „довольно медленно“, что изъ нихъ, по мнѣнію его, крохоборнаго рецензента, можно выбросить развѣ только „полное, холерное тѣло“ Стенана Аркадьевича Облонскаго (одного изъ героевъ романа). Только это тѣло не понравилось критику; все остальное онъ нашелъ пренеполненнымъ художественныхъ прелестей. „Сцена пробужденія Стенана Аркадьевича послѣ ссоры съ женой, поспѣшилъ обязательно заявить крохоборный рецензентъ, хороша необыкновенно“. Сцены любви Левина къ Кити Щербацкой подобны одной сценѣ изъ романа „Война и Миръ“, которая „по изяществу, художественности и правдѣ врядъ-ли имѣетъ равную себѣ въ нашей литературѣ“. Вообще изображеніе этой любви необыкновенно: „это замѣчательный анализъ молодого, чистаго и здороваго чувства, въ которомъ нѣтъ ровно ничего кисло-сладкаго (?), банальнаго или грубо-циническаго, что уже до тошноты надоѣло на печатныхъ страницахъ. Здѣсь любовь является въ своей первобытной красотѣ, *которую* (1) ничто не въ силахъ ополнить и *которая* (2) всегда служила и будетъ служить неисчерпаемымъ источникомъ человѣческаго счастья и вдохновенія. Это не та любовь, грезамъ *которой* (3) сейчасъ же начинаютъ представляться и ножки и парижскія стереоскопическія карточки: это та любовь, *которая* (4), глядя на дорогое существо, совершенно забываетъ о ножкахъ и карточкахъ“. Сцена объясненія этой любви, не имѣющей ничего общаго съ стереоскопическими карточками, въ романѣ выходитъ „самая простая, а между тѣмъ какой глубокой анализъ глядитъ изъ этой чистой и правдивой сцены“... и т. д.

Такими и тому подобными измышленіями поспѣшилъ уго-

стить публику рецензентъ „Сиб. Вѣдомостей“, сейчасъ же по выходѣ первыхъ главъ романа гр. Толстого. Для каждаго, даже самаго снисходительнаго, читателя измышленія такого рода представляются ничѣмъ инымъ, какъ полуграмотными печатными упражненіями, которыя можно охарактеризовать щедринскимъ эпитетомъ „благоглупостей“. По негнѣ говоря, нѣтъ никакой надобности ни для публики, ни для автора романа, ни для самихъ „Сиб. Вѣдомостей“ въ торопливомъ печатаніи подобныхъ благоглупостей вѣдѣть за каждымъ отрывкомъ „Анны Карениной“, появляющагося въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Но таково теперь состояніе российской журналистики и критики, что даже въ такъ-называемыхъ „большихъ“ органахъ становятся возможными, обыкновенными критическіе упражненія и анализы, напоминающіе тѣ „опыты пера“, какіе встрѣчаются въ гимназическихъ журналахъ. Въ вышедшемъ недавно сборникѣ фельетоновъ г. Суворина объяснено, что опыты вышеприведенныхъ благоглупостей принадлежать перу г. Всеволода Соловьева, сына извѣстнаго историка г. С. Соловьева. Нельзя не пожалѣть, что почтенное имя усерднаго труженика науки его бездарная отрасль посярмляетъ столь тупыми литературными упражненіями.

Впрочемъ, на благоглупости г. Всеволода Соловьева въ „Сиб. Вѣдомостяхъ“ можно посмотрѣть сквозь пальцы: и авторъ этихъ благоглупостей, и редакторъ газеты, гдѣ печатаются онѣ, знаменитый графъ Сальясъ-Турнемиръ,—оба новички въ своемъ дѣлѣ. Но гораздо болѣе прискорбными кажутся критическія благоглупости въ такихъ органахъ, гдѣ критическій отдѣлъ редижируется признанными и опытными критиками. Возьмите, напримѣръ, „Биржевыя Вѣдомости“: тамъ критикой завѣдуетъ г. Скабичевскій, какъ то объявлялось въ прошедшемъ году. Что г. Скабичевскій не литературный школьникъ, не новичокъ въ критикѣ,—объ этомъ, я думаю, никто спорить не станетъ: онъ такъ много писалъ критическихъ статей, что даже совсѣмъ исписался, исписался до истощенія, до тла. Никто также, полагаю, не будетъ спорить, что рецензін, печатающіяся въ газетѣ г.

Полетики подъ псевдонимомъ „Зауряднаго Читателя“, прое-  
смаатриваются г. Скабичевскимъ, что воззрѣнія г. Зауряд-  
наго солидарны съ воззрѣніями присяжнаго критика „Оте-  
чественныхъ Записокъ“. Поэтому за все критическія бла-  
гоглупости г. Зауряднаго можно считать отвѣтственнымъ г.  
Скабичевского, до тѣхъ поръ, пока послѣдній не заявитъ,  
что критическій вздоръ г. Зауряднаго ничего общаго не имѣ-  
етъ съ критическимъ вздоромъ г. Скабичевского.

Принимая во вниманіе солидарность критическихъ воз-  
зрѣній г. Зауряднаго съ воззрѣніями такого опытнаго Ари-  
старха, какъ г. Скабичевскій, кажется, слѣдовало бы ду-  
мать, что рецензій перваго въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“  
должны быть чужды тѣхъ благоглупостей, какими блещутъ  
рецензій г. Всеволода Соловьева. Между тѣмъ на дѣлѣ  
выходить совершенно иначе: благоглупости въ рецензіяхъ  
„Биржевыхъ Вѣдомостей“ весьма изобильны и несколько  
не хуже благоглупостей, печатающихся въ „Сиб. Вѣдомо-  
стяхъ“. Г. Заурядный по поводу „Анны Карениной“ про-  
говаривается изумительными пошлостями и наивностями. Онъ,  
напримѣръ, завѣряетъ читателей, что не принадлежитъ къ  
числу „суровыхъ критиковъ-нуританъ“, которые требуютъ,  
„чтобы произведенія искусства были проникнуты серьезными  
гражданскими тенденціями“, которые „съ негодованіемъ от-  
носятся къ писателямъ, когда послѣдніе тратятъ свой та-  
лантъ на воспроизведеніе красоты природы, предестей жен-  
ской красоты, любви и прочихъ наслажденій жизни“. Онъ  
не понимаетъ, почему искусство должно игнорировать „цѣ-  
лую область жизни“, и сопровождаетъ свое мнѣніе о воз-  
можности и необходимости воспроизведенія въ искусствѣ  
этой области премилыми объясненіями, совершенно во вкусѣ  
г. Всеволода Соловьева. „Каждый изъ насъ, говоритъ г.  
Заурядный,—лѣтомъ снѣжить уѣхать изъ города куда-ни-  
будь на такъ-называемое „лоно природы“, каждый изъ насъ  
не откажется отъ вкуснаго гастрономическаго обѣда, каж-  
дый изъ насъ чувствуетъ себя хорошо въ присутствіи раз-  
витой, красивой и изящной женщины“. „Искусство, про-  
должаетъ г. Заурядный, — можетъ изображать наслажденіе

вкуснымъ обѣдомъ, наслажденіе „жраньемъ“, по выраженію г. Щедрина, если только занимаются имъ ради „какого-нибудь полезнаго дѣла“ или „какого-либо заявленія“, или „просто, наконецъ, сблизенія“. Если же „жранье“ происходитъ единственно ради „жранья“, тогда изволите видѣть, искусство должно его игнорировать, ибо такое жранье омерзительное, а не поучительное впечатлѣніе производить. Вотъ одно изъ новыхъ „скабичіанскихъ“ (слово, созданное на манеръ слова „гораціанскій“) правилъ новѣйшей газетной „Ars poetica“. На основаніи этого правила огромное большинство людей каждаго дня, съ часу до пяти, занимается „омерзительнымъ“ дѣломъ, ибо оно въ это время обѣдаетъ, и обѣдаетъ, за немногими исключеніями, просто для того, чтобы наѣсться, обѣдаетъ, не имѣя въ виду посторонняго полезнаго дѣла, заявленія и проч. На основаніи этого правила, для искусства возбраняется, напримѣръ, изображеніе ужина у Дюссо, даннаго какимъ-нибудь кавалеристомъ какой-нибудь кокеткѣ съ единственною цѣлью хорошенько накормить ее и панитаться самому: но если кавалеристъ пригласилъ кокетку на ужинъ съ цѣлью „сближенія“ съ нею, то искусству разрѣшается воспроизводить подобный ужинъ, ибо тутъ будетъ происходить не простое „жранье“, а „жранье“ съ идеей, жранье какое-то „одухотворенное“. Точно также искусство можетъ и должно воспроизводить, по мнѣнію новѣйшаго Буало „Биржевыхъ Вѣдомостей“, картины природы, если съ этими картинами авторъ соединяетъ какую-нибудь мысль, напримѣръ, мысль о томъ, какъ „вы въ первый разъ встрѣтились съ предметомъ вашей любви или первый разъ съ нимъ поцѣловались“: но если въ изображеніи картинъ природы такой или подобной мысли не вложено, то таковыя изображенія отвергаются настоящимъ искусствомъ, и должны признаваться „омерзительными“. Какъ на примѣръ изображеній картинъ природы съ мыслью, г. Заурядный указываетъ на подобныя картины въ прежнихъ произведеніяхъ г. Толстого: тамъ съ картинами природы „сливались въ одинъ аккордъ думы и страданія человѣка“, и „это были роковыя думы и страданія

вѣка“; а вотъ въ „Аннѣ Карениной“ картины природы безъ „роковыхъ думъ и страданій вѣка“, и потому онѣ „омерзительны“, неудобны для искусства. Точно въ такомъ же родѣ, какъ „жранье“, природа и любовныя отношенія бываютъ двухъ сортовъ: удобныя для воспроизведенія искусства и неудобныя, пріятно-поучительныя и „омерзительныя“. Искусство можетъ и должно заниматься изображеніемъ любовныхъ отношеній, и даже самыхъ пикантныхъ сценъ сладострастія, если въ этихъ сценахъ „на первомъ планѣ“ раскрываются потрясающія или трогательныя драмы, иногда и трагедіи; но если ничего „потрясающаго“ въ такихъ сценахъ не раскрывается, то искусству изображеніе подобныхъ сценъ не подлежитъ. Таковы правила новой „двойной“ эстетической теоріи, созданной критикомъ биржевого органа, вѣроятно, по образцу „двойной“ бухгалтеріи... Впрочемъ, высказывая эти правила, г. Зауридный тутъ-же, черезъ нѣсколько строкъ, самъ ихъ снѣшигъ опровергнуть, приводя въ видѣ примѣра сладострастныя сцены „на днѣ обрыва“ (въ романѣ г. Гончарова), въ которыхъ хоть и есть „драма“, а все-таки она „представляется намъ словно какою-то почною оргією кошекъ со всѣми ея взвизгиваніями и стономъ разыгравшихся похотей“... Не правда-ли, читатель, трудно повѣрить, чтобы подобная недоумная болтовня могла появляться въ печати? А между тѣмъ она не только появляется, но появляется чуть-ли не каждую недѣлю, и притомъ не въ качествѣ шутовской болтовни, а въ качествѣ серьезныхъ критическихъ замѣтокъ. И что всего удивительнѣе, самую курьезную и самую пошлую болтовню этой газетной критики имѣть особенное свойство вызывать именно пресловутое новѣйшее произведеніе графа Толстого, т. е. „Анна Каренина“. Вѣроятно, это явленіе обуславливается тѣмъ закономъ, по которому изъ ничего не выходитъ ничего, а изъ усиленнаго беллетристическаго вздора неизбѣжно вытекаетъ усиленный критическій вздоръ. И когда подумаешь, что этому усиленному критическому вздору еще долго не будетъ конца, такъ-какъ романъ гр. Толстого, вѣроятно, растянется на нѣсколько книжекъ „Русскаго Вѣстника“, а

послѣ появленія каждой книжки неизбежно появленіе газетной болтовни, то, право, невольно припоминается извѣстный стихъ: „Есть отчего въ отчаяніе придти!“...

## II.

Газетныя рецензіи на романъ гр. Толстого, вродѣ рецензій гг. В. Соловьева и Зауряднаго, конечно, до нѣкоторой степени служатъ однимъ изъ прискорбныхъ признаковъ времени; но самый этотъ романъ, по крайней мѣрѣ, вышедшій до сихъ поръ двѣ его части, представляетъ признакъ гораздо болѣе крупный и потому болѣе прискорбный. Помните, кто-то, кажется Шлессеръ, высказываетъ мысль, что господство въ литературѣ романа „всегда указываетъ на нравственный упадокъ извѣстной эпохи“. Разумѣется, эта мысль покажется дикимъ парадоксомъ, если подъ романомъ разумѣть литературное произведеніе, задача котораго заключается въ положительномъ или отрицательномъ изображеніи общественныхъ фактовъ, стремленій и типовъ, выражающихъ собою сущность жизненнаго движенія въ то или другое время. Но если романъ понимать, какъ безцѣльную, хотя и занимательную сказку, въ которой блестящая форма наполнена содержаніемъ личныхъ эстетическихъ вождѣній автора, то появленіе подобныхъ произведеній дѣйствительно служить знаменіемъ нравственнаго упадка. Романъ „Анна Каренина“, несмотря на всѣ восхваленія его, кажется, именно принадлежитъ къ числу подобныхъ произведеній, и его прославленный авторъ относится именно къ числу художниковъ, способствующихъ пониженію нравственнаго уровня въ обществѣ.

Въ нашей критикѣ и отчасти въ публикѣ о гр. Толстомъ утвердилось весьма благопріятное мнѣніе. Графъ Толстой признается однимъ изъ крупныхъ талантовъ въ русской литературѣ, едва-ли не самымъ крупнымъ послѣ Пушкина и Гоголя. Это совершенно справедливо: большой художественный талантъ автора „Анны Карениной“ никто не от-

рицаеть, и объ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго спора. Но въѣсть съ этимъ качествомъ почтенному беллетристу приписывается еще иное, подлежащее нѣкоторому сомнѣнiю, или, по крайней мѣрѣ, ограниченiю. Критики и отчасти публика обыкновенно приписываютъ гр. Толстому значенiе писателя-реалиста въ самомъ высшемъ смыслѣ. Критика и отчасти публика, не обвиняясь, полагаютъ, что реализмъ гр. Толстого такъ высокъ, что онъ сообщаетъ произведенiямъ нашего автора мiросозерцанiе, полное глубокаго пониманiя русской жизни и дѣйствительности. Основная идея этого мiросозерцанiя — по толкованiямъ критики заключается, или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ заключалась въ сочувствiи автора къ такъ-называемымъ низшимъ, народнымъ, демократическимъ элементамъ, въ которыхъ онъ видитъ „правду“ жизни, и въ отрицательномъ отношенiи къ такъ-называемымъ высшимъ элементамъ, которые ему представляются поверхностной фальшью. Не только за свой художественный талантъ, но и за это мiросозерцанiе гр. Толстой уважается критикою самыхъ разнообразныхъ отбѣнковъ, начиная отъ такихъ славянофилъ-эстетиковъ, какъ покойный Ап. Григорьевъ и здравствующий г. Страховъ, и кончая такими недомысленными quasi-реалистами повѣшняго времени, какъ г. Скабичевскiй. Такое понятiе о мiросозерцанiи гр. Толстого сложилось по-преимуществу на основанiи его первыхъ произведенiй, каковы: „Дѣтство“, „Отрочество“, „Юность“, „Утро помѣщика“, Севастопольскiе рассказы“ и проч. Дѣйствительно, во всѣхъ этихъ произведенiяхъ приводится мысль о превосходствѣ реальныхъ и простыхъ, здоровыхъ и естественныхъ личностей, стремленiй, чувствъ и отношенiй надъ такими, которыя исходятъ мизъ источниковъ эгонистическаго идеализма, которыя, несмотря на видный блескъ и видныя признаки силы, въ сущности основаны на деморализацiи личности и общества, въ сущности малосодержательны и мелки. Сочувственная рисовка героевъ, служащихъ представителями силъ народной среды, и отрицательный анализъ, если такъ можно вы-

развиться, нравственной хлыщеватости интеллигенции—вотъ содержаніе первыхъ произведеній гр. Толстого.

Къ сожалѣнію, уже и въ этихъ первыхъ произведеніяхъ усиленное превознесеніе непосредственно-простыхъ, непосредственно-смирненныхъ и правдивыхъ въ своемъ смиреніи членовъ жизни и личностей иногда видимо заводитъ автора на путь довольно односторонняго, исключительнаго и, вслѣдствіе своей исключительности, довольно узкаго и скользкаго воззрѣнія. Это было замѣчено въ свое время, еще при началѣ писательской дѣятельности гр. Толстого, и, что особенно любопытно, замѣчено критикой того направленія, послѣдніе представители котораго, при появленіи „Войны и Мира“, доходили до положительнаго идолопоклонства передъ графомъ Толстымъ именно за крайнее развитіе въ немъ тенденцій, возбуждавшихъ нѣкоторое опасеніе въ самыхъ даровитыхъ дѣятеляхъ упомянутой критики. Одинъ изъ такихъ дѣятелей, извѣстный Ан. Григорьевъ, еще въ шестьдесятъ второмъ году, когда не появлялись „Казакъ“ и „Война и Миръ“, указывалъ на односторонность анализа гр. Толстого, говоря, что этотъ анализъ дошелъ до крайней степени, что онъ обращается „въ анализъ анализа“, въ мыслительную анастію, въ безсодержательный скептицизмъ, подрывающій всякія душевныя чувства. Григорьевъ видѣлъ въ этомъ хваленomъ анализѣ ту его скользкость, которую до сихъ поръ не замѣчали другіе критики, и высказывалъ такое мнѣніе, что анализъ этотъ „неправъ“, потому что онъ „не опирается на народную почву, не придаетъ значенія блестящему *фактически* и страстному *фактически* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе“. Григорьевъ находилъ,—употребляемъ его оригинальную терминологию,—что гр. Толстой значительно погрѣшаетъ, ставя, какъ идеаль жизненной правды, въ назидательную противоположность „хищному“ типу единственно только типъ смиренія и покорности. По мнѣнію критика, русскій народъ былъ-бы „весьма не щедро одареннымъ природою народомъ, если-бы видѣлъ свои идеалы только въ однихъ смиренныхъ типахъ“. Реальность

„хищныхъ“ типовъ въ нашей жизни доказывается не только тѣмъ, что эти типы, будучи заняты нашими поэтами (Пушкинымъ, Лермонтовымъ) изъ западныхъ литературъ, облеклись въ ихъ созданіяхъ въ совершенно своеобразныя, чисто-русскія формы, но также и историческими фактами и личностями: примѣръ — личность Стеньки Разина: „котораго, говоритъ Григорьевъ, — изъ міра этическихъ сказаній народа не выживешь“. Самые качества русской непосредственной простоты, смиренности, непамятозлобія и проч. — качества, которыя гр. Толстой по-преимуществу отмѣчаетъ, въ противоположность дѣланной лжи и „приподнятости“ хищныхъ типовъ, — не особенно восхищаютъ Григорьева. Взглядъ покойнаго критика въ этомъ отношеніи несравненно шире и разумнѣе взгляда тѣхъ его послѣдователей, которые позднѣе превозносили гр. Толстого за пресловутый типъ Платона Каратаева, олицетворяющій именно упомянутыя качества. Эти хваленныя качества смиренія и непамятозлобія, замѣчаетъ не безъ злости Григорьевъ, „давно веѣми признаны, хотя безъ всякой мѣры, до пересола превознесены славянофилами, невидящими комической стороны нашего смиренія въ смиреніи Фамусова и таковой-же стороны нашего непамятозлобія въ дешевыхъ примиреніяхъ „передъ порогомъ кабака“. На этихъ однихъ, хотя и дѣйствительно прекрасныхъ качествахъ, мы-бы далеко не уѣхали. И такъ они не мало повредили намъ своимъ одностороннимъ преобладаніемъ. Тоска мы еще можемъ любоваться ихъ одностороннимъ преобладаніемъ въ мірѣ драмъ Островскаго — въ покорности домочадцевъ передъ Китомъ Кигичемъ, въ ерническомъ раболѣпініи передъ Самсономъ Силычемъ Лазаря Подхалюзина, въ дешевомъ непамятозлобіи, основанномъ на сознаніи общественной безправственности, Антипа Антипыча и того, какъ онъ „намазаль насчетъ товара“ (Явленія современной литературы, пропущенныя нашей критикой“, „Время“ 1862 г., № 9). Такъ говоритъ Григорьевъ въ критической статьѣ, посвященной специально уясненію внутренняго смысла произведеній гр. Толстого, основного міросозерцанія нашего автора; въ другихъ статьяхъ.

по поводу другихъ литературныхъ явленій, критикъ, касаясь того-же предмета, т.-е. противоположенія смиреннаго типу типу „хищному“, высказываетъ осужденія еще болѣе рѣзкія и знаменательныя. „Голосъ за простое и доброе замѣчать, напримѣръ, Григорьевъ въ одномъ мѣстѣ статьи о Лермонтовѣ („Время“ 1862, № 11, 12), — поднявшійся въ духахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго, есть, конечно, прекрасный голосъ, но заслуга его только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закись, моральное мѣщанство“; жизнь, прибавляетъ онъ въ другомъ мѣстѣ той-же статьи, „закисла-бы въ благодушествованіи героической безотвѣтности, въ томъ смиреніи, которое легко обращается у насъ изъ высокаго въ баранье“.

Эти мнѣнія Григорьева, небезынтересныя и сами по себѣ, кажутся мнѣ особенно знаменательными по отношенію къ гр. Толстому: критикъ, наиболѣе уважавшій талантъ этого писателя, прежде другихъ и громче другихъ поднявшій голосъ за большое его значеніе и указавшій, съ своей точки зрѣнія, довольно своеобразной, но нелишенной мѣткости, общій смыслъ первыхъ произведеній гр. Толстого, — этотъ самый критикъ какъ-будто угадывать въ будущемъ опасный и скользкій путь, на который впоследствии уклонилось міросозерцаніе автора „Анны Карениной“. Въ его замѣчаніи объ односторонности анализа нашего автора, въ его намекахъ о томъ, какое значеніе имѣетъ „положительная“ защита и превознесеніе непосредственной простоты, доброты и смиренія, какъ-будто слышится предчувствіе того узкаго художественнаго теоретизма, до котораго дошло міросозерцаніе гр. Толстого въ пресловутой хроникѣ „Война и Миръ“ и повѣйшей эпопее барскихъ амуровъ — „Аннѣ Карениной“.

### III.

О „Войнѣ и Мирѣ“ у насъ писали довольно много, но писали, по правдѣ сказать, все что-то смутное и касающееся больше частныхъ достоинствъ этого романа и таланта

его автора. Въ общемъ, однакожь, все, написанное о „Войнѣ и Мирѣ“, имѣетъ хвалебный характеръ. Произведеніе это признано нѣкоторыми критиками, напримѣръ, г. Страховымъ, за величайшее созданіе, не имѣющее себѣ подобнаго не только въ нашей, но и въ западныхъ литературахъ. Еще недавно въ какой-то газетѣ, кажется, въ „Виржевыхъ Вѣдомостяхъ“, мнѣ случилось встрѣтить сопричисленіе „Войны и Мира“ къ „вѣковѣчнымъ памятникамъ“ русской литературы, подобнымъ „Евгенію Онегину“ и „Мертвымъ Душамъ“. Въ этомъ „вѣковѣчномъ памятникѣ“ критика восхищалась и до сихъ поръ восхищается всѣмъ: и великолѣпно-правдивымъ будто-бы изображеніемъ общества александровскаго времени, и тонкой рисовкой женскихъ и мужскихъ характеровъ, и багательными сценами, и, наконецъ, даже пресловутымъ Платономъ Каратаевымъ, представляющимъ квинтъ-эссенцію русскаго народнаго характера. Занимаясь этими восхищеніями, критика упустила изъ виду одно, именно то, безъ чего всѣ великія достоинства литературнаго произведенія не имѣютъ ни малѣйшаго значенія: критика упустила изъ виду основную идею „Войны и Мира“. Таково ужъ видно свойство критики нашихъ дней, что она въ литературныхъ произведеніяхъ видитъ всевозможныхъ букашекъ и коровокъ, и не примѣчаетъ слона.

А между тѣмъ основная идея „Войны и Мира“, если въ нее вникнуть попристальнѣе, заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ русской литературѣ—говорю это не безъ трепета, ибо знаю, что мое мнѣніе сочтется многими за величайшую дерзость,—въ русской литературѣ едва-ли отыщется другой романъ, который былъ-бы проникнутъ такой шаткою и, скажу прямо, растлѣнною моралью, какая проводится авторомъ въ „вѣковѣчной“ эпопее. Въ послѣднее время московская критика все обвиняетъ г. Боборыкина за безправственныя идеи его романовъ: но, право, г. Боборыкинъ въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, сущій младенецъ передъ гр. Толстымъ. У г. Боборыкина не содержаніе романовъ безправственно, а развѣ только, если можно такъ выразиться, ихъ „фасонъ“, нѣсколько

каскадный и отличающийся вообще парижскимъ шикомъ: въ романахъ-же графа Толстого „фасонъ“ самый приличный, и онъ не гоняется, какъ авторъ „Солднхъ Добродѣтелей“, за виѣшною скабрзностью своихъ произведеній, замѣняя скабрзные мѣта, по выраженію г. В. Соловьева, „рядами узаконенныхъ и принятыхъ въ литературномъ обиходѣ точекъ“. Но за то тѣмъ болѣе соблазнительна внутренняя безправственность такихъ его произведеній, какъ „Война и Миръ“ и „Анна Каренина“. Если-бы наша критика была нѣсколько попроницательнѣе и посмѣлѣе, она увидала-бы очень ясно, что въ шести томахъ великой и „вѣковѣчной“ эпопеи гр. Толстой съ настойчивой развязностью старается доказать, что такъ-называемая гражданская дѣятельность, такъ-называемыя политическія стремленія, предпринимаемыя во имя принципа цивилизаціи, въ сущности представляютъ призрачный вздоръ: что ихъ проявленіе въ дѣйствительности и ихъ направленіе зависятъ вовсе не отъ успѣй отдѣльныхъ личностей, вліяющихъ на массы, а отъ случайныхъ, чисто-стихійныхъ причинъ. Исходя отъ этой мысли, гр. Толстой желаетъ вывести и дѣйствительно наглядно выводитъ въ „Войнѣ и Мирѣ“ такое заключеніе: цѣль жизни и значеніе жизни каждого человека должны заключаться не въ помянутой дѣятельности и помянутыхъ стремленіяхъ, а въ узкомъ эгоистическомъ улаженіи себя половыми отношеніями и въ ихъ вѣнцѣ—семейномъ счастіи, понимаемомъ, притомъ, въ самомъ грубомъ и почти циническомъ смыслѣ. Вотъ основная идея, проводимая очень искусно гр. Толстымъ черезъ всю „вѣковѣчную“ эпопею, такъ правящуюся нашей критикѣ, обязательно приравнивающей „Войну и Миръ“ къ „Мертвымъ Душамъ“. Ради этой идеи гр. Толстой развѣнчиваетъ такъ-называемыхъ историческихъ дѣятелей и представляетъ ихъ пошляками, ради этой идеи онъ принижаетъ личности и характеры, нравственные отношенія и чувства, проникнутые высшими стремленіями, передъ такими личностями, характерами, нравственными отношеніями и чувствами, которые руководствуются непосредственною ограниченностью,

въ которыхъ скромное „моральное мѣщанство“ — по удачному, приведенному мной выше, выраженію Ан. Григорьева — не допускаетъ развиваться инымъ стремленіямъ, кромѣ бараньей кротости и покорности. Графъ Толстой даетъ очень ясно понять, что такіа лица, какъ Наполеонъ или Сперанскій, отнюдь не представители жизненнаго движенія ихъ времени, что ихъ роль даже меньше роли отдѣльных субъектовъ массы, изъ которыхъ слагаются волны этого движенія: Наполеоны а Сперанскіе, по мнѣнію графа Толстого, только поверхностная нѣва на этихъ волнахъ. Авторъ „Войны и Мира“ рисуетъ Наполеона ни болѣе ни менѣе, какъ политическимъ хлыщемъ и наглецомъ, не имѣющимъ не только характера и ума, но даже и военнаго генія! Въ противоположность ложному западному величію Наполеона, заключающемуся въ призрачной энергіи и силѣ, гр. Толстой выставляетъ настоящее правдивое величіе Кутузова, которое заключается почти въ безсознательной покорности обстоятельствамъ, въ непосредственной простотѣ, доходящей до старческаго слабоумія. На Сперанскаго авторъ смотритъ еще болѣе презрительно, чѣмъ на Наполеона: въ общей картинѣ александровскаго времени онъ бросаетъ эту фигуру мимоходомъ, спеціально ради того, чтобы очертить Сперанскаго, какъ самолюбиваго и мелкаго чиновника, воображающаго себя серьезнымъ реформаторомъ, а въ дѣйствительности представляющаго нѣсколько комическое ничтожество. Герой „Войны и Мира“, Андрей Болконскій, посѣдѣ въ своей натурѣ задатки такъ-называемыхъ протестующихъ стремленій, проводится авторомъ сквозь различныя впечатлѣнія непосредственной простоты жизни и просвѣтляется, наконецъ, смертью, достигнувъ тицету всякихъ стремленій къ руководительству жизненнымъ движеніемъ. Другой герой, Пьеръ Безухій, представляющій одиозное нителлигентнаго русскаго человѣка, ищущаго стезю добра и правды, приводится на эту стезю философіей бараньяго смиренія, которую ему сообщаетъ російскій солдатикъ-мудрецъ Платонъ Каратаевъ, и находитъ успокоеніе своимъ исکانіямъ исключительно въ семейномъ

счастіи. Героиня романа — Наташа, одинъ изъ „прелестныхъ“, тонко и поэтически обрисованныхъ женскихъ образовъ, восхищающихъ нашу критику, — эта героиня, въ расцвѣтъ юности, полная нелѣпныхъ романтическихъ порываній, разувѣется, вращающихся въ единственно доступной ей развитію сферѣ любви, обращена авторомъ подь конецъ, по его собственному выраженію, въ „самку“, все помыслы которой сосредоточены на дѣтороженіи, грязныхъ неленкахъ дѣтей и эгоистическомъ обладаніи своимъ мужемъ. Наряду съ героиней, заблуждавшимся и приведеннымъ авторомъ на правый путь русской непосредственности, въ „Войнѣ и Мирѣ“ стоятъ другіе герои, которые вѣрны непосредственной правдѣ и простотѣ жизни по натурѣ, которымъ всякія вышнія стремленія, всякая политическая и циническая дѣятельность, всякія порыванія къ протесту противъ окружающей дѣйствительности кажутся совершеннѣйшими пустяками. Эти герои, отличающіеся или безотвѣтнымъ смиреніемъ, или удовлетвореніемъ, такъ-сказать, единственно инстинктовъ растительной жизни, превозносятся авторомъ именно за эти качества. Таковъ графъ Николай Ростовъ, прекраснѣйшій, добродѣтельнѣйшій мужъ, благороднѣйшій семьянинъ, чудеснѣйшій хозяинъ и помѣщикъ, всячѣхъ достоинствъ котораго не помрачаетъ даже склонность къ разбиванію своего перстня о скулы мужиковъ. Такова жена его, графиня Марья, великая покорностію своему мужу, подубезмысленною кротостію и преимущественно тѣмъ, что она никогда пороку не выдумывала и выдумать не можетъ. Таковъ, наконецъ, знаменитый солдатикъ Платонъ Каратаевъ — эта сантиментальная клевета на русскій народный типъ, превознесенная нѣкоторою частью нашей критики, какъ великолѣпный, художественно созданный и истинно-народный образъ.

#### IV.

Уяснивъ себѣ сущность той особенной морали, какая приводится гр. Толстымъ въ его „вѣковѣчной“ эпопее, не

слѣдуетъ удивляться тому, что его повѣйшее произведеніе, при обычномъ блескѣ и совершенствѣ художественной формы, отличается такой невѣроятной, можно даже сказать такой скандальной пустотой содержанія: художникъ съ міросозерцаніемъ автора „Войны и Мира“ долженъ былъ въ своемъ творествѣ логически дойти до „Анны Карениной“. Если гр. Толстой къ крупнымъ и знаменательнымъ историческимъ событіямъ, къ крупному возбужденію общественнаго движенія эпохи первой половины александровскаго царствованія сумѣлъ приложить такой мистическій взглядъ, по которому упомянутыя событія, упомянутое движеніе и его представители являются вздоромъ, то, естественно, для него общественное движеніе нашего времени, далеко не столь крупное, должно остаться совсѣмъ незамѣченнымъ, несуществующимъ ни малѣйшаго вниманія, вполнѣ ничтожнымъ. Оно такъ и выходитъ въ его романѣ. Творецъ „Анны Карениной“, по своей художественно-философской теоріи не видящій никакого интереса въ общихъ явленіяхъ жизни, выходящихъ за предѣлы половыхъ, личныхъ и семейныхъ отношеній, только этими послѣдними и питаетъ свое творчество, ибо они одни, по его мнѣнію, есть начальная и конечная цѣль существованія. Онъ считаетъ призракнымъ вздоромъ всякія такъ-называемыя „вліянія“ времени, всю борьбу поступательнаго хода жизни съ задерживающими этотъ ходъ вліяніями, однимъ словомъ, все, что составляетъ внутреннее содержаніе жизни. Поэтому для него и для его творчества не существуетъ героев времени, т. е. выразителей отрицательныхъ или положительныхъ стремленій жизни въ данную эпоху. Онъ не хочетъ имѣть и не имѣетъ ни малѣйшей заботы о томъ, чтобы отражать въ своемъ произведеніи эти отрицательныя или положительныя стремленія, воспроизводить типы и характеры, имъ соответствующіе. Мистическое міросозерцаніе гр. Толстого понимаетъ дѣло такимъ образомъ, что цѣль жизни, какъ отдельныхъ личностей, такъ и цѣлаго общества, заключается вовсе не въ умственномъ, моральномъ и гражданскомъ развитіи, а единственно въ половыхъ и семейныхъ отно-

шеніяхъ. Только эти отношенія реальны, только они и составляютъ естественную „правду“ жизни: все остальное призрачная, поверхностная ложь, служащая едва-ли не торчкомъ для человѣческаго счастья и благополучія.

Художнику, задающемуся такимъ міровоззрѣніемъ, понятно, является сама собою необходимость обратить свое творчество къ воссозданію фактовъ и личностей такой среды, гдѣ половыя отношенія являются наиболѣе исключительными, господствующими надъ всякими иными жизненными цѣлями, наиболѣе освобожденными отъ матеріальныхъ и идеальныхъ житейскихъ заботъ другого порядка. Такою средою является среда обезпеченнаго довольства, гдѣ матеріальное благосостояніе, съ одной стороны, и довольно поверхностное умственное развитіе, съ другой, позволяютъ выражаться половымъ отношеніямъ въ самыхъ полныхъ и блестящихъ по внѣшности формахъ. Въ этой средѣ названныя отношенія составляютъ едва-ли не выдающійся интересъ существованія и развиваются безъ помѣхи въ разнообразныхъ комбинаціяхъ, какія только могутъ породиться изъ вожделѣній по внѣшности хорошо культивированнаго человѣческаго эгоизма. Художественное творчество, выходящее апошесозу жизни въ вожделѣніяхъ этого рода, должно черпать матеріалъ для своихъ созданій именно въ этой средѣ, такъ-какъ въ ней оно найдетъ рудникъ гораздо болѣе богатый и обильный, чѣмъ во всякой иной средѣ.

Такая среда именно и выбрана гр. Толстымъ въ его новомъ романѣ. Всѣ герои романа, всѣ эти Левины, Вронскіе, Облонскіе, Анны Каренины, Долли. Киги — обезпеченные матеріальнымъ довольствомъ субъекты, для которыхъ, вслѣдствіе склада ихъ воспитанія, а также довольно ограниченного нравственного и умственного развитія, главная и существенная „злота дѣя“ заключается въ ихъ половыхъ отношеніяхъ, влеченіяхъ и интересахъ, въ горѣ и радостяхъ, связанныхъ съ этими интересами. Всякіе другіе интересы, всякія иныя цѣли жизни касаются этихъ людей ровно по столько, по сколько они оказываютъ вліяніе на ихъ половыя и семейныя житейскія комбинаціи и перипетіи; только

въ этомъ частномъ, личномъ смыслѣ для нихъ и имѣетъ значеніе человѣческое существованіе. Много значенія они не то что не понимаютъ, но просто не вѣдаютъ. Общій смыслъ жизненнаго движенія и развитія для этихъ героевъ обезпеченнаго довольства недоступенъ: они живутъ своими личными интересами, вѣкъ потока этого движенія, и не оцѣняютъ на своемъ моральномъ и умственномъ складѣ никакихъ вліяній времени, или если и оцѣняютъ, то стараются отнестись къ этимъ вліяніямъ, какъ къ пустякамъ, не имѣющимъ существеннаго значенія. Все, выходящее за предѣлы отпавленій половой сферы, есть для нихъ нѣчто вѣншнее, формальное, не связанное никакой внутренней связью съ ихъ жизнью.

Возьмите какого хотите изъ этихъ удивительныхъ представителей жизни, записей въ одностороннемъ удовлетвореніи эгоистическихъ потребностей, разберите сущность его, и вы, кромѣ пустоты, ничего не найдете въ этихъ образахъ, рисуемыхъ съ такою обстоятельностью авторомъ, котораго критика считаетъ чуть-ли не такимъ-же серьезнымъ реалистомъ, какъ Гоголь. Вотъ передъ вами сельскій дворянинъ Левинъ, одинъ изъ любимѣйшихъ типовъ гр. Толстого — типъ непосредственной простоты и естественной „правды“ жизни. Онъ живетъ въ деревнѣ и весь преданъ заботамъ сельскаго хозяйства, которыя, однакожь, для него не особенно тяжелы и, кажется, служатъ больше развлеченіемъ, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ насущнымъ жизненнымъ трудомъ. Но крайней мѣрѣ, въ сценахъ романа, гдѣ рисуется сельско-хозяйственная дѣятельность Левина, мы не видимъ, чтобы эта дѣятельность требовала большого напряженія воли, нравственной и умственной энергій. Напротивъ, авторъ представляетъ такія сцены, гдѣ Левинъ является, можетъ быть, помимо желанія гр. Толстого, нѣсколько въ шутовскомъ свѣтѣ въ своихъ возжелѣніяхъ къ настоящему крестьянскому труду. Для Левина веденіе хозяйства не есть опредѣленная работа, которою онъ долженъ поддерживать существованіе, не есть „дѣло“, а нѣкоторое пріятное проведеніе времени, не установившееся, безсистемное.

имѣющее въ себѣ прелесть эстетическихъ ощущеній. Вотъ, напримѣръ, какъ изображается Левинъ, выходящій изъ дому весной, съ цѣлью подыятія на свои плечи бремени сельскохозяйственныхъ трудовъ.

„Левинъ надѣлъ большіе сапоги и въ первый разъ не шубу, а суконную поддевку, и пошелъ по хозяйству, шагая черезъ ручьи, рѣжущіе глаза своимъ блескомъ на солнцѣ, ступая то на ледокъ, то въ липкую грязь. Весна — время плановъ и предположеній. И выйдя на дворъ, Левинъ, какъ дерево весной (просимъ замѣтить это сравненіе), еще не знающее, куда и какъ разрастутся его молодые побѣги и вѣтви, заключенные въ налитыхъ почкахъ, *самъ не знаетъ хорошеенько*, за какія хозяйственные предпріятія въ любимомъ его хозяйствѣ онъ примется теперь, почувствовать, что онъ полонъ плановъ и предположеній самыхъ хорошихъ“. Онъ начинаетъ осмотръ хозяйства, замѣчаетъ разныя мелкія упущенія, сердится на приказчика и затѣмъ, слегка вскипиченный, идетъ смотрѣть, какъ работники производятъ посѣвъ. Разумѣется, прежде всего онъ сѣлится работнику сдѣлать внушеніе, и когда тотъ возражаетъ ему, считаетъ долгомъ оборвать работника по старой манерѣ: „пожалуйста, не разсуждай, а дѣлай, что говорить. Затѣмъ, чувствуя, что его первы взводновались досадою и гнѣвомъ на нерадивость и „лѣность грубаго простоародья“, какъ выразился когда-то кто-то, сельскій непосредственный дворянинъ рѣшается самъ поработать въ потѣ лица—съ цѣлью, впрочемъ, гигиеническою: онъ замѣчалъ не разъ, что работа укрощаетъ гнѣвное волненіе. Печого и говорить о томъ, что работа въ потѣ лица происходитъ только примѣрная: Левинъ проходитъ „деху“ съ сѣялкой, вовсе не умѣя сѣять и портя дѣло, что ему сейчасъ-же замѣчаетъ работникъ, и все-таки остается очень доволенъ, что поработалъ, даже „запотѣлъ“ отъ работы. Послѣ совершенія этого хозяйственного труда онъ весело ѣдетъ домой, чтобы пообѣдать и приготовиться къ охотѣ на вальдшнеповъ, которой, конечно, и предается съ настоящимъ увлеченіемъ, удовольствіемъ и

гораздо большимъ пониманіемъ, чѣмъ сельско-хозяйственнымъ трудамъ.

Такимъ образомъ, говорю я, — для Левина, этого непосредственнаго сельскаго хозяина, лечащаго свои волненія „примѣрнымъ“ свѣщеніемъ и паханіемъ, подобно тому, какъ многіе баре лечатъ себя заграничными водами, въ сущности сельскія занятія не представляють суроваго и опредѣленнаго труда. Да онъ, по своей барской натурѣ, къ труду вообще менѣе склоненъ, чѣмъ къ фантазіямъ о трудѣ, къ художественнымъ, такъ - сказать, воспріятіямъ удовольствій сельско-хозяйственной дѣятельности. Главная-же цѣль, около которой концентрируются всѣ его вождельія, — это семья, женитьба. „Любовь къ женщинѣ, говоритъ творецъ Левина, онъ не только не могъ себѣ представить безъ брака, но онъ прежде представлялъ себѣ семью, а потомъ ужъ ту женщину, которая дастъ ему семью. Его понятія не были похожи на понятія большинства его знакомыхъ, для кого женитьба была однимъ изъ многихъ общежитейскихъ дѣлъ: для Левина это было *добавкомъ къ жизни*, отъ котораго зависѣло все его счастье“.

Впрочемъ, Левинъ не лишенъ и нѣкоторыхъ другихъ невинныхъ затѣй. Какъ это часто бываетъ, онъ — разумеется, съ цѣлью принесенія пользы отечеству — посвящаетъ часть своего деревенскаго уединенія на сочиненіе глубокаго сельско-хозяйственнаго трактата, въ которомъ намѣревается выразить свои собственныя воззрѣнія, т. е. подобныя тѣмъ извѣстнымъ воззрѣніямъ, до какихъ почтеннѣйшій Амось Федоровичъ „самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ“. Можно заранѣе угадать, не боясь сдѣлать ошибки, что этотъ трактатъ окажется сумбуромъ, если будетъ доведенъ до конца, а вѣрнѣй всего никогда не будетъ написанъ и останется втунѣ. Догадка эта за себя имѣетъ слѣдующій аргументъ: для того, чтобы выучиться путнымъ образомъ писать трактаты, необходимо воспитать свою мысль на-столько, чтобы умѣть серьезно читать написанное, а именно этого то умѣнья и недостаетъ Левину. Авторъ впадаетъ по этому поводу въ любопытныя откровенности. Серьезныя статьи

всегда наводили величайшую скуку на апатическую, вялую мысль Левина: „онъ не могъ прочесть ихъ, потому что при этомъ чтеніи страшная скука одолѣвала его. Левинъ вообще не интересовался новѣйшею философіей. Ему все эти вопросы о происхожденіи человека, какъ животного, о рефлексахъ, о біологіи и социологіи казались невыносиме скучными“. Это такъ и должно было быть, если взять въ расчетъ ту милую манеру, съ которой Левинъ читалъ всякіе серьезные статьи и книги и образчикъ которой приводится графомъ Толстымъ въ слѣдующемъ изображеніи чтенія Левинымъ книги Тиндала подъ разговоръ своей старой няньки: „Онъ слушалъ и читалъ книгу, и вспоминалъ весь ходъ своихъ мыслей, возбужденныхъ чтеніемъ. Это была книга Тиндала о теплѣ. Онъ вспоминалъ свои сужденія Тиндалю за его самодовольство въ ловкости производства мысловъ и того, что ему недостаетъ философскаго взгляда. А о кометахъ онъ вретъ, хоть и красиво“. Вдругъ всплыла радостная мысль: „черезъ два года будутъ у меня въ садѣ двѣ голанки, сама Нава еще можетъ быть жива, двѣнадцать молодыхъ Беркутовыхъ дочерей: да подсыпять на казовый конецъ этихъ трехъ—чудо!“ Онъ опять взялся за книгу. „Ну, хорошо, электричество и тепло одно и то же: но возможно-ли въ уравненіи для рѣшенія вопроса поставить одну величину, вмѣсто другой? Нѣтъ. Ну такъ что же? Связь между всѣми силами природы? такъ чувствуется инстинктомъ... Особенно пріятно, какъ Навина дочь будетъ же краснопёрой коровой, а все стадо, въ которое подсыпять этихъ трехъ... Отлично! Выйти съ женой и гостями стрѣчать стадо... Жена скажетъ: мы съ Костей, какъ ребенка, выхаживали эту телку. Какъ это можетъ васъ такъ интересовать? скажетъ гость. Все, что его интересуетъ, интересуетъ меня“. Этотъ любопытный образчикъ отношеній Левина къ умственнымъ занятіямъ превосходно рисуетъ всю невозможность его головы и въ то-же время даетъ яркій намекъ на тупость его идеала семейнаго счастья, которое для него, какъ мы уже знаемъ, „главное дѣло жизни“. Видите-ли, какъ онъ понимаетъ это счастье: въ него

входить существеннымъ элементомъ хвастовство перестать „гостими“ тѣмъ, что будущая супруга обидѣется съ нимъ до такой непосредственности, что будетъ выходить встречать стадо и выхаживать телятъ, какъ собственныхъ дѣтей! Какъ не воскликнуть вмѣстѣ съ этимъ милымъ Левинымъ: „Отлично!“

Взявъ во вниманіе всѣ указанныя черты, читатель можетъ составить себѣ довольно точное представленіе о настоящей сущности этого героя, олицетворяющаго, по понятіямъ автора „Анны Карениной“, типъ непосредственно-добраго и прекраснаго сельскаго джентльмена нашего времени. Самодовольно-ограниченный эгоизмъ, чуждающійся умственнаго труда и жизненнаго движенія и ищущій главной цѣли жизни въ удовольствіяхъ половой жизни на „лонѣ природы“ — вотъ основа этого лица, изображаемаго гр. Толстымъ съ очевидною симпатіей къ его прелестнымъ качествамъ.

Еще болѣе несимпатичными, чѣмъ Левинъ, представляются другія два лица романа: блестящій Вронскій и московскій баринъ-чиновникъ Облонскій. Ихъ растлѣнно-эгоистическія стремленія не смягчаются даже тою смиренною простотою, за которую на Левина можно взглянуть съ нѣкоторымъ снисхожденіемъ. Бездѣльная сущность Вронскаго и Облонскаго ничѣмъ не можетъ быть оправдана, и сколько-бы авторъ ни употреблялъ „художественныхъ“ стараній, чтобы придать этимъ лицамъ серьезное значеніе, они останутся, во всякомъ случаѣ, только героями празднаго шалонайства и никакъ не болѣе этого.

Облонскій—„служащій“ баринъ съ „холоднымъ тѣломъ“, относящійся съ цинически-добродушной любезностью ко всѣмъ на свѣтѣ и ко всему на свѣтѣ, даже къ собственному своему распутству, возбуждающій къ себѣ симпатію окружающихъ именно этимъ растлѣннымъ добродушіемъ, не имѣющимъ предѣловъ. Добродушіе это простирается даже до того, что онъ способенъ бесѣдовать съ своимъ лакеемъ объ отношеніяхъ къ собственной женѣ, возмущенной его распутнымъ поведеніемъ, способенъ выслушать дружескіе

совѣты лакея и успокоенія насчетъ того, что оскорбленная супруга „образумится“. способенъ чувствовать одну веселость, когда пріятель въ глаза говоритъ ему, что его, Облонскаго, можетъ кушнуть за двугривенный. Для Левина главное дѣло жизни — бракъ, для Облонскаго — любовь, понимая имъ, разумеется, въ томъ смыслѣ, какой придаютъ любви всѣ господа, „нѣсколько беззаботные“ насчетъ нравственныхъ вопросовъ, т. е. въ смыслѣ легкихъ шашень на сторонѣ. Сущность своей пошлой натуры и своихъ растлѣнныхъ воззрѣній этотъ московскій Донъ-Жуанъ вполнѣ выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Я не признаю жизни безъ любви. Что-же дѣлать, я такъ сотворю. И, право, такъ мало дѣлается этимъ кому-нибудь зла, а себѣ столько удовольствій. Женщина, видишь-ли, это такой предметъ, что сколько ты ни изучай ее, все будетъ совершенно новое“. — „Такъ ужь лучше не изучать“, возражаетъ Левинъ Облонскому. — „Нѣтъ, самодовольно комментируетъ московскій Донъ-Жуанъ свою постоянную склонность къ шашнямъ: — какой-то математикъ сказалъ, что наслажденіе не въ открытіи истины, но въ исканіи ея“. Исканіемъ этой „истины“, очевидно, тождественной съ извѣстною поздравской „клубничкой“, и наполняетъ свое существованіе Облонскій. Облонскій не даромъ увѣренъ въ томъ, что его клубничные подвиги мало приносятъ зла другимъ, а ему доставляютъ столько удовольствій: онъ такъ эгоистиченъ, что сдѣланнаго имъ зла никогда не примѣчаетъ, и поэтому имъ никогда не терзается. У него все это выходитъ просто, какъ всегда бываетъ у простодушныхъ негодяевъ — самаго позорнаго рода изъ всевозможныхъ негодяевъ на свѣтѣ. Онъ соблазнилъ, втихомолку отъ жены, француженку, бывшую гувернанткой его дѣтей. Жена узнала объ этомъ, она мучается, раздражена, хочетъ покинуть невѣрнаго супруга. Облонскій смущенъ всѣмъ этимъ, но не потому, чтобы онъ сожалѣлъ о своей семьѣ, которой грозитъ разрушеніе, о своей женѣ, которой онъ нанесъ жестокое моральное оскорбленіе, а только потому, что все это составляетъ докучное безпокойство его особѣ, привыкшей понимать жизнь,

какъ постоянное „катаніе сыра въ масло“. Онъ нисколько не терзается тѣмъ, что его поведеніе относительно жены гадко: это его не касается; онъ безпокоится о томъ, что выходитъ скандалъ, нарушающій обычное ровное и пріятное теченіе его жизни, скандалъ, вызванный въ сущности совершенно ничтожнымъ случаемъ. Когда, благодаря посредничеству его сестры, пресловутой Анны Карениной, жена Облонскаго выражаетъ готовность примириться, Облонскій съ легкимъ сердцемъ идетъ къ ней въ снѣжно и выходитъ оттуда вполне довольный и счастливый... Впечатлѣніе его проступка противъ семьи и жены сошло съ него, какъ съ гуся вода, и онъ меньше всего думаетъ объ упрекахъ себѣ. Однимъ словомъ, этотъ прелестный московскій баринъ принадлежитъ къ категоріи тѣхъ счастливцевъ, которые воспѣты въ одномъ очень удачномъ стихотвореніи г. В. Курочкина:

„Розовый, свѣжій, торжествъ,  
Юный, веселый всенга,  
Разума даже сѣдла  
Нѣтъ въ головѣ благодной,  
Хочешь тамъ вѣтеръ сквозной...  
Экой счастливцевъ такой!“

Долго не думалъ, сѣдло,  
Въ доброе время и часъ,  
Ваду малъ — и сѣдлалъ какъ-разъ  
Самое скверное дѣло,  
Не возмугавшись душой.

Экой счастливцевъ такой!“ и пр.

Типъ счастливцевъ этого сорта не новъ въ нашей литературѣ. Прежде ихъ обыкновенно выставляли, какъ позорное явленіе жизни, относились къ нимъ отрицательно; теперь же художники рисуютъ такіе типы чуть-ли не съ затаенною симпатіей къ нимъ, чуть ли, въ самомъ дѣлѣ, не въ качествѣ образчиковъ „людей, сохраняющихъ среди невыхъ общественныхъ наслоеній лучшія преданія культурнаго общества“, какъ выразился критикъ-камердинеръ изъ „Русскаго Міра“. Что будете дѣлать, времена и понятія перемѣнились:

„Взъ мной, мной ягны  
И у нихъ мной пѣсни“.

Да не только пѣсни, но даже и романы, даже складъ нравственныхъ воззрѣній...

На ряду съ „миленькимъ штатскимъ“ героемъ въ романѣ гр. Толстого фигурируетъ не менѣе миленькій военный герой: это графъ Вронскій, глубокая и, какъ любили выражаться романисты добраго стараго времени, „вулканическая“ страсть котораго къ Аннѣ Карениной, составляетъ ядро романа. Этотъ блестящій герой въ двухъ частяхъ романа высказался единственно только со стороны „галантерейнаго обращенія“ и совершилъ два подвига: преклонилъ великолѣпную супругу высокопоставленнаго петербургскаго чиновника къ незаконнымъ амурамъ и передомылъ кровной англической побѣдѣ спину на скачкахъ. Если собрать всѣ галантерейныя рѣчи блистательнаго Вронскаго, которому приличнѣе было бы именоваться Гремнымъ или Индвымъ, то вотъ что почти окажется въ суммѣ:

„Прекрасный балъ“. — „Зачѣмъ я ѣду? Вы знаете, я ѣду для того, чтобы быть тамъ, гдѣ вы. Ни одного слова вашего ни одного вашего движенія я не забуду никогда“. — „Надѣюсь имѣть честь быть у васъ“. — „Откуда я? Изъ Буффъ. Кажется, въ сотый разъ, и все съ новымъ удовольствіемъ. Прелесть! Я знаю, что это стыдно, но въ черѣ я силно (еще-бы не спать, замѣтимъ къ слову: господода, подобныя вамъ, всегда засыпаютъ, „если не слышать саллюстей“; это зналъ еще Гамлетъ), а въ Буффъ до послѣдней минуты досматриваю, и весело“.

Затѣмъ, кромѣ этихъ и еще двухъ-трехъ въ такомъ-же галантерейномъ родѣ фразъ, Вронскій является намъ во всей своей прелесть въ слѣдующемъ амурномъ „козри“, которое и выписываю все для того, чтобы читатели могли бонять „великоблѣтскость“ чувствъ и отношеній главнаго героя и героини романа:

— Я часто думаю, что мужчины не понимаютъ того, что неблагородно, а всегда говорятъ объ этомъ, сказала Анна. — Я давно хотѣла сказать вамъ, прибавила она и,

перейдя нѣсколько шаговъ, сѣла у углового стола съ альбомами.

— Я не совсѣмъ понимаю значеніе вашихъ словъ, сказала онъ, подавая ей чашку.

Она взглянула на диванъ подлѣ себя, и онъ тотчасъ же сѣлъ.

— Да, я хотѣла сказать вамъ, сказала она, не глядя на него. — Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

— Развѣ я не знаю, что я дурно поступилъ! Но кто причиной, что я поступилъ такъ?

— Зачѣмъ вы говорили мнѣ это? сказала она, всхливая и взглядывая на него.

— Вы знаете, зачѣмъ, отвѣчалъ онъ смѣло и радостно, встрѣчая ее взглядъ и не спуская глазъ.

Не онъ, а она смутилась.

— Это доказываетъ только, что у васъ нѣтъ сердца, сказала она, но взглядъ ее говорилъ, что она знаетъ, что у него есть сердце, и отъ этого то бонтея его.

— То, о чемъ вы сейчасъ говорили \*), была ошибка, а не любовь.

— Вы помните, что я запретила вамъ произносить это гадкое слово (ахъ, какое милое институтское выраженіе!), вздрогнувъ сказала Анна, но тутъ-же она почувствовала, что однимъ этимъ словомъ: *запретила*, она показывала, что признавала за собой извѣстное право на него, и этимъ самымъ поощряла его говорить про любовь. Я вамъ давно это хотѣла сказать, продолжала она, рѣшительно глядя ему въ глаза и вся пылая жегшимъ его румянцемъ. — а нынче я нарочно пріѣхала, зная, что я васъ встрѣчу. Я пріѣхала вамъ сказать, что это должно кончиться. Я никогда ни передъ кѣмъ не краснѣла, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною въ чемъ-то.

Онъ смотрѣлъ на нее и былъ пораженъ новой духовной красотой ее лица.

\*) Шалопайное ухаживаніе за московской молоденькой барышней

— Чего вы хотите отъ меня? сказалъ онъ просто и серьезно.

Я хочу, чтобы вы поѣхали въ Москву и просили прощенья у Кити, сказала она.

— Вы не хотите этого, сказалъ онъ.

Онъ видѣлъ, что она говорила то, что принуждаетъ себя сказать, но не то, чего хочетъ.

Если вы любите меня, какъ вы говорите, прощентала она, то сдѣлайте, чтобы я была спокойна.

Лицо его просіяло.

— Развѣ вы не знаете, что вы для меня вся жизнь, но спокойствія я не знаю и не могу вамъ дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о васъ и о себѣ отдѣльно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствія ни для себя ни для васъ. Я вижу возможность отчаянія, несчастія... И я вижу счастье, какое счастье!.. Развѣ оно невозможно? прибавилъ онъ одними губами, но она слышала.

Она всѣ силы ума своего напрягала на то, чтобы сдѣлать и сказать то, что должно, но вмѣсто того она остановила на немъ свой взглядъ, полный любви, и ничего не отвѣтила.

„Вотъ оно, съ восторгомъ думать онъ: тогда, когда я уже отчаявался и когда, казалось, не будетъ конца, вотъ оно. Она любитъ меня. Она признается въ этомъ“.

Такъ сдѣлайте это для меня, никогда не говорите мнѣ этихъ словъ, и будемъ добрыми друзьями, сказала она словами, но совсѣмъ другое говорилъ ея взглядъ.

Друзьями мы не будемъ, вы это сами знаете. А будемъ-ли мы счастливѣйшими или несчастнѣйшими изъ людей, это въ вашей власти.

Она хотѣла сказать что-то, но онъ перебилъ ее.

Вѣдь я прошу одного—прошу права надѣяться, мучаться, какъ теперь, но если и этого нельзя, велите мнѣ исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видѣть меня, если мое присутствіе тяжело вамъ.

— Я не хочу никуда прогонять васъ.

— Только не измѣняйте ничего. Оставьте все, какъ есть, сказать онъ дрожащимъ голосомъ...

Не правда-ли, прелестная беседа, въ которой не знаешь, чему удивляться: банальности-ли объясненій и пошлости героевъ, ее ведущихъ, или серьезному искусству, съ которымъ авторъ воспроизводитъ эти банальныя объясненія. Давно въ нашей литературѣ не появлялись подобныя амурныя „козри“ въ произведеніяхъ крупныхъ писателей-романистовъ: они оставляли подобный вздоръ для разныхъ салонныхъ беллетристовъ, въ родѣ г. Маркервича или г-жи Ольги Н и т. п. Но теперь, увы, за посредственностями въ область беллетристической пустоты, кажется, и крупныя дарованія двинулись. Въ добрый часъ!

Весьма естественно и несколько неудивительно, что такой опытный козеръ „посчетъ клубнички“, какъ Вронскій, послѣ годовыхъ трудовъ ухаживанія достигъ вожделѣннаго конца, такъ-сказать, „увѣчанія зданія“ своихъ амуровъ; весьма естественно и несколько неудивительно, что такая пустая дама, какъ Анна Каренина, нарушила съ Вронскимъ право своего высокопоставленнаго, но довольно скучнаго и деревяннаго супруга. Но вотъ что удивительно и что крайне неестественно: „увѣчаніе зданія“ амуровъ Вронскаго рисуется авторомъ, какъ нѣкое трагическое событіе въ жизни этого героя, до сихъ поръ выказывавшаго единственно прекрасныя манеры и галантерейное великосвѣтское обращеніе. Патура Вронскаго, повидимому, „сшитая изъ лучшаго эфира“ представленій театра Буффъ, такъ усладительныхъ для него, оказывается глубокой натурой, способной на трагическую страсть. „Увѣчаніе зданія“ его амуровъ для него не веселое и пріятное событіе, которое онъ, по обыкновенію всѣхъ господъ „нѣсколько беззаботныхъ“ посчетъ женщиной, долженъ записать шампанскимъ въ кругу товарищей, а преступленіе. Вотъ въ какомъ серьезномъ, трагическомъ тонѣ описываетъ гр. Толстой сцену, долженствовавшую быть-бы самой веселой сценой въ эпохѣ веселенькихъ амуровъ. Сценѣ предшествуютъ два ряда „узаконенныхъ и принятыхъ въ литератур-

номъ общежитіи точекъ“, какъ выражается нравственный Г. Всеволодъ Соловьевъ, знающій, какъ видно, какіе-то кодексы „насчетъ клубнички“, узаконивающіе, сколько рядовъ точекъ слѣдуетъ ставить передъ такими сценами:

„То, что почти цѣлый годъ для Вронскаго составляло исключительно одно желаніе его жизни (невольно приходитъ мысль, вотъ удивительный народъ: жить цѣлый годъ *однимъ* такимъ желаніемъ!), замѣнившее ему все прежнія желанія; то, что для Анны было невозможно, ужасною и тѣмъ болѣе обнорочительною мечтою счастья,—это желаніе было удовлетворено. Блѣдный, съ дрожавшею нижнею челестью, онъ стоялъ надъ нею (какъ это „стоялъ надъ нею?“) и умолялъ успокоиться, самъ не зная, въ чемъ и чѣмъ“... Онъ чувствовалъ, что долженъ чувствовать убіица, когда видитъ тѣло, лишенное жизни. Это тѣло, лишенное жизни, было ихъ любви, первый періодъ ихъ любви. Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этой страшной цѣной стыда. Стыдъ передъ духовной наготой своей давилъ ее и сообщился ему. Но несмотря на весь ужасъ убіицы передъ тѣломъ убитаго, надо рѣзать на куски, прятать это тѣло, надо пользоваться тѣмъ, что убіица пріобрѣлъ убіиствомъ. И съ озлобленіемъ, какъ будто со страстью, бросается убіица на это тѣло, и тащить, и рѣжетъ его; такъ и онъ покрывалъ поцѣлуями ея лицо и плечи“.

Положимъ, что то оружіе, которымъ былъ убитъ первый періодъ любви Вронскаго, то есть поцѣлуй и проч., не особенно ужасно; но все-таки читатель согласится, что сцена убіиства этимъ оружіемъ въ романѣ выставляется трагической сценой, и графъ Вронскій—этотъ Гремий или Индианъ новѣйшаго времени — неожиданно приноднать въ этомъ эпизодѣ на сцену трагическаго героя. И въ дальнѣйшемъ повѣствованіи объ его амурахъ авторъ не старается снять его съ этого сцены, а, напротивъ, все больше и больше укрѣпляетъ тамъ Вронскаго. Амуры съ Карениной для Вронскаго „не обыкновенная свѣтская страсть и —изъясняется далѣе въ романѣ,— не игрушка, не

шутка, не забава, а дѣло (!), на которое, какъ на одну карту, поставлено все счастье жизни“. Такъ полагаетъ самъ Вронскій, такъ думаетъ, конечно, и самъ графъ Толстой: иначе онъ не сталъ-бы писать пространную эпопею объ амурахъ.

Такое неожиданное открытіе графомъ Толстымъ трагическаго элемента въ похожденияхъ великосвѣтскихъ петербургскихъ дамъ и кавалеровъ „насчетъ клубнички“, повторяю, кажется удивительнымъ и невѣроятнымъ. Но авторъ Карениной идетъ еще далѣе въ своемъ прославленномъ аналитическомъ творествѣ: онъ открываетъ трагизмъ въ отношеніяхъ Вронскаго не только къ Аннѣ Карениной, но даже къ скаковой кобылѣ Фру-фру, и дѣлаетъ эти отношенія предметомъ столь-же подробнаго художественнаго анализа и изображенія, какъ и отношенія къ Аннѣ Карениной. Какъ это ни изумительно, но съ художественнымъ міросозерцаніемъ графа Толстого къ этому слѣдовало придти непременно... Если графъ Толстой захочетъ быть еще болѣе послѣдовательнымъ, если онъ пожелаетъ свое творчество подвинуть еще далѣе на этомъ новомъ и оригинальномъ пути, то я позволю себѣ рекомендовать почтенному беллетристу превосходный сюжетъ для будущаго романа, главнымъ героемъ котораго онъ можетъ сдѣлать любезнаго душѣ его недоросля Левина. Вотъ вкратцѣ изложеніе моего сюжета. Левинъ женился на Кити (какъ это, вѣроятно, и случится) и живетъ съ ней въ сельскомъ уединеніи, презирая всякія политическія и цивилческія, безплодныя и скучныя заботы, порождаемая цивилизаціей и прогрессомъ, торозиящими непосредственное счастье жизни. Но, по прошествіи нѣкотораго времени, въ душѣ Левина неожиданно-негаданно зарождается чувство болѣе непосредственное и, слѣдовательно, гораздо болѣе сильное и законное, чѣмъ любовь къ женѣ: Левинъ вспыхиваетъ сельско-хозяйственной любовью къ коровѣ Павѣ. Кити, замѣтивъ новую страсть мужа и усматривая въ оной, по женскому легкомыслію, нѣкоторый ущербъ для семейнаго счастья, обнаруживаетъ ревность, и уже не желаетъ ухаживать за телятами

Навы, какъ за собственными дѣтьми. Слѣдуетъ рядъ различныхъ романтически-трагическихъ перипетій, страданій Кити, томленій Навы, объясненій Левина Навѣ... Разумѣется, въ изображеніи этихъ перипетій, страданій, томленій, объясненій должны быть обнаружены самая художественная обстоятельность и самый тонкій психическій анализъ коровыхъ и человѣческихъ ощущеній, распространенный на безчисленное количество листовъ. Романъ можно закончить трагически: самоубійствомъ Кити, не выдержавшей торжества соперницы. За трагедіей, конечно, по утвержденному контекстами искусства правилу, должно слѣдовать примиреніе: Левинъ, потерзавшись довольно, находитъ полное нравственное удовлетвореніе въ сельско-хозяйственной привязанности къ Навѣ, весьма основательно постигнувъ, что такая привязанность есть окончательная, единственно-возможная и единственно-нужная для человѣка цѣль жизни, что эта привязанность есть высшее непосредственное счастье на землѣ, выше даже семейнаго счастья съ женщиной. Что же касается Навы, то эта героиня... Впрочемъ, остановимся лучше: я боюсь сдѣлать ошибку. Я воображаю, что вину преемствъ для будущаго романа гр. Толстого, а можетъ быть, на самомъ дѣлѣ только предвосхищаю слѣдующія части „Анны Карениной“. Кто знаетъ, не увидимъ-ли мы уже и въ этомъ романѣ художественно-аналитическое изображение сельско-хозяйственныхъ возделѣній Левина къ Навѣ, борящихся въ его душѣ съ супружескою любовью; кто знаетъ, не увидимъ-ли мы гибель Анны Карениной отъ ревности къ лошади Вронскаго...

Да извинять мнѣ читатели, что я увлекся шуткою; но оставляя шутку въ сторонѣ и возвращаясь къ роману, мы въ самомъ дѣлѣ находимъ въ немъ уже и теперь трагическое изображеніе страсти Вронскаго къ лошади, идущее въ совершенную параллель съ изображеніемъ страсти его къ Аннѣ Карениной. „Вронскій, говоритъ гр. Толстой, несмотря на всю любовь къ Аннѣ, былъ страстно, хотя и сдержанно увлеченъ кобылой Фру-фру“, и эти „двѣ страсти не мѣшали одна другой“. И не только не мѣшали, но, какъ это

видно изъ романа, были даже однородны. Любовь Вронскаго къ женщинѣ и лошади нарисована въ одинаковомъ колоритѣ; авторъ старается сообщить имъ одинъ и тотъ-же трагическій, серьезный характеръ. Сравните сцены страстнаго „обращенія“ кобылы и Анны Карениной съ Вронскимъ—и вы увидите тождественность этихъ сценъ:

Сцена съ кобылой. Вронскій подходитъ къ ней, называетъ ее „милою“ и гладитъ; кобыла чувствуетъ его ласки и отвѣчаетъ на нихъ: „она звучно втянула и выпустила воздухъ изъ напряженныхъ, тугихъ поздрей и, вздрогнувъ, прижала острое ухо и вытянула крѣпкую, черную губу къ Вронскому, какъ бы желая поймать его за рукавъ. Но вспомнивъ о намордникѣ, она встряхнула имъ и опять начала переставлять одну за другою свои тонкія ножки.

— Успокойся, милая, успокойся, сказалъ онъ, погладивъ ее рукою по крупу, и съ радостнымъ сознаніемъ, что лошадь въ самомъ хорошемъ состояніи, вышелъ изъ денника. Волненіе лошади сообщилось и Вронскому: онъ чувствовалъ, что кровь приливала ему къ сердцу, и что ему, какъ и лошади, хочется двигаться, кусаться (!); было и страшно и весело“.

Другая сцена съ кобылой. На скачкѣ Вронскій неловкимъ прыжкомъ на сѣдлѣ во время бѣга переломилъ Фру-фру спину. Фру-фру унала. Вронскій стоитъ надъ ней, „съ изуродованнымъ страстію лицомъ, блѣдный, съ трясеющейся челюстью“: онъ терзается въ трагическомъ отчаяніи, онъ „глубоко несчастливъ“, онъ „въ первый разъ въ жизни испытывалъ самое тяжелое несчастье—несчастье несправимое и такое, въ которомъ виною онъ самъ“. А искалѣченная лошадь, „перегнувъ къ нему голову, смотритъ на него своимъ прелестнымъ глазомъ“...

Теперь возьмите слѣдующую сцену съ Анной въ pendant къ первой изъ приведенныхъ сейчасъ, сценѣ любезностей Фру-фру съ Вронскимъ:

„Она услышала голосъ возвращающагося сына и, окинувъ быстрымъ взглядомъ терассу, порывисто встала. Взглянувъ на нее зажегся знакомымъ ему огнемъ, она быстрымъ движе-

нѣмъ подняла свои красивые руки, взяла его за голову, посмотрѣла долгимъ взглядомъ и, приблизивъ свое лицо съ открытыми улыбающимися губами, быстро поцѣловала его ротъ и оба глаза и оттолкнула. Онъ хотѣлъ идти; но она удержала его.

— Когда? проговорилъ онъ шепотомъ, восторженно глядя на нее.

— Ницче, въ часть, прощентала она, и проч.

Вотъ какова эта энонея амуровъ, сочиненная гр. Толстымъ: въ ней лошади и люди третируются въ одинаковомъ тонѣ, въ ней являются герои, обуреваемые роковыми, трагическими увлеченіями къ великосвѣтскимъ дамамъ и къ скаковымъ лошадямъ, въ ней рассказываются съ одинаковымъ художественнымъ анализомъ и одинаковой обстоятельностью и человѣческія, и коровьи, и лошадиныя привязанности...

## V.

О главной героинѣ романа, Аннѣ Карениной, я пока не буду говорить, потому что этой героинѣ до сихъ поръ, кромѣ необычайной внутренней пустоты и красивой внѣшности, авторъ еще не успѣлъ придать никакихъ другихъ болѣе опредѣленныхъ и знаменательныхъ признаковъ. Притомъ о ней еще будетъ время побесѣдовать, когда мы увидимъ окончаніе романа. Точно также оставляю въ сторонѣ и второстепенныхъ лицъ романа, каковы: Кити, Долли, Ветси, представляющихъ подобныя же безсодержательные образы безсодержательнаго существованія. Объ этихъ лицахъ, насколько они опредѣлились въ первыхъ двухъ частяхъ „Анны Карениной“, трудно сказать что-нибудь болѣе. Можно замѣтить только одно: авторъ, несмотря на видимую пустоту и безсодержательность этихъ лицъ, ихъ жизни, стремленій, обстановки, входитъ въ самое тщательное изображеніе всего этого, и въ его изображеніи нигдѣ не чувствуется, чтобы онъ утомлялся такимъ, довольно безплоднымъ дѣломъ, чтобы онъ относился къ внутреннему строю этихъ героевъ и

виѣшнимъ ся формамъ отрицательно: его художественный объективизмъ ни мало не смущается самою пошлою пошлостью и самою пустѣйшею пустотою изображаемаго имъ обезпеченнаго міра.

Покуда довольно, читатель. Когда романъ гр. Толстого выйдетъ вполнѣ, я еще возвращусь къ нему и его подробную и общую оцѣнку имѣю впереди. Теперь же, въ двухъ частяхъ „Анны Карениной“, авторъ дастъ то, что указано, и ничего болѣе... Итъ, виновать, дастъ кой-что: именно бездну художественнаго дарованія. Но о художественномъ дарованіи гр. Толстого на этотъ разъ нечего говорить: оно всѣмъ извѣстно и признано давно, во-первыхъ; а во-вторыхъ, стоитъ-ли говорить о великомъ художествѣ, если оно потрачено въ изобиліи на совершенно вздорное и даже, если хотите, растлѣнное содержаніе?..

Изъ „Дѣла“ 1875 г., № 5. Статья II. Никитина  
(Н. Ткачова)

\* \* \*

\*) Недавно въ Парижѣ вышло сочиненіе г. Куррьера о *Современной русской словесности*. „Биржевыя Вѣдомости“ отозвались о немъ, (№ 162), что „болѣе подробной книги объ этомъ предметѣ въ Европѣ не имѣется“ и, говоря о тѣхъ, кому сужденія ся могутъ придтись не по вкусу, прибавили, что „дѣлать нечего: Европа покуда такъ и останется при выраженныхъ ею взглядахъ“. О критикѣ же нашей цитованная книга гласитъ слѣдующее: „Русская критика дѣлится на литературные лагери, ведущіе между собою ожесточенную борьбу, какъ во Франціи бонапартисты и республиканцы. При появленіи новаго романа или замѣчательнаго этюда, партіи начинаютъ волноваться. Огонь

\*) „Московскія Вѣдомости“ 1875 г., № 180. Статья Страшнина, въ заглавіи: „Литературная кушетка“.

открываютъ фельетонисты, выскакивающіе впередъ застрѣльщиками: за ними двигается тяжелая кавалерія журналовъ. Герой романа, направленіе ученой или критической статьи расхваливаются или порицаются, смотря по тому согласны ли они или нѣтъ съ направленіемъ своихъ суждѣній. Безпристрастія не бываетъ тутъ ни малѣйшаго. Прибавьте, что господа критики не всегда вѣжливы и не стѣсняются рѣзкими выраженіями. Сообразны ли мнѣнія автора съ истиной, нравственностью, художественными требованіями, до этого имъ нѣтъ дѣла. Принадлежитъ писателю къ партіи критика — его хвалить; нѣтъ — его причисляютъ къ могикамъ литературы“.

Сказать правду, мнѣ былъ досаденъ этотъ отзывъ. Досадно было, что „въ Европѣ такъ и останется“ неблагоприятное представленіе о нашей критикѣ. И досадно было это потому, что, вопреки косвенной ратификаціи взглядовъ г. Куррьера свидѣющими въ критической и полемической матеріи *Биржевыми Вѣдомостями*, нарисованная имъ картина казалась мнѣ нѣсколько преувеличенною. Знаю, что существуютъ сужденія о нашихъ журнальных Закахъ, Миноскахъ и Радамантахъ. Покойный Даргомыжскій, напримѣръ, полагалъ, что отношеніе ихъ къ разбираемымъ явленіямъ опредѣляется даже не общими соображеніями, хотя бы то и показанными духомъ партій, а часто личными интересами и разчетами. „Все эти журналисты и ихъ родственники“, говорилъ онъ въ корреспонденціи съ Кастріото-Скандербекомъ, „лишутъ, потомъ сами себя и другъ друга восхваляютъ въ газетахъ, и такимъ образомъ надуваютъ нашихъ бѣдныхъ провинціаловъ, которые съ такимъ благоговѣніемъ вѣрятъ всему печатному“. „Чтобы поладить съ журналистами и фельетонистами“, говорилъ онъ еще о петербургскихъ присяжныхъ цѣновникахъ, „стоитъ только выпить съ ними настойки, выставить закуску, да бранить ихъ, кого они бранятъ“ (см. „Русская Старина“ 1875 г., апрѣль, стр. 798). Знаю крѣпостную зависимость нашей критики отъ нетерпимости однихъ и отъ разгильдяйства другихъ. Знаю, что наши доморожденные Густавы Пташки

и Сентъ-Бёвы взыскательны, какъ никогда не бывали взыскательны, Сентъ-Бёвы и Густавы Планши настоящіе: что наши современные Бѣлинскіе спрашиваютъ отъ писателя прежде всего подобострастія къ ихъ политическимъ мечтаніямъ и не спускаютъ ему никакихъ отступленій отъ ихъ міровоззрѣнія; что наша литературная *bohème* намегана лишь въ изготовленіи рекламъ собратів по цыганству да въ политическомъ глумленіи надъ всѣмъ, что подвергается подъ перо. Все это я знаю. Но, воображалось мнѣ, требовательность первыхъ—это погоня за идеаломъ, за художественнымъ совершенствомъ; вторые придирчивы — единственно по разстройству зрѣнія, оттого что изъ-за своихъ представленій не видятъ самой жизни; третьи зубоскалить просто изъ легкомыслія, поддерживаемого разнузданностью нашихъ литературныхъ нравовъ и довольно низкимъ вообще уровнемъ нашей беллетристики. И если, предъ ними выступитъ дѣйствительный художникъ, если на судъ ихъ выйдетъ дѣйствительно-замѣчательное произведеніе, они сумѣютъ наряду съ недостатками замѣтить и его достоинства, разглядѣть его жизненную правдивость, бросить свои цыганскія заманки...

Куда! Замѣчательное произведеніе и появилось: только какъ съ нимъ обоишься! Начала выходить *Анна Каренина* графа Л. Толстого, и слѣдовало бы придерживаться съ сужденіями о романѣ, котораго не окончена еще и первая половина. Но недаромъ нашъ вѣкъ — вѣкъ электричества и паровыхъ машинъ! „Поднялась суета“, свидѣтельствуетъ „Одесскій Вѣстникъ“, какой въ нашей журналистикѣ давно не бывало. Всѣ наперерывъ старались опередить другъ друга. Страницы романа проглатывались какъ устрицы, затѣмъ тутъ же переносились переваренными на столбцы газетъ. Или, говоря словами „Дѣла“ — „точно жадная саранча налетѣла на *Анну Каренину* представители современной газетной критики, и поѣдаютъ ее, такъ сказать, по частямъ съ безпримѣрной поспѣшностью“.

И если бы только „поѣдали“ и „не переваривали“! Если бы только сами не поняли *Анны Карениной* и не сумѣли

объяснить ея художественнаго и иного смысла публикѣ! Наши критики такъ ухватились за нее, что приурочили себя прямо къ отзывамъ г. Куррьера и Даргомыжскаго. Сентъ-Бѣвовъ и Густавовъ Платней что-то не оказалось: должно быть, ихъ не хватило на книгу, требующую серьезной критической силы. Оказалось... смотрите сами, что оказалось. Глѣбъ надобности вдаваться въ пересказъ содержанія *Анна Карениной*. Всякій образованный человекъ давно ее прочелъ; не знакомы съ нею, по выраженію *Journal des Débats*, уже посвятившаго роману графа А. Толстого особую рецензію, „лишь оригиналы да отъявленные невежды“: съблѣвательно, предельность отношенія къ нему нашихъ журнальных зоиловъ можетъ быть всякому понятна безъ излишнихъ обращеній къ самому тексту, находящемуся у всѣхъ въ памяти. Вотъ каково это отношеніе во всей его *наго-ошѣ*, нарочно употребляю это слово: цитаты докажутъ, что оно не преувеличено. *A tout seigneur tout honneur*: воздадимъ кесарево кесареви и начнемъ съ „Виржевыхъ Вѣдомостей“, гдѣ критическій отдѣлъ режигируется, по аттестации „Дѣла“, „признанными и опытными критиками“. Одинъ изъ этихъ *признанныхъ* (къмъ?) туторовъ, блюстителей и наставителей русской литературы, г. Заурядный читатель, очень великодушнѣе. Онъ „не принадлежитъ къ числу тѣхъ критиковъ-пуританъ, которые требуютъ, чтобы произведенія искусства были проникнуты серьезными гражданскими тенденціями“; онъ такъ добръ, что „не отвергаетъ въ искусствѣ изображенія любви и природы“; онъ не отказываетъ художнику даже въ правѣ изобразить все, что тотъ ни пожелаетъ: но терпимости своей онъ полагаетъ предѣлы, поставленный „азбучными истинами насчетъ значенія въ искусствѣ идеи“, какъ онъ выражается. Именно онъ чистосердечно позволяетъ, напримѣръ, художнику изображать, пожалуй, даже хоть „жранье“, лишь бы это „жранье“ имѣло какую-нибудь цѣль, лишь бы люди занимались имъ ради „какого-нибудь полезнаго дѣла“, или „какого-нибудь заявленія“, или, наконецъ, просто „сближенія“, ну тамъ кавалерійскаго офицера съ кокоткой что ли: но описывать просто

объѣдъ, какою бы мастерскою кистью ни была нарисована его картина, онъ не разрѣшаетъ. Точно также онъ позволяетъ воспроизводить природу, если съ этимъ воспроизведеніемъ художникъ соединяетъ какую-нибудь мысль, хоть о томъ, напримѣръ, „какъ вы въ первый разъ встрѣтились съ предметомъ вашей любви и какъ съ нимъ поцѣловались“: но просто открыть предъ глазами читателя пейзажъ, какъ бы велико ни было умѣнье показать его и какое бы духовное наслажденіе ни доставлялось его видомъ, онъ воспрещаетъ. Также еще онъ позволяетъ изображать любовныя отношенія и даже самыя пикантныя сцены сладострастья, если въ этихъ сценахъ „на первомъ планѣ“ раскрываются потрясающія или трогательныя драмы, иногда и трагедіи: иначе касаться любви онъ возбраняетъ. Такъ сказать, непосредственное изображеніе любви, какъ чувства, которое было, есть и будетъ вѣчнымъ двигателемъ человечества, следовательно, само по себѣ, въ своихъ движеніяхъ и проявленіяхъ, составляетъ неисчерпаемый матеріалъ для художника—имъ не допускается. На этомъ основаніи, такъ какъ *Анна Каренина* не подходитъ подъ измышленныя имъ правила творчества (въ ней-то нѣтъ драмы!), онъ и находитъ ее чуть не „омерзительною“... Даже „Дѣло“ и то не выдержало: хоть и считаетъ критика „Биржевыхъ Вѣдомостей“, какъ показано выше, „признаннымъ и опытнымъ“, тутъ же обозвало его, за его упражненіе надъ *Анной Карениной*, „недомысленнымъ quasi—реалистомъ“, который „исписался до истощенія, до тла“, говорить „благотолзости“, городить „критическій вздоръ“, печатаетъ „недоумную (?) болтовню“ и несетъ „взвизгивающія пошлости и наивности“.

Но вы ошибаетесь, если вообразите, что въ этомъ порицательномъ отзывѣ о рецензіяхъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ заключается заступничество за романа гр. Л. Н. Толстого, и что само „Дѣло“ относится къ нему съ меньшимъ литературнымъ ослѣпленіемъ и съ бѣлымъ критическимъ чутьемъ. „Дѣло“ воздвигаетъ на *Анну Каренину* гоненіе еще болѣе злобное, чѣмъ преслѣдованіе „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

Тѣ неодобрительно приняли романъ, по крайней мѣрѣ, на основаніи какихъ то своеобразныхъ эстетическихъ требованій: „Дѣло“ казнить его по особннымъ надо полагать, внешнимъ соображеніямъ. „Романъ *Анна Каренина*“, говоритъ дѣло, „кажется именно принадлежить къ числу произведеній, служащихъ знаменіемъ нравственнаго упадка извѣстной эпохи, и его прославленный авторъ относится именно къ числу художниковъ, способствующихъ пониженію нравственнаго уровня въ обществѣ“.

Почему такъ? спросите вы, пораженные этимъ неожиданнымъ открытіемъ. Потому, отвѣчаетъ „Дѣло“, что *Анна Каренина* есть „эпопея барскихъ амуровъ“ (будь это эпопея амуровъ мужицкихъ, дѣло другое: произведеніе графа Толстого, вѣроятно, было бы принято возвышающимъ нравственный уровень общества), и потому еще, что романъ „соблазнительнъ“ своею внутреннею безнравственностью“. Отмѣчу мимоходомъ забавное совпаденіе. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ первоначально одобрили *Анну Каренину* и даже подчеркнули ея художественныя достоинства. „Дѣло“ дало имъ за это, въ майской книжкѣ, жестокій нагоняй. Почтенная газета, какъ извѣстно, несколько не занеживающая въ нашихъ прогрессистахъ, не желающая брататься съ ними и гнушающаяся единомысліемъ съ ихъ убѣжденіями, жестоко перенуталась, и тотчасъ же, вмѣсто своего недавняго мнѣнія, выразила о романѣ мнѣніе „Дѣла“, почти его же собственными словами: „Графъ Л. Толстой отвѣтилъ на теперешній запросъ въ беллетристику полною внутреннею безсодержательности своею знаменитою эпопеею барскихъ и офицерскихъ амуровъ“.

Удивительный ensemble въ нашей журналистикѣ извѣстнаго оттѣнка! Одни затащуть, другіе непремѣнно подхватятъ. Прихвостень „С.-Петербургск. Вѣд.“ не исчерпалъ, впрочемъ, всего содержанія поданнаго ему сигнала. Онъ только внялъ въ тонъ, но не пропѣлъ всей пѣсни „Дѣла“, остальные куплеты которой такъ же интересны, какъ и сейчасъ приведенные. Романъ графа Толстого отличается чрезвычайнымъ богатствомъ внутренняго содержанія: при не слиш-

комъ большой сложности интриги — удивительнымъ книженіемъ, такъ сказать, жизни, пульсъ которой бьется на каждой страницѣ: „Дѣло“ говоритъ, что *Анна Каренина* „отличается невѣроятною, можно даже сказать, скандальною пустотою содержания“. Романъ графа Толстого изобилуетъ образами, нарисованными такъ мастерски и притомъ съ такимъ умѣніемъ воплотить ихъ во всей ихъ человѣчности, со всѣми оттенками и кажущимися противорѣчіями ихъ характера, что читатель никогда ихъ не забудетъ: „Дѣло“ говоритъ о нихъ: „безсодержательные образы безсодержательнаго существованія“. Въ романѣ графа Толстого целый рядъ сценъ глубокаго нравственнаго смысла и потрясающаго психологическаго интереса: „Дѣло“ или проходитъ ихъ молчаніемъ, или подсмѣивается надъ ихъ „трагизмомъ“, или трактуетъ ихъ цинически. Вообще, въ этомъ послѣднемъ отношеніи, „Дѣло“ отличалось какъ никогда, ничѣмъ и никто. Представьте себѣ, что оно серьезно увѣряетъ читателя, будто Вронскій былъ *влюбленъ* въ свою лошадь. — замѣьте, не любилъ лошадь охотничьею привязанностью наездника, спортсмена, но былъ *влюбленъ въ нее какъ въ женщину*, и будто графъ Толстой изображаетъ трагическую страсть его къ лошади параллельно со страстью его къ Аннѣ Карениной. „Биржевыя Вѣд.“ тоже додумались до этого самаго представленія (каково воображеніе у этихъ господъ!) и даже соображаютъ по его поводу, что „подобныя вещи случаются въ дѣйствительности“, что „некусство можетъ и не игнорировать подобнаго рода явленій жизни“, но что отъ нихъ все-таки „коробить“. Но, по крайней мѣрѣ, „Бирж. Вѣдом.“ на этомъ и останавливаются, тогда какъ „Дѣло“ идетъ дальше... (Слѣдуетъ выписка изъ „Дѣла“, май 1875 г., *Критическій фельетонъ*, стр. 40: „Если графъ Толстой захочетъ быть еще больше послѣдовательнымъ“..., кончающаяся словами: „Что же касается Навы, то эта герония“...).

„На этомъ „Дѣло“ останавливается, чтобы не предвосхитить слѣдующія части *Анны Карениной*. „Кто знаетъ“, говоритъ оно, „не увидимъ ли мы уже и въ этомъ романѣ

художественно-аналитическое изображеніе сельско-хозяйственныхъ вождей Ливина къ Павѣ, борющихся въ его душѣ съ супружескою любовью“... Это пишется о романѣ, каковъ графъ Левъ Толстой! И къѣмъ же это пишется? Критикомъ, котораго даже г. Петръ Боборыкинъ强烈推荐овалъ итальянцамъ такъ: „Стихонлетъ въ шутковскомъ родѣ, литературный ремесленникъ“.

Не знаю, продолжать ли: противно слѣдить за ползаніемъ всѣхъ этихъ таракашекъ... Но продолжать слѣдуетъ, потому что надобно показать, какія наѣдомыя начинаютъ прокрадываться въ щель уже и провинціальной печати, состязаясь отсюда съ петербургскими цѣнителями. Полюбуйтесь судомъ надъ *Анной Карениной* въ „Одесскомъ Вѣстникѣ“: „Въ этомъ романѣ все безцвѣтно, вяло: онъ очерчивается изображеніями усадительныхъ любовныхъ сценокъ, пѣжныхъ и расслабляющихъ мотивовъ жизни, уточеннаго и сытаго комфорта и возбудительной чувственности“. Или еще: „Ну не безцвѣтны ли, не безцѣльны ли, не вялы ли всѣ эти набившія оскомину изображенія усадительныхъ любовныхъ сценокъ, полныхъ уточенной, художественной и тѣмъ болѣе возбудительной чувственности! Читая графа Толстого, удивляешься, какъ этотъ могучій, оригинальный и весьма симпатичный талантъ не можетъ подняться хоть сколько нибудь выше ординарнаго и намоленного намъ глаза уровня психологическихъ наблюдений“. Или опять: „Безыдейность этого романа достигаетъ кульминаціоннаго пункта. Ыда, нитье, спанье, охота, балы, скачки и любовь, любовь и любовь въ самомъ голомъ смыслѣ этого слова, *не осложненная никакими психическими* актами, ни малѣйшимъ нравственнымъ интересомъ — вотъ начало и конецъ романа“. Позвольте еще представить вамъ „Донъ“, газету „экономическую, юридическую и литературную“, со слѣдующимъ приговоромъ: „Пяткою „Русскаго Вѣстника“ оказывается *Анна Каренина*“... „Предоставляемъ самому читателю судить объ этомъ пресловутомъ романѣ, весь успѣхъ котораго основанъ на фирмѣ, которую въ настоящее время далеко превзошли такіе романи-

сты, какъ, напримѣръ, Каразинъ (!) съ своимъ романомъ *„Съ свѣра на югъ“*... „Что находить хорошаго въ этомъ романѣ, интересно было бы знать: по моему, если ужъ бить на цинизмъ, такъ *„Благонамѣренный рыцъ“* Щедрина стоятъ несравненно выше *салонно-приторнаго* романа *Анны Каренины*“. Комментаріевъ не требуется: эти жемчужины сияютъ своимъ собственнымъ блескомъ и не нуждаются ни въ какой оправѣ.

Но экономическая, юридическая и литературная газета „Донъ“ стоитъ, впрочемъ, того, чтобы на ней приостановиться еще на минуту. Художественная объективность заключается въ томъ, чтобы автора не было видно изъ-за его героевъ. Авторъ не долженъ выдавать ни своихъ симпатій къ нимъ ни своихъ антипатій; долженъ рисовать ихъ такъ, чтобы они сами себя живьемъ показывали, чтобы они сами, ихъ поступки возбуждали въ читателѣ то или другое впечатлѣніе, а не авторъ подсказывалъ бы читателю отъ себя, какъ онъ приказываетъ къ нимъ относиться. Все это до такой степени общезвѣстно, что само даже „Дѣло“ знаетъ это. Даже „Дѣло“ буквально говоритъ: „Настоящій художникъ... показываетъ душу своего дѣйствующаго лица въ дѣйствіи, въ ея отношеніяхъ къ окружающей ее средѣ, однимъ словомъ, во всемъ, въ чемъ можетъ обнаружиться истинный характеръ человека“. Графъ Толстой такъ и поступаетъ. „Дѣло“, съ своей стороны, когда коснется графа Толстого, измѣняетъ имъ же самымъ установленному правилу, и обнаруживаетъ наклонность *корить* автора всякимъ изображаемымъ имъ лицомъ. Вронскій ситъ въ оперѣ — это не дополнительный штрихъ его характеристики, а провинность самого автора; Облонскій кутитъ — следовательно, авторъ уважаетъ людей подобнаго закала.

Но „Дѣло“ говоритъ это какъ-то перфшительно, несмѣло, лишь намекаетъ на это, какъ будто стѣняется высказать такой дикій упрекъ напрямки. „Донъ“ распоряжается въ этомъ отношеніи съ чисто-казацкою храбростью, и для достиженія своей цѣли притворяется даже *„plus bête que*

латинго“, какъ говорятъ французы. У Вронскаго, въ романѣ, люди дѣлятся на два совершенно противоположные сорта:

„Пошлые, глупые и, главное, смѣшные люди, которые вѣрують въ то, что одному мужу надо жить съ одною женою, съ которою онъ обвиняетъ, что дѣвушкѣ надо быть невинной, женщинѣ стыдливой, мужчинѣ мужественному, воздержному и твердому, что надо воспитывать дѣтей, зарабатывать свой хлѣбъ, платить долги и разныя тому подобныя глупости. *Они были сортъ людей старомодныхъ и смѣшныхъ.* Но были другой сортъ людей, настоящихъ, къ которому *они* все принадлежали, въ которомъ надо быть, главное, elegantнымъ, красивымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться всякой страсти, не красѣя, и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться“.

Первый сортъ людей „старомоденъ и смѣшонъ“, *по посылкамъ Вронскаго и его товарищей*, кто же этого не видитъ? А „Донъ“ прикидывается, будто считаетъ это мнѣнiе мнѣнiемъ самого автора, на него возлагаетъ отвѣтственность и съ негодованiемъ вопрошаетъ, приставляя знакъ вопросительный къ знаку восклицательному: „Что жъ это такое?!.. Дѣйствительно, что жъ это такое? После этого, если романистъ изображаетъ дѣйствiя или процессы мыслей игрока, онъ самъ игрокъ, разбойника онъ самъ разбойникъ? После этого, и г. Костомаровъ, описывая неистовства Юанна Грознаго—сочувствуетъ имъ; рисуя безчинства Кудеира, Окула и Урмана—подлежитъ за нихъ отвѣту?

Но возвратимся къ *Аннѣ Карениной*. Замѣчательно, что „Одесскій Вѣстникъ“ первоначально вовсе не относился къ ней такъ строго. Напротивъ, онъ отзывался о графѣ Толстомъ какъ о „глубокомъ аналитѣ человеческой души, тонкомъ знатокѣ самыхъ запутанныхъ душевныхъ моментовъ“, „окунающемся въ самые глубокiе тайники души человеческой и усмѣвающимъ подмѣчать ея явленiя среди царящей тамъ непроницаемой тьмы“; онъ ожидалъ отъ него „цѣлаго ряда типовъ, характеровъ, какими иькогда подарилъ древнiй мiръ Осеофрастъ“; онъ предостерегалъ кри-

тику, что если въ романѣ и будутъ замѣчены недостатки, то „ихъ должно указать безъ злораднанаго глумленія и безъ идейнаго зубоскальства“, и даже поставлять ей въ примѣръ солидарность литераторовъ во Франціи, гдѣ „несмотря на разнообразіе оттѣнковъ и направленій печати, чувствуется всегда присутствіе чего-то объединяющаго, желаніе воздать собрату должное, если не какъ человѣку своего кружка и лагерь, то какъ Французу, принадлежащему къ той же корпораціи умственнаго труда“; гдѣ „поклоненіе національной славы не звукъ пустой, и гдѣ допросите любого клерикала, напримѣръ, или реакціонера хоть о В. Гюго— что бы онъ о немъ ни высказалъ, онъ кончитъ тѣмъ, что признаетъ его крупнымъ національнымъ достояніемъ, и сниметъ шапку“. Графъ Толстой и подарилъ цѣлый рядъ типовъ и сценъ, въ которыхъ именно выказалъ мощь своего творчества и глубину своего анализа: возьмемъ хоть Кити, Левина, это воплощеніе естественнаго обожанія народа, возьмемъ удивительную въ своей, такъ сказать, комической трагичности личность Каренина, возьмемъ этого великодушнаго, добродушнаго русскаго барина, которому такъ жутко въ Европѣ; возьмемъ сцену паденія Анны, ея сонъ, объясненіе съ мужемъ, признаніе Вронскому въ беремености... Тутъ ли не показали себя знатоки самыхъ запутанныхъ душевныхъ движеній? Отчего же тотъ же самый „Одесскій Вѣстникъ“ ровно черезъ мѣсяць уже скучаетъ, какъ мы видѣли, психологическими наблюденіями, отказываетъ автору въ умѣніи „осложнять дѣйствіе психологическими актами“, Левина называетъ „зауряднымъ филистеромъ“ и приглашаетъ читателя „указать ему хоть одну страницу, хоть полстраницы, на которой было бы присутствіе хоть какой-нибудь идейки или воззвѣдки“? Отчего это? Изъ-за чего все это бѣснованіе нашей „либеральной“ печати?

А вотъ изъ-за чего. Изъ-за того, что графъ Толстой „не выбился изъ узкой колеи и тѣсныхъ рамокъ“ наблюденія надъ великосвѣтскою жизнью; изъ-за того, что онъ взялъ своихъ героевъ изъ „среды обезнеченнаго достоянства“, изъ-за того, что онъ при этомъ не обезножился „роковыми

думами и страданіями вѣка“ и не замѣтить „общественнаго движенія нашего времени“; изъ-за того, что онъ заставилъ „Левина“ заниматься хозяйствомъ не какъ определенною работою, которою онъ долженъ поддерживать свое существованіе“, „не какъ суровымъ трудомъ“, и изъ-за того, наконецъ, что онъ осмѣлился вывести настоящаго русскаго демократа Крицкаго, да показать нравственную потерянность подчиняющагося ему Николая Левина, вмѣсто того чтобы возвести этого послѣдняго въ доблестные герои Кряжева изъ *Села Смурина*. Самъ виноватъ графъ Левъ Толстой. Ему бы сочинить какое-нибудь упражненіе, въ родѣ *Пирсеговъ Картинокъ* новаго беллетриста г. Мачета, въ каковыхъ картинкахъ толстый, красный и подлый фабрикантъ не отдастъ бѣднымъ, блѣднымъ и прекраснымъ фабричнымъ заработанныхъ ими денегъ, при чемъ дочери его ругательски ругаютъ несчастныхъ, а въ заключеніе являются свирѣпыя солдаты („Отечеств. Записки“, июль 1875); сочинить бы ему что нибудь въ такомъ раздражительномъ и наводящемъ на размысленіе родѣ, — и самъ „Одесскій Вѣстникъ“, который, хотя о моршанскомъ бѣдствіи и не распространился, такъ что пожертвованій пострадавшему тамъ народу по 19-е іюня собрали всего 14 р., но который, какъ извѣстно, обожаетъ „героевъ колоссальнаго труда и колоссальной энергіи, выковывающихъ достойное человѣка будущее общество“, обожаетъ своихъ меньшихъ братьевъ, и „стыдится своихъ культурныхъ друзей“, — тогда и самъ „Одесскій Вѣстникъ“ поглядѣлъ бы его по головкѣ. А то возмѣтся „со средою обезпеченнаго довольства“!.. *Ифигія*, какъ выражаются измышленныя г. Мачетомъ барышни.

Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ 1875 г.

Статья Странника.

\* \* \*

\*) Давно и нетерпѣливо ожидавшійся новый романъ графа Толстого нѣсколько мѣсяцевъ уже жадно читается всею образованною и полуобразованною русскою публикой. Интересъ, возбужденный этимъ произведеніемъ несомнѣнъ: повсюду слышатся толки о немъ, все спрашиваютъ друга друга: читали вы? Даже люди, по выраженію одного нашего писателя, „нѣсколько беззаботные на счетъ литературы“ — и тѣ на этотъ разъ измѣнили своему уметственному воздержанію. Романъ еще далеко не оконченъ, но впечатлѣніе уже начинаетъ слагаться, хотя и не вноситъ однородное. Люди, литературный вкусъ которыхъ развитъ настолько, что для нихъ задача художественнаго произведенія совершенно ясна, приходятъ отъ *Анны Карениной* въ положительный восторгъ, и съ наслажденіемъ слѣдятъ за всеми перипетіями тонко развитой и превосходно воспроизведенной драмы. Не все страницы романа въ одинаковой степени заслуживаютъ ихъ безусловное одобреніе, но иначе и не можетъ быть, когда приходится повѣрить въ себя цѣлую массу впечатлѣній, вынесенныхъ изъ произведенія такого значительнаго объема. Однакоже читателей, стоящихъ на высотѣ оцѣниваемаго произведенія, немного. Продолжительный литературный упадокъ сильно испортилъ вкусъ публики; и, къ сожалѣнію, искаженіе замѣчается всего болѣе не въ той подспудной средѣ, которая мало привыкла давать себѣ отчетъ въ прочитанномъ, но въ средѣ присяжныхъ цѣнителей, обращающихся къ литературнымъ произведеніямъ съ извѣстными болѣе или менѣе определенными требованіями. Мы, конечно, не говоримъ о тѣхъ ревнителяхъ „новыхъ идей“, для которыхъ безусловно противно всякое художественное произведеніе и заранѣе безынтересна всякая драма, развивающаяся не въ кругу мастеровыхъ и причетниковъ. О такихъ читателяхъ можно только пожалѣть, но справиться съ ихъ литературными впечатлѣніями было бы излишне. Нѣтъ, мы имѣемъ въ виду такихъ цѣнителей, которые го-

\*) „Русскій Вѣстникъ“ 1875 г., № 5. Статья А. (В. Г. Ахленко), подзаглавіемъ: „По поводу новаго романа гр. Толстого“.

товы отнестись къ произведенію безъ предвзятаго непониманія, которые считаютъ себя охотниками до художественныхъ наслажденій, которые искренно восхищались *Войной и Миромъ*, *Калашники*, *Севастопольскимъ Разсказомъ*, и въ настоящее время столь же искренно восхищаются нѣкоторыми отдѣльными главами и эпизодами *Анны Карениной*. У этихъ читателей успѣхъ послѣдняго романа не полонъ. Упрекъ, съ которымъ они обращаются къ автору — тотъ, что содержаніе романа слишкомъ вседневное, что оно не поднято до какой-то чрезвычайной высоты, на которой они ожидали его видѣть. Они находятъ, что талантъ автора слишкомъ привязанъ къ подробностямъ, что слишкомъ много его потрачено на мелочную отдѣлку такихъ характеровъ и явленій жизни, которые сами по себѣ не представляютъ достаточнаго интереса. Они рѣшаются, наконецъ, сказать, что въ романѣ не чувствуется ни подъема авторской мысли ни подъема изображаемой жизни, и что эта жизнь вообще ниже современной дѣйствительности и удалена отъ ея задачъ и интересовъ. Таковъ самый общій смыслъ впечатлѣнія, сложившагося у извѣстной доли читателей, которыхъ нельзя назвать предубѣжденными ни противъ художественной литературы вообще ни противъ таланта графа А. Н. Толстого.

Не входя въ оцѣнку этого впечатлѣнія, мы должны сказать, что во всякомъ случаѣ видимъ въ немъ хорошій признакъ. Онъ свидѣтельствуетъ, что въ нашей публикѣ, такъ долго пробавлявшейся и довольствовавшейся безсодержательными бытовыми картинками и сценками, начинаютъ вообще слагаться болѣе серіозныя требованія: что она тяготеетъ скудостью внутренняго содержанія нашей литературы, что она хотѣла бы видѣть литературу не внизу, а на верху дѣйствительной жизни. Но обращаясь въ частности къ настоящему случаю, мы не можемъ устраниваться отъ вопроса: понятны ли эти требованія въ ихъ дѣйствительномъ, истинномъ смыслѣ, и нѣтъ ли тутъ нѣкотораго не сознаваемого недоразумѣнія, портящаго дѣло?

Надъ этимъ вопросомъ необходимо остановиться.

Возможна двойкаго рода содержательность художественнаго произведенія: художественное произведение можетъ имѣть дѣло съ вопросами и интересами присутствующими въ данную минуту въ жизни общества, и можетъ точно также имѣть дѣло съ чисто-внутреннею жизнью человѣка. Каждый человѣкъ болѣе или менѣе живетъ этими двумя жизнями, и какъ бы ни были близки его связи съ обществомъ, сколько бы ни поглощали его общественные интересы и задачи, за всѣмъ тѣмъ въ немъ есть своя частная внутренняя жизнь, глубина и ширина которой зависятъ отъ его интеллектуальнаго уровня, темперамента, натуры и т. д. Разграничить вполнѣ эти двѣ области трудно, но во всякомъ художественномъ произведеніи одна изъ нихъ преобладаетъ надъ другой. Вкусы современной публики, а вмѣстѣ съ тѣмъ и литературы, склоняются въ пользу первой. Намъ кажется, что только то произведение интересно и содержательно, въ которомъ затрогиваются такъ-называемыя общественныя задачи, ставятся и разрѣшаются такъ называемые „вопросы“. Въ этомъ элементѣ мы ищемъ той правой приправы, безъ которой литературное произведение представляется намъ прѣснымъ. Но если таковы господствующіе въ данную минуту вкусы, это еще не значитъ, что удовлетвореніе имъ обязательно для современнаго романиста. Помимо интересовъ общественныхъ, жизнь представляетъ и другіе, съ такимъ же правомъ входящіе въ область художественнаго творчества. Не однѣ только общественныя формы заслуживаютъ вниманія, но и тѣ условія, подъ давленіемъ которыхъ человѣкъ живетъ своею внутреннею жизнью. Последнія для романиста - художника представляютъ даже болѣе обширный матеріалъ. Культурныя начала разлитыя въ общество, идеалы въ немъ присутствующіе или отсутствующіе, семейныя отношенія, формы общежитія, явленія повседневной жизни, — словомъ, все то, что опредѣляетъ общественныя и частныя *привычки* въ данную эпоху — все это составляетъ законное достояніе романиста, и если онъ потратилъ на него свой художественный талантъ, свою наблюдательность, мы, конечно, не виравъ будемъ на-

звать его произведение безсодержательнымъ потому только, что въ немъ не фигурируютъ земскіе дѣатели, желѣзнодорожные тузы и присяжные повѣренные. Общественность есть только форма, получающая свою жизнь, содержаніе отъ правовъ общества и условій индивидуальнаго развитія, подъ которыми живетъ частный человѣкъ. Безъ сомнѣнія, высшій интересъ романа можетъ показаться намъ значительнѣе, когда мы встречаемъ въ числѣ его героевъ такихъ лицъ, которыя движутся на поверхности общественной жизни, наполняютъ ее высшими фактами, занимаютъ собою столбцы газетъ и т. д. Но достиженіе высшаго интереса, конечно, не составляетъ главной задачи художественнаго произведенія. Интимная, не влияющая на поверхность жизнь общества всегда полна серьезнаго и глубокаго интереса. Чтобы изобразить и освѣтить эту жизнь такъ, какъ это сдѣлалъ графъ Толстой, требуется не одинъ только художественный талантъ, но и большая сила мысли. Только эта мысль не носится надъ поверхностью романа, она большею частью лежитъ на днѣ его: выясняется лишь тогда, когда читатель серьезно и глубоко вникаетъ въ смыслъ тѣхъ отношеній, въ какія авторъ ставитъ дѣйствующихъ лицъ романа, въ тѣ внутреннія задачи, съ которыми борются его герои.

Въ самой основѣ романа лежитъ идея, которую, конечно, нельзя назвать мелкою или безынтересною. Это не новый, но тѣмъ не менѣе все еще остающійся открытымъ вопросъ о любви между мужчиною и женщиною, не имѣющими возможности вступить въ бракъ, потому что одна изъ сторонъ уже находится въ бракѣ. Авторъ, повидимому, намѣренъ глубоко исчерпать эту идею, или эту задачу, въ своемъ произведеніи. До сихъ поръ она уже дважды предлагается вниманію читателя. Романъ начинается съ того, что Долли Облонская обнаруживаетъ невѣрность своего мужа. За этой прелюдіей, какъ бы представляющей тему романа en miniature, въ ея простѣйшей формѣ, раскрывается главная драма, построенная на томъ же мотивѣ. Анна Каренина, замужняя женщина, влюбляется въ Вронскаго, и послѣ на-

пряженной борьбы съ своею страстью, уступаетъ ей давлению. Тема, какъ мы сказали, та же, но партитура распределена между главными сюжетами труппы, драма находитъ сдѣсь свой центръ и обѣщаетъ болѣе полное и сложное развитіе. Романъ еще не оконченъ въ печати, и потому нельзя судить о томъ, какимъ образомъ авторъ разрѣшаетъ вопросъ. Да и дѣло не въ томъ. Намъ всегда казалось, что разрѣшеніе подобныхъ вопросовъ, то - есть указаніе разумнаго и примирительнаго исхода изъ жизненныхъ затрудненій не входитъ въ задачу беллетристическаго произведенія. Если-бы романисты могли легко распутывать такіе Гордиевы узлы, жизнь распутала бы ихъ еще ранѣе. Но вопросы, подобные тому, который легъ въ основу романа *Анна Каренина*, въ жизни разрѣшаются лишь насильственнымъ образомъ. Всѣ попытки найти этимъ неразрѣшимымъ вопросамъ какое-либо практическое рѣшеніе — чѣмъ часто занимаются французскіе пубелисты и драматическіе писатели — обыкновенно ни къ чему не приводятъ. Задача художественнаго произведенія заключается въ настоящемъ случаѣ не въ томъ, чтобы явиться на помощь жизни съ готовою развязкой для ея проблеммъ, а въ томъ, чтобы анализовать явленіе жизни, дать почувствовать его трагизмъ, его безысходность. И мы видимъ, что обиліе красокъ, положенныхъ графомъ Толстымъ на обаятельный образъ героини, богатство пѣжныхъ, такъ-сказать, интимныхъ оттѣнковъ, которыми авторъ рисуетъ главныя сценуціи романа — все это потрачено на то, чтобы ввести изображаемую драму въ самую глубину жизни, облечь ее тѣми дѣйствительными признаками, которые не оставляютъ въ читателѣ ни малѣйшаго сомнѣнія въ ея полной реальности. На художественную разработку этихъ признаковъ потрачено въ романѣ чрезвычайно много ума, таланта, наблюдательности; нельзя не удивляться тонкому, ничего не забывающему анализу, которымъ какъ лучами свѣта пронизана вся эта жизнь, снутавшаяся въ такіе крѣпкіе узлы. Можно ли сказать, что эти затраты сдѣланы непроизводительно, что онѣ не даютъ роману внутренняго содержанія, потому что онъ остается чуждъ такъ - называ-

емых „общественныхъ вопросовъ“ и интересовъ дня? Безъ сомнѣнія, такъ могутъ говорить только люди, которые живутъ лишь тѣмъ, что носится вокругъ нихъ по вѣтру. Интимная жизнь человѣческаго сердца, обставленная явлениями повседневной дѣйствительности, всегда давала и будетъ давать художественной литературѣ наибольшую и лучшую часть ея содержанія. Это въ особенности понятно для русской публики, потому что въ нашей беллетристикѣ попытки чисто-тенденціознаго романа весьма рѣдко были удачны, и въ большинствѣ случаевъ такъ-называемые „носители общественныхъ идей“, попадая въ герои романа, являлись или карикатурами на что-то грандіозное, или безличными и безцвѣтными манекенами, разукрашенными кое-какими журнальными тенденціями. Если мы сравнимъ совершенно частную, интимную исторію Анны Карениной съ тѣми похождениями якобы гражданскаго и политическаго характера, которыми любятъ украшать жизнь своихъ героевъ беллетристы новаго склада, мнящіе выводить на сцену общественныхъ дѣятелей, мы должны будемъ согласиться, что эта частная исторія Анны Карениной — не говоря уже о томъ, что она въ тысячу разъ лучше рассказана — гораздо интереснѣе и даже содержательнѣе беллетристическихъ экспериментовъ съ русскими Лассаллами и прочими „новыми людьми“. И она потому именно интереснѣе и содержательнѣе ихъ, что самыя мельчайшія подробности ея полны жизни и дѣйствительности, тогда какъ „новые люди“ живутъ и дѣйствуютъ въ пустотѣ, населенной тенденціозными призраками.

Намъ случалось, однако, слышать отъ тѣхъ, которые вполне понимаютъ художественную реальность *Анны Карениной*, другого рода упрекъ роману. Отдавая автору справедливость въ томъ, что онъ вездѣ остается безусловно вѣренъ жизни, эти судьи готовы сѣтовать на самую жизнь, и въ особенности на среду, въ которой вращается дѣйствіе романа. Имъ кажется, что изъ всей ширины и глубины современной жизни авторъ захватилъ наименѣе живую и дѣятельную ея часть, что изъ различныхъ слоевъ современ-

наго русскаго общества онъ избралъ тотъ слой, который дальше другихъ стоитъ отъ общаго движенія. Въ самомъ дѣлѣ, признаки наиболѣе характеризующіе современную жизнь въ ея послѣдней, сегодняшней формѣ, играютъ очень небольшую роль въ романѣ. На сценѣ, какъ мы говорили уже, нѣтъ ни мировыхъ судей, ни присяжныхъ повѣренныхъ, ни концессионеровъ и директоровъ акціонерныхъ обществъ. Одинъ только Константинъ Левинъ пробовалъ служить въ земствѣ, да и тотъ бросилъ, и проба эта, очевидно, была ошибкой съ его стороны. Если мы будемъ обращать вниманіе не на общій тонъ и колоритъ романа, а на его вѣншее, фактическое содержаніе, то, за исключеніемъ кое-какихъ маловажныхъ, побочныхъ подробностей, ничто не укажетъ намъ, должны ли мы отнести дѣйствіе романа къ настоящему времени или къ пятидесятымъ и даже сороковымъ годамъ. Въ одной газетной рецензій намъ случилось даже прочесть, будто большая часть дѣйствующихъ лицъ въ новомъ романѣ — тѣ же самыя лица, которыхъ мы видѣли въ *Войнѣ* и *Мирѣ*; такимъ образомъ, дѣйствіе романа оказывается возможнымъ отодвинуть еще далѣе. Ниже мы еще вернемся къ этой наивной претензій газетнаго рецензента; теперь же слѣдуетъ нѣсколько остановиться на общемъ вопросѣ: что такое среда, воспроизведенная графомъ Толстымъ въ его новомъ романѣ, и въ какомъ отношеніи стоитъ она къ современной дѣйствительности, т.-е. къ тому, что фигурируетъ на поверхности современной жизни, наполняя собою столбцы газетъ, судебныя дѣтошисы, протоколы земскихъ и акціонерныхъ собраній и т. д.?

Прежде всего мы видимъ, что это та же самая среда, изъ которой взяты почти все прежнія произведенія графа Толстого. У насъ въ настоящее время она называется „аристократическою“. Мы говоримъ „въ настоящее время“, потому что прежде она считалась просто дворянскою образованною средою. Но нынче понятія наши во многомъ измѣнились. Казалось бы, во времена крѣпостного права и прочихъ сословныхъ прерогативъ, русское дворянство скорѣе, чѣмъ теперь, могло напоминать, въ слабой степени, нѣчто

подобное тому, что въ западной Европѣ соединится съ понятіемъ объ исторической аристократіи. Однако масса помѣстнаго дворянства, владѣвшая крѣпостными душами и сосредоточивавшая въ своихъ рукахъ всю силу, все богатство, всю образованность и всю жизнь страны, вовсе не казалась и не считалась „аристократіей“. Это было просто хорошее, образованное общество, усвоившее себѣ европейскія формы общежитія, хотя нравы его иногда еще отличались вовсе не европейскою грубостью. Но вотъ дворянство утратило свои сословныя прерогативы, совершился въ огромныхъ размѣрахъ переходъ матеріальныхъ богатствъ изъ рукъ дворянъ въ постороннія руки. Вместе съ тѣмъ у насъ заговорили объ аристократіи. Мы придаемъ слову „аристократія“ такое значеніе, какого, конечно, не найдемъ ни въ одномъ европейскомъ словарѣ. И однакожь мы постоянно слышимъ это слово, намъ постоянно указываютъ аристократовъ. Кого же называютъ этимъ именемъ?

Подъ словомъ „аристократъ“ у насъ принято разумѣть преимущественно свѣтскаго человека. Если кто-нибудь являетъ вѣдущіе признаки свѣтскости, да вдобавокъ владѣть наследственными независимыми средствами, то, значить, онъ аристократъ. Если онъ или его родня занимаютъ при этомъ значительное общественное положеніе, то аристократическія свойства такого лица не подлежатъ уже ни малѣйшему сомнѣнію. Въ столицахъ, гдѣ понятіе вообще болѣе формируется на европейскій ладъ, еще существуетъ нѣкоторая разборчивость при выдачѣ такихъ дипломовъ: чѣмъ дальше отъ большихъ центровъ, тѣмъ требованія становятся ограниченнѣе, и можно попасть, наконецъ, въ такіе закоулки, гдѣ аристократомъ считается всякій умѣющій изъясняться по-французски.

Такимъ образомъ, наше аристократическое общество есть собственно свѣтское общество, и главнымъ признакомъ аристократизма являются у насъ извѣстныя формы общежитія, сирѣчь дружныя другими общественными слоями и кругами.

Съ такимъ признакомъ является и среда, изображенная графомъ Толстымъ въ его новомъ романѣ. Дѣйствующія

лица этого романа — „аристократы“, по понятіямъ нашей критики и значительной части нашего общества. Откуда же вышло это опредѣленіе? Конечно, не оттого, что мужъ Анны Карениной занимаетъ важное служебное мѣсто, что Константинъ Левинъ имѣетъ свою деревню, что Вронскій служить въ гвардіи, что Облонскій предѣдаетъ въ какомъ-то присутствіи. Главный признакъ заключается въ правахъ этой среды, въ образѣ жизни, въ усвоенныхъ формахъ общежитія. Эти люди живутъ въ свѣтѣ, ѣздятъ на балы и принимаютъ у себя извѣстный кругъ столичнаго общества, тратятъ деньги на извѣстную обѣтановку: обѣтановка въ особенности играетъ здѣсь чрезвычайно важную роль. Этого достаточно, чтобы видѣть въ нихъ „аристократовъ“, прилагая, конечно, этому слову нѣсколько проницескій смыслъ. Между тѣмъ очевидно, что если извѣстная среда отличается только болѣе или менѣе свѣтскимъ образомъ жизни и нѣкоторою требовательностью относительно вѣнскихъ приличій, — такую среду странно разсматривать, какъ какую-то корпорацію, выделяющуюся изъ общественной массы своей политической программой или своими социальными привилегіями. Понятно, что такая среда одинаково не представляетъ достаточныхъ оснований ни для того, чтобы стоять наверху національной жизни, ни для того, чтобы возбуждать серіозное чувство соперничества и тѣмъ болѣе вражды со стороны другихъ классовъ. Много изъ того, чѣмъ эта среда въ настоящее время отличается, у насъ какъ и вездѣ болѣе и менѣе обязательно для каждаго образованнаго челоука. Въ Англіи самый маленькій клеркъ или даже фермеръ старается быть джентльменомъ, и одно изъ важнѣйшихъ завоеваній цивилизаціи заключается именно въ томъ, что понятія, соединяемые со словомъ „джентльменъ“, сдѣлались достояніемъ общественныхъ массъ.

Намъ, кажется, что мы подошли къ одному изъ главныхъ источниковъ недоразумѣнія, возникшаго между читателями и авторомъ *Анны Карениной*. Дѣйствующія лица этого романа являются несомнѣнно людьми свѣтскими. Свѣтская среда — это нѣчто такое, къ чему наша журналистика

привыкла относиться пренебрежительно. Съ другой стороны, эта среда такъ рѣдко фигурируетъ въ нашей литературѣ. Внешніе признаки ея такъ мало примелькались, что рѣзко бросаются въ глаза. За этими внешними признаками значительная доля читающей публики не замѣчаетъ, если авторъ показываетъ ей нечто другое, гораздо болѣе заслуживающее вниманія. Такъ случилось и съ *Анной Карениной*. Всѣ замѣтили, что романъ выводитъ на сцену свѣтскую среду, но не всѣ дали себѣ трудъ проникнуть, что свѣтскость составляетъ лишь внешний ея признакъ, за которымъ гайтся нѣкоторое весьма цѣнное содержаніе. А между тѣмъ такое содержаніе несомнѣнно существуетъ, и авторъ чрезвычайно искусно даетъ его почувствовать. Въ этомъ складѣ жизни, которымъ живутъ три московскія дворянскія семьи — Связей Щербацкихъ, Обленскихъ и Левиныхъ, очевидно, сохраняется не одинъ только внешний декорумъ, но и нѣчто иное — сохраняются извѣстные преданія, извѣстный уровень цивилизованныхъ нравовъ, уваженіе къ извѣстнымъ принципамъ, и въ особенности чрезвычайное уваженіе къ человеческой личности. Въ этомъ складѣ жизни чувствуется нѣкоторая наследственность культуры, чего вообще недостаетъ нашему обществу. Все это особенно хорошо объяснено и высказано въ тѣхъ строкахъ, которыми авторъ опредѣляетъ отношенія Константина Левина къ семейству князя Щербацкаго, и которыя мы здѣсь напомнимъ читателямъ: Дома Левиныхъ и Щербацкихъ были старые дворянскіе московскіе дома, и всегда были между собою въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Онъ вмѣстѣ готовился и вмѣстѣ поступилъ въ университетъ съ молодымъ княземъ Щербацкимъ, братомъ Долли и Кити. Въ это время Левинъ часто бывалъ въ домѣ Щербацкихъ и влюбился въ домъ Щербацкихъ. Какъ это ни странно можетъ показаться, но Константинъ Левинъ былъ влюбленъ именно въ домъ, въ семью, въ особенности въ женскую половину семьи Щербацкихъ. Самъ Левинъ не помнилъ своей матери, и единственная сестра его была старше его, такъ что

въ домѣ Щербацкихъ онъ въ первый разъ увидать ту самую среду стараго дворянскаго, образованнаго и честнаго семейства, которой онъ былъ лишенъ смертью отца и матери. Всѣ члены этой семьи, въ особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завѣсой, и онъ не только не видѣлъ въ нихъ никакихъ недостатковъ, но подъ этою поэтическою покрывавшею ихъ завѣсой предполагалъ самыя возвышенныя чувства и всевозможныя совершенства. Авторъ продолжаетъ анализовать это обаяніе, производимое на Левина домомъ Щербацкихъ. Источники и причина обаянія лежали во всемъ строѣ жизни, царствовавшемъ въ домѣ, въ подробностяхъ и мелочахъ, составлявшихъ его ежедневный бытъ. Левинъ и не отдавалъ себѣ отчета, почему всѣ эти подробности входили въ жизнь семьи, но его плѣняло то, что эти подробности были выработаны всемъ образованнымъ стародворянскимъ кругомъ, и каждый домъ, принадлежавшій къ этому кругу, считалъ ихъ какъ бы обязательными: это были бытовые преданія того слоя, который явился на нашей почвѣ первымъ воспріимникомъ европейской цивилизаціи и культуры. „Всего этого онъ не понимаетъ, говоритъ авторъ про Левина, — но знаетъ, что это такъ нужно, что прекрасно, и былъ влюбленъ именно въ эту таинственность совершавшагося“. Надо вспомнить, что самъ Левинъ вовсе не свѣтскій человекъ, и терять не могъ внѣшнихъ признаковъ свѣтскости; слѣдовательно, то, что его плѣняло въ домѣ Щербацкихъ, вовсе не заключалось во внѣшнемъ декорумѣ ихъ барской жизни. Его плѣняло внутреннее содержаніе этой жизни, вѣніе преданій и наслѣдственной культуры. И не на одного Левина домъ Щербацкихъ производилъ это освежающее, обаятельное впечатлѣніе. Вронскій — человекъ уже потерявшійся въ большомъ петербургскомъ свѣтѣ, человекъ гораздо болѣе охлажденный и въ особенности гораздо болѣе самообожняющій, испытываетъ то же самое. Авторъ позволяетъ заглянуть въ его впечатлѣнія, когда онъ возвращается послѣ вечера у Щербацкихъ; и хотя эти впечатлѣнія главнымъ образомъ привязаны къ Кити.

но чувствуется, что не одна Кити участвует въ нихъ, что обаяніе наполняющее Вронскаго онъ вдохнулъ вмѣстѣ съ воздухомъ, царствующимъ въ гостиной Щербацкихъ. „То и предестно, думать онъ возвращаясь отъ Щербацкихъ и вынося отъ нихъ какъ и всегда пріятное чувство чистоты и свѣжести... то и предестно, что ничего не сказано ни мной ни ею, но мы такъ понимали другъ друга въ этомъ невидимомъ разговорѣ взглядовъ и интонацій, что нынче лучше, чѣмъ когда-нибудь, она сказала мнѣ, что любить. И какъ мило, просто и главное доверчиво! Я самъ себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце, и что во мнѣ много хорошаго... И онъ задумался о томъ, гдѣ ему кончить нынешній вечеръ. Онъ прикинулъ воображеніемъ мѣста, куда онъ могъ бы ѣхать. Клубъ? партія бѣзика, шампанское съ Платовыми? Нѣтъ, не поѣду. *Château des fleurs*, тамъ панцу Облонскаго, куплеты, саисан; нѣтъ, надоѣло. Къ ней? Нѣтъ, къ ней-то ужъ ни въ какомъ случаѣ нынче. Вотъ именно за то я люблю Щербацкихъ, что самъ лучше дѣлаюсь. Поѣду домой“.

Объ этомъ обаятельномъ впечатлѣніи Вронскій говорилъ на другой день Облонскому: „признаться, мнѣ такъ было пріятно вчера послѣ Щербацкихъ, что никуда не хотѣлось“...

Обаяние этой жизни сопровождаетъ читателя на всѣхъ страницахъ, гдѣ выступаетъ семейство Щербацкихъ. Сама Кити, съ ея чистою, наивною и иногда наивно-безпомощною предестью—лучшій продуктъ этой жизни, сохранившей преданія стараго семейнаго воспитанія, преданія, все болѣе и болѣе исчезающія въ наше время. Дѣство, проведенное въ честной, любящей семейной средѣ, старые приемы свѣтскаго воспитанія, неторопливо ведущіе дѣвушку чрезъ всѣ заповѣдныя фазы ея развитія, тонъ высшей порядочности, господствующій въ домѣ все это положило на Кити печать обаятельной женственной чистоты, и она выступаетъ въ романѣ въ лучахъ свѣта, совершенно не похожая на барышень повѣйшей формаціи, прошедшихъ чрезъ открытыя учебныя заведенія, публичныя лекціи, консерваторіи и

развивательныя бесѣды блестящихъ тетусекъ и кузинъ, идущихъ „наравнѣ съ вѣкомъ“. Этими именно сторонами своей индивидуальности такъ неотразимо дѣйствовала Кити на Константина Левина, переноса его „въ волшебный міръ, гдѣ онъ чувствовалъ себя умилненнымъ и смягченнымъ, какимъ онъ могъ запомнить себя въ рѣдкіе дни своего ранняго дѣтства“. Мы не знаемъ ничего плѣнительнѣе въ этомъ отношеніи небольшой сцены на каткѣ, въ первой части романа: въ разговорѣ между Кити и Левинымъ столько чуткости, столько целомудренной впечатлительности къ каждому оттенку слова и чувства, что для большинства современныхъ читателей, мы полагаемъ, смыслъ этой сцены надо считать почти потеряннымъ. Да и вообще вся та внутренняя сторона жизни, которою живутъ Щербаськіе, Левины, Облонскіе, все то обаяніе, которымъ облекъ авторъ эту жизнь и взаимныя отношенія этихъ лицъ между собою, почувствованы, вѣроятно, весьма немногими. Но крайней мѣрѣ то, что мы встрѣтили въ печатныхъ отзывахъ о романѣ графа Толстого, только подтверждаетъ наше предположеніе. Критика или прошла мимо этой стороны, изображаемой авторомъ дѣйствительности, или не скрыла своего неудовольствія зачѣмъ ее хотѣть въ такомъ обаятельномъ свѣтѣ показать читателю, тогда какъ она заранѣе осуждена всемъ теченіемъ „новыхъ идей“ и новыхъ вкусовъ. Въ одной газетной рецензій мы даже встрѣтили сѣтованіе, зачѣмъ авторъ даетъ такъ мало мѣста Николаю Левину и его подругѣ жизни, тогда какъ эти два лица, по мнѣнію рецензента, самыя интересныя во всемъ романѣ...

Заговоривъ о дѣйствующихъ лицахъ *Анны Карениной*, нельзя обойти молчаніемъ страшный упрекъ, дѣлаемый автору за то, будто эти лица по большей части представляютъ лишь повтореніе героевъ и героинь *Войны и Мира*. Здѣсь опять оказалось крайнее непониманіе среды, выведенной въ обоихъ произведеніяхъ, даже непониманіе общихъ условій жизни. Новые люди явятся съ каждымъ новымъ поколѣніемъ лишь въ томъ летучемъ слоѣ общества, который лишень всякой внутренней жизни и представляетъ нѣчто въ

родѣ открываго пустого сосуда, свободно наполняемаго всякимъ теченіемъ. Въ этомъ слѣѣ, преимущественно знакомомъ нашей литературѣ, дѣйствительно характеры и типы формируются по покрою послѣдней журнальной идеи и вбираютъ въ себя все то, что носится по вѣтру. Но въ нашемъ обществѣ, несмотря на всю его расшатанность и распущенность, существуетъ нѣчто болѣе содержательное и устойчивое, чѣмъ этотъ летучій слой. Среда выведенная въ *Войнѣ и Мирѣ* и въ *Аннахъ Карениной* (это одна и та же стародворянская, московская среда) имѣетъ свою собственную жизнь, свои историческія и бытовыя преданія, представляющія значительный отпоръ новымъ теченіямъ. Она вбираетъ въ себя изъ нихъ то, въ чемъ дѣйствительно выражается поступательное движеніе цивилизаціи, но отвергаетъ все враждебное тѣмъ культурнымъ началамъ, на которыхъ эта среда въ правѣ смотрѣть какъ на свое лучшее достоинство. Такая устойчивость ведетъ къ весьма естественной наследственности типовъ и характеровъ. Несмотря на существенныя измѣненія, испытанныя нашимъ общественнымъ устройствомъ, условия, подъ которыми живетъ эта среда — одни и тѣ же: матеріальная независимость, европейское просвѣщеніе, европейскія формы жизни, обширныя, близкія, часто кровныя связи съ московскимъ и петербургскимъ большимъ свѣтомъ. При такихъ условіяхъ, родовыя преданія получаютъ значительную крѣпость, и нѣтъ ничего удивительнаго, напримѣръ, если старый князь Щербакіинъ — такой же московскій баринъ, такой же отецъ въ своей семьѣ, такая же чисто-русская старо-дворянская натура, какъ и старый графъ Ростовъ въ *Войнѣ и Мирѣ*. Нѣтъ ничего удивительнаго, если Кити, воспитанная въ такомъ же семействѣ, въ такихъ же преданіяхъ, какъ и Наташа Ростова, представляетъ козакія общія съ нею черты. Тутъ разница можетъ быть только въ оттѣнкахъ, и, конечно, никто не станетъ увѣрять, чтобъ оттѣнки не были положены авторомъ. Въ этой средѣ отдѣльныя индивидуальности, слишкомъ поддающіяся тѣмъ новымъ вѣяніямъ, которыя приносятся извнѣ, неизбежно тотчасъ же изъ нея выходятъ. Такой примѣръ предста-

влияетъ братъ Константина Левина, Николай. Его натура протестуетъ именно противъ устойчивости среды, его бѣситъ присутствіе въ ней контролирующаго аппарата, который она представляетъ всякой новой идеѣ, всякому новому явленію жизни. Самъ онъ разомъ перешагнулъ въ это *novum*, и хотя бы ему пришлось въ томъ раскаяться, онъ навсегда сохранитъ ожесточеніе противъ своей среды за то, что она не только не одобряетъ его прыжка, но видитъ въ немъ нѣкотораго рода *casus belli*, актъ безповоротнаго и неоправимаго разрыва. Всѣ жалѣютъ Николая Левина, но всѣ, даже братья его, понимаютъ, что онъ принадлежитъ уже другому міру, что всѣ связи съ воспитавшею его средой порваны. И чѣмъ болѣе Николай чувствуетъ, что самые близкіе къ нему люди, въ своихъ отношеніяхъ съ нимъ, стараются замаскировать фактъ разрыва, тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ настаиваетъ онъ на этомъ фактѣ: состраданіе оскорбляетъ его и растравляетъ незажившую рану.

Все, что мы говорили до сихъ поръ объ отношеніяхъ нашей критики и литературныхъ вкусовъ современной публики къ новому роману графа Толстого, свидѣтельствуєтъ до какой степени трудно бороться съ господствующими понятіями и требованіями писателю, продолжающему художественныя претанія предыдущаго періода нашей литературы. Эти понятія и требованія настолько понизились, что всякое произведеніе, возвышающееся надъ уровнемъ тенденціозной посредственности порождаетъ непониманіе. Автору приходится имѣть дѣло не только съ непониманіемъ его художественной задачи, но и съ выраженіемъ общественныхъ вкусовъ, съ недоступностью для читающей массы тѣхъ обаяній, которыя сохранили власть надъ ними. Онъ расходуетъ свой талантъ, чтобы создать поэтическій образъ, и вдругъ оказывается, что его читатель вовсе не расположенъ любоваться этимъ образомъ, что для него Маша, подруга жизни Николая Левина, гораздо интереснѣе Кити Щербацкой и Анны Карениной...

Нельзя сомневаться въ томъ, что краски, потраченные графомъ Толстымъ на описаніе героинь его романа, пропали для большинства современныхъ читателей. Мы видѣли, что уже не понято самое главное въ вѣщно-поэтическомъ образѣ Кити - не понято не потому, чтобы этотъ образъ былъ чуждъ современной дѣйствительности, но потому, что такіа героини не во вкусѣ общества нашихъ дней. Русскій читатель обращается къ роману съ такими же требованіями новыхъ фасоновъ и матерій, какъ къ своему портрету. Его вкусы демократизированы вѣсьмъ тѣмъ, что ежедневно подносится ему текущая литература, и въ области инновъ и идеаловъ у него сложились новыя симпатіи. Онъ желаетъ, чтобы героини современнаго романа были демократизованы въ той же мѣрѣ, въ какой демократизовался онъ самъ, чтобы на нихъ легъ тотъ пошловатый тонъ, который лежитъ на всей современной жизни.

Наиболѣе непониманіе обнаружила, впрочемъ, критика въ отношеніи къ самой Аннѣ Карениной. Если воздухъ, окружающій Кити Щербацкую, оказался непонятенъ или непріятенъ газетнымъ рецензентамъ, то по крайней мѣрѣ они не рѣшились сказать, чтобы для нихъ оказалась непочувствованною наивная, дѣтственная гранія, въ лучахъ которой выступаетъ въ романѣ этотъ прелестный образъ Анны Карениной, повидимому, несчастливидло еще менѣе. Фельетонисты большихъ и малыхъ газетъ признали ее обыкновенною и безирравственною женщиною. Они осудили ее уже не за обстановку, которая имъ, конечно, тоже очень мало нравится, а за ея женскую индивидуальность.

Фактъ очень любопытный. Та самая критика, которая требуетъ свободы чувства, невмѣняемости паденія и пр., издастъ въ негодующій тонъ по поводу увлеченія Анны Карениной, замужней женщины... Та самая журналистика, которой наше общество болѣе всего обязано опоненіемъ вкусовъ и понятій, пониженіемъ умственнаго и эстетическаго уровня, вопіетъ теперь, зачѣмъ Анна Каренина - обыкновенная женщина. Нѣтъ ли тутъ опять какого нибудь недоразумѣнія, чтобы не сказать лицемерія?

Безъ всякаго сомнѣнiя, недоразумѣнiе играетъ тутъ огромную роль. Газетная критика отнеслась бы къ паденiю Анны Карениной совершенно иначе, еслибъ оно совершилось при другой обстановкѣ. Анна Каренина невозвратно погубила себя въ глазахъ современной критики, во-первыхъ, тѣмъ, что она барыня, во-вторыхъ, тѣмъ, что, будучи барыней, она не сознаетъ въ этомъ обстоятельствѣ никакой вины съ своей стороны и не желаетъ выйти изъ своего привилегированнаго положенiя, и, наконецъ, въ-третьихъ, тѣмъ, что она влюбляется въ графа Вронскаго, человека съ блестящею военно-придворною карьерой. Влюбись она иначе, напримѣръ, хоть бы въ Николая Левина, было бы совсѣмъ другое дѣло: въ глазахъ современныхъ цѣнителей она вдругъ выросла бы до героизма, до идеала. Сознался же одинъ рецензентъ, что Маша гораздо интереснѣе Анны; тогда Анна сдѣлалась бы, вѣроятно, гораздо интереснѣе Маши...

Оставимъ впрочемъ въ сторонѣ вопросъ о нравственности, такъ какъ въ этой области современные литературные судьи мѣряютъ весьма различными аршинами, и остановимся на томъ обвиненiи, которое приводитъ Анну Каренину на стѣнь обыкновенной женщины.

Здѣсь мы опять входимъ въ область вкусовъ и модныхъ фасоновъ. Что значить обыкновенная, иначе говоря пошлая женщина? Каждое новое поколѣнiе отвѣчаетъ у насъ на этотъ вопросъ иначе. Обыкновенная ли женщина Татьяна Пушкина? Обыкновенная ли женщина Вѣра въ *Герои Нашего Времени*, съ которою Анна Каренина имѣетъ ближайшее сродство? Обыкновенная ли женщина Зинаида Вольская, едва намѣченная Пушкинымъ въ небольшомъ отрывкѣ, начинающемся словами: „Гости съѣзжались на дачу“?... Обыкновенная ли женщина княжна Засѣкина въ повѣсти г. Тургенева *Первая Любовь*? Да, конечно, всѣ эти женщины очень обыкновенны, потому что онѣ вполнѣ женщины, онѣ ничего не приняли въ себя извнѣ, кромѣ того, что даетъ сама жизнь — обыкновенная повседневная жизнь въ извѣстномъ кругу общества, гдѣ женщина занимаетъ свое определенное мѣсто, среди недавно сложившейся обстановки. Современная кри-

ника, вѣроятно, назоветь этихъ героинь даже пошлыми женщинами, и она будетъ права съ своей точки зрѣнія, хотя можно также сказать, что это такая точка зрѣнія, съ которой нельзя быть правымъ. Современная критика, отчасти и современные общественные вкусы, требуютъ прежде всего отъ женщины, чтобъ она какъ можно меньше была женщиной и какъ можно болѣе походила на студента или на семинариста. Приглядитесь къ героинямъ, выводимымъ на подмостки романа повѣстными беллетристами — васъ непременно поразитъ стараніе авторовъ отнять у этихъ героинь всякую женственность и привить имъ тѣ протестующіе элементы, которые такъ противны въ самомъ принципѣ женской натурѣ. И читатель очень хорошо чувствуетъ это, хотя по свойственнымъ русскому читателю табуинымъ свойствамъ не рѣшается сознаться въ своемъ чувствѣ. Однако не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ, что эти повѣстныя героини, привлекая любопытство какъ нѣчто новое, модное и иногда куріозное, лишены самаго обыкновеннаго обаянія, производимаго на читателей *жестокими* женскими типами. Современный читатель не влюбляется въ этихъ героинь, какъ влюблялись читатели тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ въ Татьяну Пушкина, въ княжну Мери и въ Вѣру Лермонтова; поэтический нервъ, связывающій вуалику съ женскими идеалами, создаваемыми литературой, остается мертвъ. Какъ ни сбита съ толку современная публика, она понимаетъ, что женщина является въ романѣ не съ той стороны, гдѣ ея достоинство могло бы быть возвышено блестящимъ знаніемъ акушерскаго искусства или педагогическими способностями учительницы воскресной школы. Романъ, какъ бы то ни было, есть поэтическое отраженіе жизни, а потому и женщины всего естественнѣе выступить въ немъ поэтической стороной своей натуры. Современная критика, повидимому, вовсе не допускаетъ этого простаго логическаго требованія. Ей хотѣлось бы сдѣлать женщину носителемъ идей, которымъ служить нынѣшній журнализмъ, хотѣлось бы наполнить ее газетными тенденціями, и съ этимъ снарядомъ втолкнуть въ общество, въ

семью. У героинь этого сорта есть своя публика, которая, может-быть, даже находитъ особаго рода поэзію въ такомъ извращеніи женской природы. Для этой публики, конечно, будутъ совершенно непонятны тѣ героини, которыя, вопреки всѣмъ новымъ вкусамъ и фасонамъ, остаются вполнѣ женщинами, со всѣми женскими слабостями и добродѣтелями; которыя остаются равнодушны къ совершающемуся въ той области, гдѣ онѣ не живутъ сердцемъ, и уходятъ въ свою внутреннюю жизнь, полную страсти, борьбы и неизбежныхъ разочарованій. Ввести въ этотъ интимный міръ современнаго читателя довольно трудно: онъ встрѣчаетъ тамъ непокорное женское сердце, не подчиняющееся рѣшеніямъ, столь для него яснымъ, сложившимся въ такія стереотипныя формулы: онъ находитъ тамъ индивидуальныя интересы, такъ мало понятныя для него, пріученнаго выкраивать всякое явленіе жизни по извѣстному шаблону.

По поводу Анны Карениной мы припомнимъ нѣкоторыхъ героинь нашей прежней художественной литературы, потому что у всѣхъ этихъ женщинъ есть одна преобладающая общія черта: всѣ онѣ по преимуществу живутъ жизнью сердца. Въ этой жизни для нихъ заключенъ цѣлый міръ, настолько богатый впечатлѣніями, что уже мало интересуется что-либо внѣ его. Современная критика видитъ въ этомъ своего рода ограниченность, и называетъ такихъ женщинъ обывочными и пошлыми; прежняя наша литература видѣла въ этой несчастной потребности сердца признакъ глубокой натуры и, главное, проявленіе того, что она наиболѣе цѣнила въ женщинѣ — ея женственности. Указываемъ на это лишь какъ на фактъ, не предполагая вдаваться въ его оцѣнку.

Замѣтимъ, что личныя симпатіи автора романа не склоняются къ Аннѣ Карениной. Это не изъ тѣхъ женскихъ типовъ, которые онъ воспроизводитъ съ особеннымъ сочувствіемъ. Припомнимъ замѣчаніе, сдѣланное Кити на балѣ послѣ мазурки, которую Вронскій танцовалъ съ Анной: „Да, что-то *чуждое*, бѣсовское и прелестное есть въ ней, сказала себѣ Кити.“ Въ этихъ словахъ, и въ особенности въ эпит-

тетъ *чуждомъ*, отчасти высказалось отношеніе самого автора къ своей героинѣ. Анна Каренина, очевидно, принадлежитъ къ тѣмъ женскимъ типамъ, которые покойный Аполлонъ Григорьевъ называлъ „хвощными“. На противоположности между Карениной и Кити Щербацкой основанъ главнымъ образомъ интересъ одной изъ лучшихъ главъ въ первой части романа, именно той главы, гдѣ обѣ героини встрѣчаются на балѣ. Нигдѣ авторъ не положилъ столько пѣкныхъ и пѣкнительныхъ красокъ: онѣ обѣ прекрасны, эти двѣ царицы блестящаго московскаго бала, но это двѣ совершенно различныя красоты и двѣ совершенно различныя индивидуальности. И онѣ обѣ отразили на себѣ ту фразу, къ которой вступили ихъ отношенія къ Вронскому въ этотъ вечеръ — одна уныніе и увиданіе, другая медленно разгоравшійся внутри ея огонь страсти и удовлетвореннаго самолюбія. Припомнимъ нѣсколько строкъ, сопоставленныхъ авторомъ почти рядомъ. „Она (Кити) чувствовала себя убитою. Она зашла въ глубь маленькой гостиной и опустилаcь на кресло. Воздушная юбка платья подвинулась облакомъ вокругъ ея тонкаго стана; одна обнаженная рука безсильно опущенная утонула въ складкахъ розоваго тюника, въ другой она держала вѣеръ и быстрыми короткими движеніями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только-что уцѣпившейся за травку и готовой вотъ-вотъ, вспорхнувъ, развернуть радужныя крылья, страшное отчаяніе щемило ей сердце.“ А противъ нея въ той же гостиной сидѣла Каренина съ Вронскимъ и на лицѣ послѣдняго лежало выраженіе потерянности и покорности, похожее на выраженіе уной собаки, когда она виновата: онъ былъ виноватъ своимъ счастьемъ. „Анна улыбалась и улыбка передавалась ему. Она задумывалась и онъ становился серіозенъ. Какая-то сверхъ-естественная сила притягивала глаза Кити къ лицу Анны. Она была прелестна въ своемъ простомъ черномъ платьѣ, прелестны были ея руки съ браслетами, прелестна шея съ ниткой жемчуга, прелестны волосы разстроенной прически, прелестны граціозныя легкія движенія, прелестно это красивое лицо въ своемъ

оживленій; но было что-то ужасное и жестокое въ ея преступленіи.“

Съ этого вечера начинается собственный романъ Анны. Ничего особеннаго, повидимому, еще не произошло, но заронившаяся искра начинаетъ тлѣть, медленно, но уныло разгораясь все болѣе и болѣе. Анализъ этой непримѣтно зарождающейся и разгорающейся страсти исполненъ авторомъ съ такимъ высокимъ мастерствомъ, къ которому современный читатель совѣтъ не приученъ. Въ романѣ введено столько необычайно тонкихъ и глубокихъ наблюденій, что часто по одному намеку автора внезапно озаряются свѣтомъ самые интимные тайники женскаго сердца. Пусть читатель возьметъ снова въ руки февральскую книжку нашего журнала и пересчитетъ, напримѣръ, XX главу, въ которой Анна ѣдетъ изъ Москвы по желѣзной дорогѣ: такой силы психологическаго анализа графъ Толстой не достигалъ даже въ *Войнѣ и Мирѣ*. Во время этой пѣздки опять ничего замѣчательнаго во внѣшнемъ смыслѣ не произошло съ Карениной, и между тѣмъ въ тайникахъ ея сердца совершился тотъ невидимый процессъ, который рѣшилъ всю ея жизнь. Страницы подобныя этимъ нельзя читать такъ, какъ обыкновенно читаются романы, то-есть въ ожиданіи ближайшей развязки: къ нимъ надо возвращаться, когда это ожиданіе уже удовлетворено, и вникать въ каждую отдаленную черту, въ каждый штрихъ этой высоко-художественной работы. Развитіе страсти, борьба съ нею, новыя и трудныя отношенія къ мужу, въ какія вступаетъ Анна, и, наконецъ, та поразительная сцена, гдѣ эта женщина съ ужасомъ и отвращеніемъ оглядывается на свое паденіе, предъ глазами смущеннаго и уничтоженнаго сознаніемъ своего роковаго несчастья Вронскаго—все это поэма страсти, изумительная по обилію красокъ и оттѣнковъ и по тонкости анализа. Для тѣхъ, которые не умѣютъ различать въ Аннѣ ничего далѣе обыкновенной, пошлостной и чувственной женщины, мы желали бы въ особенности указать на тѣ нѣсколько словъ, которыми она обмѣнивается съ Вронскимъ въ только-что упомянутой сценѣ:

„ Все кончено, сказала она.— У меня ничего нѣтъ, кромѣ тебя. Помни это.

„ — Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья...

„ Какое счастье! съ отвращеніемъ и ужасомъ сказала она, и ужасъ невольно сообщился ему.— Раянъ Бога, ни слова, ни слова больше”.

Если мы рядомъ съ этими двумя женщинами поставимъ обоихъ героевъ романа, Вронскаго и Левина, мы должны будемъ сознаться, что первыи поставлены авторомъ гораздо сильнѣе. Вронскій и Левинъ безъ всякаго сомнѣнія ниже того подъема, на которомъ стоитъ захваченная романомъ жизнь. Вронскій очень тѣшиченъ, очень ясенъ, но внутреннее содержаніе его, конечно, ниже роли предоставленной ему въ драмѣ. Это вышло не случайно, это, очевидно, входило въ планъ автора. Не безъ намѣренія показываетъ авторъ глубокое различіе между міросозерцаніемъ Вронскаго и тѣми внутренними признаками, которыми отмѣчена въ романѣ жизнь Щербанкиныхъ, Левиныхъ, даже Облонскихъ. Повидимому, это люди одного и того же круга, это одно и то же столичное свѣтское общество, но въ старомодныхъ московскихъ семьяхъ за вѣншими ритуаломъ свѣтскаго быта чувствуется нѣчто нравственно-культурное, есть честная и строгія преданія, тогда какъ Вронскій и его общество вполнѣ напoлнены и удовлетворены одною вѣншею, свѣтскою стороною существованія. „Въ его петербургскомъ мірѣ, говоритъ авторъ, всѣ люди раздѣлялись на два совершенно противоположные сорта. Одниъ, низшій сортъ: пошлые, глупые и, главное, смѣшные люди, которые вѣрують въ то, что одному мужу надо жить съ одною женою, съ которою онъ обвѣнчанъ; что дѣвушкамъ надо быть невинною, женщинамъ стыдливою, мужчинамъ мужественному, воздержному и твердому, что надо воспитывать дѣтей, зарабатывать свои хлѣбъ, платить долги, и разныя тому подобныя глупости. Это былъ сортъ людей старомодныхъ и смѣшныхъ. Но былъ другой сортъ людей, настоящихъ, къ которому они всѣ принадлежали, въ которомъ надо быть главноеъ элегантнымъ, красивымъ, вели-

„одушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться всякой страсти не красѣя и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться. Вронскій только въ первую минуту былъ ошеломленъ послѣ впечатлѣній *совсѣмъ другого міра*, привезенныхъ имъ изъ Москвы; но тотчасъ же, какъ всунуль ноги въ старыя туфли, онъ вошелъ въ свой прежній веселый и пріятный міръ“.

Вѣроятно, въ общемъ планѣ произведенія автору нуженъ былъ именно такой герой: чтобы судить объ этомъ, необходимо подождать окончанія романа.

Константинъ Левинъ, очевидно, сосредоточиваетъ на себѣ все симпатіи автора, и выступаетъ въ романѣ съ тѣми чертами задумчивости, какими графъ Толстой умѣетъ рисовать свои любимые простые и смиренные русскіе типы. Но ему недостаетъ инициативы, и потому въ тѣхъ мѣстахъ романа гдѣ дѣйствующимъ лицомъ выступаетъ Левинъ, какъ будто ослабѣваетъ драматическое напряженіе, и читатель входитъ въ область идилліи. Въ особенности это относится къ главамъ, посвященнымъ деревенской жизни Левина. Здѣсь интересъ сосредоточивается уже не на столкновеніи характеровъ, а на эническомъ изображеніи остановившагося теченія жизни... Надо, впрочемъ, сказать, что художественное мастерство и свѣжесть этихъ изображеній некупаютъ недостатковъ драматическаго дѣйствія.

Говоря о герояхъ *Анны Карениной*, невозможно забыть Стиву Облонскаго; этотъ вполне удавшийся, превосходный типъ современнаго московскаго барина. Невозможно представить болѣе увлекательнымъ образомъ человека средняго ума и среднихъ достоинствъ: несмотря на его средніе размѣры, читатель съ первыхъ страницъ пріучается любить его тѣмъ дружески-списходительнымъ чувствомъ, какое эти люди возбуждаютъ въ самой жизни.

Въ этихъ бѣглыхъ замѣткахъ мы, конечно, не предполагали дать полную оцѣнку новаго произведенія графа Толстого: да такая оцѣнка и невозможна, пока романъ не оконченъ въ печати. Мы имѣли въ виду только объяснить, по своему крайнему пониманію, происхожденіе нѣкоторыхъ недоразумѣній, замѣченныхъ нами въ отношеніяхъ критики и чита-

ющей публики къ этому въ высшей степени замѣчательному произведенію. Для полной же критической оцѣнки мы еще будемъ имѣть время, когда весь романъ сдѣлается достояніемъ печати.

Изъ „Русскаго Вѣстника“ 1875 г. № 5.

Статья А. (В. Г. Аверанков).

\*\*\*

\*) Читатели „Русск. Вѣстника“, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ читатели новаго романа гр. Толстого, напрасно прождали продолженія „Анны Карениной“. Майская книжка „Русскаго Вѣстника“ явилась безъ него. Почему и отчего? — на это нѣтъ объясненій: но отъ чего бы это ни зависѣло, мы во всякомъ случаѣ думаемъ, что убытку отъ того не много, какъ не много было бы и прибыли, если бы явилось продолженіе романа въ томъ же родѣ, какъ въ мартовской и апрѣльской книжкахъ. Но не помѣщая продолженія романа гр. Толстого, „Русск. Вѣстникъ“ не пропускаетъ случая все-таки напомнить о немъ читателямъ критической по поводу его статьи г. А. И нужно ли говорить, въ какомъ духѣ написана статья? Отдѣлавъ прилично и неприлично всѣхъ, кто только не восторгается или держаетъ не восторгаться „Анной Карениной“, и пожалѣвъ о томъ, что не много такихъ, которые приходятъ въ восторгъ отъ романа, прицутавъ кстатѣ ни къ селу ни къ городу и ревнителей новыхъ идей, г. А. переходитъ къ восхваленію романа. И ужъ хвалитъ же онъ его! Изъ силъ выбивается, бѣдненькій! Для него и идея романа не мелка и не безынтересна, и самая разработка частности художественна, и самые образы, выведенные и нарисованные авторомъ, богаты и живы. То есть, если вѣрить г. А., то „Анна Каренина“ — великое произведеніе, и какъ великое произведеніе, оно, къ несчастію, не многими разгадано. Не-

смотря, однако, на все эти возгласы и доказательства г. А., мы все-таки позволимъ себѣ остаться при нашемъ прежнемъ убѣжденіи и не согласиться съ нимъ, и прежде всего потому, что самыя доказательства г. А. весьма слабы. Такъ, желая доказать, что въ основѣ романа лежитъ не пустая идея, г. А. доказываетъ это такимъ образомъ: „Это, говоритъ онъ, не новый, но тѣмъ не менѣе остающійся открытымъ вопросъ о любви между мужчиной и женщиной, не имѣющими возможности вступить въ бракъ, потому что одна изъ сторонъ находится уже въ бракѣ“. Во-первыхъ, всякій, конечно, съ нами согласится, что указанная критикомъ идея, по всей справедливости, можетъ и должна быть самой избитой темой, а потому и приманки имѣть она не можетъ; а во-вторыхъ, и самая эта идея еще нисколько не видна въ произведеніи гр. Толстого. Мы здѣсь вовсе не видимъ этой любви, задержимой только тѣмъ, что одна сторона состоитъ въ бракѣ; мы даже не видимъ и поповзновенія этихъ сторонъ освятить ее бракомъ, а просто видимъ самую простую и плотскую любовь между порочно-пустыми людьми, и ничто не ручается намъ за то, что и при другихъ условіяхъ она не началась бы съ того же, съ чего началась теперь, и не осталась бы все тою же плотской и не освященной бракомъ любовью. А затѣмъ мы не можемъ раздѣлять этихъ похвалъ г. А. роману гр. Толстого и потому, что онъ явился въ томъ же журналѣ, гдѣ помещенъ самый романъ. Это, какъ хотите, отзывается самовосхваленіемъ журнала, и уже потому заставляетъ заподозрѣвать искренность похвалъ, что какъ то и странно допустить, чтобы могло быть сказано что-либо не въ пользу романа. Намъ даже кажется, что надо много гостинно-дворской дерзости, чтобы рѣшиться на подобное восхваленіе. Не шутя говоря, только „Русск. Вѣстникъ“ и способенъ на такія выходы.

*Изъ „Свѣта Отечества“ за 1875 г.*

## 1876 годъ.

Гр. А. Толстой, котораго смѣло можно назвать первокласснымъ художникомъ, далъ романъ, составляющій наиболѣе выдающееся явленіе беллетристики прошедшаго года. Романъ еще не конченъ, и потому произнести о немъ окончательное сужденіе нельзя; но его все-таки напечатана очень значительная часть, позволяющая ясно видѣть и достоинства его и недостатки. Читатель не можетъ, конечно, ждать отъ насъ, въ этомъ блѣдомъ à vol d'oiseau обзорѣ всего беллетристическаго творчества 1875 г., мало-мальски подробнаго отчета о томъ или другомъ отдельномъ проявленіи этого творчества; мы ограничиваемся только общими замѣчаніями. „Анна Каренина“ стоитъ, правда, значительно ниже другого капитальнаго произведенія того же автора („Война и Миръ“); но крупнѣе недостатки этого романа, заключающіеся пока въ крайней безвѣдности и смутности образа самой героини, въ пустотѣ, мизерности фундамента, на которомъ построена такъ называемая драматическая коллизія произведенія, въ томъ несчастномъ пришествіи узкой сенсационности, о которомъ, какъ о повальной болѣзни нашей литературы, мы уже упоминали, и въ нѣкоторыхъ другихъ, менѣе значительныхъ, упушеніяхъ и несовершенствахъ, эти недостатки почти уравниваются необыкновенною, свойственною только истинно-первокласснымъ дарованіямъ, художественностью подробностей, — художественностью, которая, выражаясь высокимъ слогомъ, составляетъ драгоценный вкладъ въ сокровищницу литературы, особенно въ такое время, когда наша критика старается все болѣе и болѣе отодвигать на задній планъ эстетическія, въ истинномъ смыслѣ этого слова, достоинства данного произведенія. Въ этомъ отношеніи гр. Толстымъ остается громадная заслуга, и отворачиваться чуть ли не презрительно (какъ это дѣлала часть нашей критики) отъ его новаго романа

---

1) „Вѣстн.“ 1876 г., № 1, статья Н. В. С. и Н. Н. Венюкова „Русская журналистика“.

въ силу того яко бы обстоятельства, что оно пропитано равнодушіемъ къ живымъ вопросамъ времени, крайне несправедливо, — во-первыхъ, уже потому, что это послѣднее обвиненіе — сущая неправда (дѣло здѣсь только въ способѣ отношенія къ этимъ вопросамъ, въ такъ называемомъ штатипунктѣ), а, во-вторыхъ, потому, что невозможно навязывать художнику такія требованія, предъявлять ему такія условія, которыя не лежатъ въ самомъ свойствѣ, самой натурѣ его дарованія. „Анна Каренина“ во всякомъ случаѣ крупное явленіе для тѣхъ, которые хотятъ и умѣютъ проводить строгую границу между истинно-художественнымъ произведеніемъ и публицистическимъ трактатомъ.

Изъ „Пчелы“ 1876 г. Статья Н. В.-б.—а. (Н. Н. Рейнберга).

\*\*\*

\*) По случаю такъ называемаго „бѣгства“ книгопродавца Базунова январская книжка „Русскаго Вѣстника“ долгое время составляла въ Петербургѣ нѣкоторую рѣдкость. Между тѣмъ этой книжкой усиленно интересовались, такъ какъ въ ней напечатаны новыя главы „Анны Карениной“. Первые части названнаго романа, появившіяся въ минувшемъ году, какъ извѣстно, произвели не особенно удовлетворительное впечатлѣніе на публику и на критику. Но, несмотря на это, полгода ожиданія конца не охладили интереса къ произведенію г-р. Толстого и даже не возбудили жалобъ на знаменитаго автора за то, что онъ сдѣлать такой продолжительный антрактъ между первой и второй половиной эпопеи о любви супруги высокопоставленнаго лица, прѣкрасной Анны Карениной, къ неменѣе прекрасному флигель-адъютанту Вронскому. Вѣдь, наша публика вообще самая снисходительная изъ всѣхъ публикъ этого міра, во-первыхъ: во-вторыхъ, хотя она и не имѣетъ особенной склонности къ чтенію, но, разъ начавъ что-либо читать, любить притти къ вождѣльному концу и на половинѣ до-

\*) „Новое Время“ 1876 г. № 5. Статья Рина.

роги чтенія ни за что не остановится. Особенно въ романахъ русскій читатель требуетъ непременно определенныхъ окончаній: тамъ тыи сколько хочешь романъ, хоть десять дѣтъ, но кончи непременно свадьбой героевъ или положительнымъ измореиёмъ ихъ. Не узнавъ въ точности, какъ и на комъ поженились герои или какъ они умерли, русскій читатель романа не броситъ, хотя бы онъ былъ совершенно безсодержателенъ и даже скученъ. Неопределенными же концами романовъ русскій читатель даже обижается. До сихъ поръ вы еще встрѣите такихъ читателей, которые сѣтуютъ на А. С. Пушкина за то, что онъ оставилъ публику въ недоумѣиіи насчетъ окончательной судьбы Онегина и Татьяны. Точно также и „Горе отъ ума“ возбуждало и возбуждаетъ досель во многихъ любителяхъ чтенія неудовольствіе за неопределенный конецъ.

Я говорю все это къ тому, чтобы объяснить, почему на „Анну Каренину“ публика, по свидѣтельству и выраженію присяжныхъ газетныхъ рецензентовъ, „снова накинулась съ жадностію“...

Позвольте мнѣ прежде всего остановиться на мнѣиіи о романѣ графа Толстого, высказываемомъ критикой того самаго журнала, гдѣ печатается „Анна Каренина“. Мнѣиіе это выражено въ статьѣ г. А., извѣстнаго присяжнаго критика „Русскаго Вѣстника“, красующеся въ январской книжкѣ. Статья начинается съ того, что критикъ уверяетъ въ благополучіи прошлаго года для русской литературы. Въ теченіе этого года „обнаружился благоприятный переломъ въ журналистикѣ и въ общественныхъ вѣскахъ“. Печать сдѣлала значительные успѣхи „въ благоприличіи и серьезности“. Это улучшеніе литературы произошло отъ того, что изъ печати были „удалены нездоровые элементы“, которыми была „насыщена журнальная атмосфера“. Куда и къмъ были „удалены“ поминутые элементы, критикъ, къ сожалѣнію, не поясняетъ; но за то явно радуется факту удаленія. Да и какъ же не радоваться, поминутые! Съ удаленіемъ нездоровыхъ элементовъ — съ родной литературой и обществомъ „волею боговъ, метаморфоза совершилась

очевидно“. „Всюду чувствуется напряжение, беспокойство, надежда. Писатели, не утратившие искренности, жадно ловить новые голоса и силится выникнуть въ таинственно-совершеняющееся въ нѣдрахъ общественное сознаніе“. „Появился запросъ на „идеаль“, то-есть на такую штуку, вѣдствие отсутствія которой наша литература „потеряла всякое нравственное содержаніе и превратилась въ Вальбургіеву ночь“. Однимъ словомъ, въ одинъ годъ „переломъ“ принять такой утѣшительный и выразительный характеръ, что люди, которымъ дороги дѣйствительные интересы нашей литературы, которымъ дороги наши національныя идеи, наша историческая будущность („замѣчайте, вона куда пошло!“), какъ говорить одинъ изъ героев Гоголя), могутъ отъ души поздравить другъ друга съ этимъ переломомъ и проникнуться глубоко-признательнымъ чувствомъ къ тѣмъ дѣйствительно передовымъ русскимъ людямъ, которые, вопреки свисту и гасетству, съ убѣжденіемъ и вѣрой толкали общество къ перелому. Кто эти счастливые люди, могущіе поздравить себя за „переломъ“ и долженствующіе принять отъ общества „вызваніе глубокой признательности“, гдѣ эти люди, критикъ, къ сожалѣнію, умалчиваетъ объ этомъ точно такъ же, какъ умалчиваетъ, въ какихъ мѣстахъ не столь удачныхъ“, находятся „незiorовыя элементы“, недоускавшіе до прошлаго года совершиться огранному „перелому“.

Высказавъ неподдѣльную радость по поводу „перелома“, критикъ снѣшить указать на крупныя явленія литературы, породившіяся въ достопамятный годъ, ознаменованный „переломомъ“. Явленій этихъ три: „Анна Каренина“ г-р. Толстого, „Подростокъ“ г. Достоевскаго и „Дѣды“ Вс. Крестовскаго.

Оставивъ „Дѣдовъ“, такъ какъ ихъ великое значеніе въ литературѣ стоитъ внѣ споровъ, я не могу однакоже не обратить вниманіе читателей на сдѣланное критикомъ объясненіе достоинствъ „Анны Карениной“. Это художественное произведеніе, о которомъ журнальной критикѣ „пріея нынѣшнемъ состояніи не слѣдовало бы даже дерзать толковать“, по мнѣнію г. А., такъ очаровательно наши-

сано, что „изложеніе въ немъ исключаетъ всякое требова-  
ніе какой бы то ни было мысли“. „Пятицно-раздражающая  
прелесть“ разсказа въ романѣ такова, что подѣ впечатлѣ-  
ніемъ ея, при чтеніи романа, нѣтъ надобности думать о  
томъ, что написано гр. Толстымъ: „для эстетически-вос-  
пріимчиваго читателя, говорить критикъ, становится, на-  
конецъ, все равно, о чемъ онъ разсказываетъ“. Я не шучу,  
читатель, и г. А. не шутитъ, не глумится надъ авторомъ  
„Анны Карениной“: онъ высказываетъ приведенную фразу  
съ полнѣйшимъ апломбомъ той горделивой серьезности, къ  
какой только способенъ; онъ, очевидно, считаетъ эту фразу  
за высшую похвалу автору! Ну, какъ же въ самомъ дѣлѣ  
не порадоваться за благопріятный переделъ, обнаружившійся  
въ прошломъ году въ нашей литературѣ: съ одной сто-  
роны, въ ней сдѣлались возможными подобныя эстетическія  
сужденія; съ другой, въ ней породились „художественно-  
историческія композиціи“ въ родѣ „Дѣловъ“.

Въ самомъ дѣлѣ, это переделъ; но такъ какъ мы съ  
вами не утратили способности даже при самомъ живомъ  
увлеченіи „прелестнаго разсказа“ слѣдить за содержаніемъ  
того, что разсказывается, то постараемся прослѣдить новыя  
главы „Анны Карениной“, представляющія мѣстами инте-  
ресныя страницы. Вы помните, что полгода назадъ гр. Тол-  
стой покинулъ свою героиню на той сценѣ, гдѣ героиня  
признается мужу въ невірности. Въ третьей части, XI главѣ,  
авторъ рисуетъ послѣдствія этого объясненія и отношеніе  
къ вопросу объ „адультерѣ“ Алексѣя Александровича Ка-  
ренина.

До сихъ поръ это лицо выступало въ романѣ лишь мель-  
комъ; мы видѣли его, такъ сказать, въ профиль; кромѣ  
его знаменитыхъ ушей, внезапно отросшихъ въ глазахъ  
Анны Карениной послѣ того, какъ она влюбилась въ Врон-  
скаго, читатели не могли замѣтить въ его фигурѣ ничего  
выдающагося, опредѣленнаго. Теперь въ новыхъ главахъ  
романа Каренинъ выступаетъ яснѣе. Гр. Толстой, съ обыч-  
нымъ мастерствомъ анализируя черствую и сухую натуру  
этого петербургскаго высокаго человѣка, у котораго все

жизненные убъжденія свелось на холодный формализмъ и бездушіе. Въ его отношеніяхъ къ женѣ, послѣ ея признанія, въ его поведеніи и размышленіяхъ авторъ раскрываетъ всю суть этихъ характеровъ, выработанныхъ дѣланной, искусственной служебностью, составляющей для подобныхъ людей все ихъ существованіе.

Признаніе жены произвело въ Алексѣѣ Александровичѣ жестокую боль, но эта боль перваго впечатлѣнія прошла очень скоро: какъ только онъ остался наединѣ, онъ почувствовалъ освобожденіе отъ мучившихъ его въ последнее время сомнѣній и страданій ревности. Онъ почувствовалъ, что можетъ опять жить и думать не объ одной женѣ. Одно, что оставалось, это было раздраженіе на нее за то, что она такъ долго портила его жизнь... (Слѣдуетъ выписка изъ романа, начинающаяся словами: „Безъ чести, безъ сердца, безъ религіи, испорченная женщина!“ и кончающаяся: „Она должна быть несчастлива, но я не виноватъ, и потому не могу быть несчастливъ“).

„Въ этомъ противоправственномъ рѣшеніи, въ этихъ разсужденіяхъ чиновнаго мужа сказывается весь человѣкъ. Узкій эгоизмъ людей подобнаго закала составляетъ для нихъ первое и основное правило ихъ моральнаго и общественнаго кодекса; этотъ эгоизмъ служитъ для нихъ своего рода силой, посредствомъ которой они оказываютъ упорное сопротивление всякаго рода человѣческимъ и человѣчнымъ стремленіямъ и вліяніямъ, посредствомъ которой они въ то же время угнетаютъ нравственно другихъ. Этотъ эгоизмъ обращаетъ для нихъ жизнь и все жизненные отношенія въ известное условное лицемѣріе. Для такихъ людей дорога только формальная сторона жизни. Въ исполненіи своихъ семейныхъ и гражданскихъ обязанностей они цѣнятъ одно и руководствуются однимъ: благовидной виѣшностью. Ихъ методическое, хладное, если можно такъ выразиться, мертвое лицемѣріе отвратительно и ложится невыносимымъ ярмомъ на тѣхъ лицахъ, которые имѣли несчастіе встать къ нимъ въ близкія отношенія. Какъ понятенъ и глубоко скорбенъ душевный вопль Анны Карениной, когда она полу-

часть отъ мужа письмо съ глубоко-безправственнымъ и глубоко-бездущнымъ рѣшеніемъ рокового для нея вопроса "...

(Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Правъ! правъ!“ проговорила она съ злымъ и страдальческимъ блескомъ въ глазахъ...“ и кончающаяся словами: „Была ли когда-нибудь женщина такъ несчастна, какъ я?...“).

„Принуждаемая мужемъ къ насильственному лицемѣрію, Анна Каренина чувствуетъ, что для нея необходимъ выходъ какой бы то ни было, но только не тотъ, который обязательно предлагаетъ ей супругъ. Въ мучительной нравственной тревогѣ она естественно обращается за разрѣшеніемъ ея къ своему любовнику. Но блестящій кавалеристъ представляетъ въ своемъ родѣ такого же почтеннаго джентльмена, какъ и Алексѣй Александровичъ, только въ иной формѣ. Гр. Толстой характеризуетъ слѣдующими вѣжливыми словами нравственную личность Вронскаго: „Жизнь Вронскаго была тѣмъ особенно счастлива, что у него были сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ все, что должно и не должно дѣлать. (Сводъ этихъ правилъ обнималъ очень малый кругъ условій, но за то правила были несомнѣнны, и Вронскій, никогда не выходя изъ этого круга, никогда ни на минуту не колебался въ исполненіи того, что должно. Правила эти несомнѣнно опредѣляли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій и можно оскорблять и т. д. Всѣ эти правила могли быть неразумны, не хороши, но они были несомнѣнны, и, исполняя ихъ, Вронскій чувствовалъ, что онъ спокоенъ и, можетъ высоко носить голову. Только въ самое последнее время, по поводу своихъ отношеній къ самой Аннѣ, Вронскій начинать чувствовать, что сводъ его правилъ не вполнѣ опредѣляетъ всѣ условія, и въ будущемъ представлялись трудности и сомнѣнія, въ которыхъ Вронскій ужь не находилъ руководящей нити“.

Дѣло въ томъ, что Анна объявила любовнику, что она беременна. Онъ былъ взятъ врасплохъ этимъ извѣстіемъ, и

въ первую минуту ему пришло въ голову, что Анна должна оставить мужа. Но потомъ онъ началъ колебаться. „Онъ сказать это, но теперь, обдумывая, онъ видѣлъ ясно, что лучше было бы обойтись безъ этого, и вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря это себѣ, боялся — не дурно ли это?“ Онъ разсудилъ, что онъ не готовъ „соединиться“ съ увлеченной имъ женщиной, потому что такое соединеніе повело бы за собою необходимость оставить службу. Съ оставленіемъ службы рухнули честолюбивыя мечты о возвышеніи; а онѣ были любимыми его мечтами съ самаго дѣтства. Случайный прїѣздъ товарища, молодого генерала, сдѣлавшаго блестящую карьеру и подманивающаго его на служебное поприще, оживляетъ эти мечты, заглухнувшія было въ Вронскомъ подѣ вліяніемъ любви къ Аннѣ. Какъ разѣ послѣ бесѣды съ товарищемъ, Вронскому приходится выдержать сцену объясненія съ Анной. Анна передаетъ любовнику, что она рассказала мужу о ихъ отношеніяхъ, и сообщаетъ рѣшеніе послѣдняго. Вронскій не рѣшается ни на какой опредѣленный выходъ, не указываетъ его Аннѣ и отдѣливается, въ сущности, одними словами. Преступная жена выноситъ изъ объясненія со своимъ любовникомъ смутное сознаніе, что ея положеніе остается неизмѣннымъ. Съ этимъ сознаніемъ она приходитъ къ мужу. Между супругами происходитъ слѣдующій краткій, но выразительный разговоръ: „... (Выписка отъ словъ: „Чувствуя, что она не можетъ говорить съ нимъ ни о чемъ, прежде чѣмъ не пойметъ, какія будутъ ихъ отношенія“...—кончая словами: „Онъ, молча поклонившись, пропустилъ ее“).

„Приводимыя выдержки составляютъ выдающіеся, лучшія страницы третьей части романа. Послѣ цитированной сейчасъ сценки, авторъ покидаетъ свою героиню и переноситъ дѣйствіе изъ Петербурга въ деревню Левина. Слѣдуютъ главы, въ которыхъ рассказывается, какъ сельскій джентельменъ пришелъ къ убѣжденію о необходимости отрѣшиться отъ снѣгемы своего хозяйства, затѣяннаго на новый ладъ со всякими улучшеніями и приспособленіями, заимствованными отъ лукаваго и хитраго Запада. Взамѣнъ

этой теоретической системы. Левинъ рѣшается завести хозяйство по непосредственному, простому, практическому образцу хозяйства крестьянскаго. Къ этому рѣшенію юный помѣщикъ и въ некоторомъ родѣ сынъ природы приводится длинными бесѣдами съ мѣстными землевладѣльцами либеральнаго и крѣпостническаго пошиба. Помянутыя сельскохозяйственныя бесѣды занимаютъ значительное число страницъ въ романѣ и представляютъ изложеніе нѣкоторыхъ любимыхъ идей графа Толстого въ діалогической формѣ. Перемѣнивъ прежнее теоретическое хозяйство на практическое, непосредственное, Левинъ, однако, не приобретаетъ душевнаго спокойствія: воспоминаніе объ его отвергнутой любви къ Кити Щербацкой, очевидно, тяготитъ юнаго помѣщика, который всѣ свои неясныя стремленія можетъ успокоить, конечно, не однимъ только законнымъ бракомъ съ предметомъ любви. Не находя этого успокоенія, онъ покуда впадаетъ въ моральную апатію, сокрушается думами о необходимости смерти для всѣхъ людей, и для разсѣянія этого сокрушенія уѣзжаетъ за границу. На этомъ отъѣздѣ заканчивается третья часть романа.

*Изъ „Новаго Времени“ 1876 г., Статья Рина.*

\* \* \*

\*) Романъ гр. Толстого еще не конченъ, и мы должны оговориться, что не будемъ въ настоящемъ этюдѣ подводить ему окончательныхъ итоговъ. Мы вернемся къ нему еще разъ; а теперь разберемъ въ особенности то, что это произведеніе вызвало до сихъ поръ и въ нашей прессѣ и въ публикѣ. Припомнимъ читателю, что появленіе новаго романа гр. Л. Толстого въ прошломъ году возбудило самыя горячія надежды всего читающаго люда. Популярность романиста достигла, послѣ появленія въ свѣтъ „Войны и Мира“, высшаго своего предѣла. Извѣстно, что гр. Л. Толстой издалъ самъ свой полуністорическій романъ, и публика

\* „Мояча“ 1876 г., № 12. „Литература и журнализмъ“.

раскупила его такъ, какъ не раскупила ни одно беллетристическое произведеніе за послѣднее время. „Анна Каренина“ готовилась быть событіемъ прошлаго года и читалась всѣми, если не съ одинаковымъ наслажденіемъ, то съ очень большимъ любопытствомъ. Какъ и слѣдовало ожидать, Москва и Петербургъ повели себя различно въ отношеніи этого романа. Хотя онъ въ прошломъ году былъ недоконченъ, но сужденіе о немъ уже сложилось: Москва ударилась въ дионирамбы; Петербургъ повелъ себя иначе. Позволительно было думать, что петербургская газетная критика безцеремонно *обработаетъ* романъ гр. Л. Толстого; но общій тонъ, за немногими исключеніями, оказался довольно сдержаннымъ: замѣтно было даже, что противъ автора петербургская журналистика нисколько не предубѣждена и готова была бы встрѣтить его произведеніе очень сочувственно, еслибъ нашла въ немъ другое содержаніе.

Гр. Л. Толстой незадолго передъ тѣмъ отрекомендовалъ себя Петербургу своей педагогической статьей въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Онъ возбудилъ бурю въ мірѣ специалистовъ-педагоговъ и въ то же время нашелъ очень сочувственные отголоски и въ публикѣ и въ петербургской прессѣ. Всѣ обрадовались тому, что онъ смѣло, хотя и парадоксально, выступилъ противъ различныхъ педагогическихъ затѣй, что онъ не стѣсняясь заявилъ свой протестъ въ такомъ дѣлѣ, которое прямо задѣваетъ кровные интересы нашего общества. Только послѣ его статьи всѣ заговорили: „надо же намъ, наконецъ, знать какъ и чему учить нашихъ дѣтей патентованные педагоги!“ Самымъ убѣжденнымъ защитникомъ гр. Л. Толстого, какъ мыслителя и друга народнаго образованія, выступилъ публицистъ „Отечественныхъ Записокъ“, г. Михайловскій, въ своихъ „Запискахъ профана“. Онъ сумѣлъ отыскать въ міровоззрѣніи графа Л. Толстого много сторонъ, показывающихъ, какъ знаменитый романистъ искренно и даже глубоко смотритъ на дѣло нашего народнаго развитія, какъ онъ смиряетъ себя и свою образованность передъ коллективнымъ разумомъ народа, передъ его прямыми потребностями, передъ его на-

зойливыми нуждами. Публицистъ „Отечественныхъ Записокъ“, какъ мы уже замѣтили въ другомъ обзорѣ, не испугался крайностей въ міросозерцаніи гр. Л. Толстого и сумѣлъ отдѣлать то, что дѣйствительно здорово, симпатично; даже глубоко, отъ всего недодуманнаго, непоследовательнаго, произвольнаго. Онъ показалъ, не безъ добродушнаго юмора, какъ „десница гр. Толстого часто не знаетъ того, что дѣлаетъ шуйца“, т.-е. выяснилъ всѣ противорѣчія, въ какихъ самъ гр. Толстой впадаетъ безсознательно. Общій же выводъ статьи г. Михайловскаго былъ весьма благопріятенъ для поднятія кредита нашего романиста, какъ мыслителя и народолобца.

Словомъ, гр. Толстой, въ смыслѣ направленія, былъ впервые обработанъ петербургскою журналистикой безъ всякихъ предубѣждений. Но надо сказать правду: и какъ романистъ и какъ человѣкъ, преслѣдующій извѣстные нравственные и бытовые идеалы въ художественныхъ формахъ, онъ былъ еще не такъ давно разбираемъ въ тѣхъ же „Отечественныхъ Запискахъ“, притомъ самыя симпатичныя стороны его манеры, самыя серьезные его замыслы были анализированы безъ предубѣждения. И выходитъ, стало быть, что хотя гр. Толстой и печатаетъ теперь свои романы почти исключительно въ Москвѣ, но Петербургъ занимался ими въ печати гораздо больше Москвы, гдѣ одинъ „Русскій Вѣстникъ“ представляетъ собою литературную критику. Мы уже имѣли случай показать какъ этотъ журналъ, въ лицѣ своего критика г. А., относится къ гр. Л. Толстому. Тамъ его разбирать не могутъ. Тамъ происходитъ, и не со вчерашняго дня, безусловное поклоненіе передъ всѣмъ тѣмъ, что выйдетъ изъ-подъ пера романиста. Тамъ объявляютъ даже, что никто не можетъ *дерзнуть* отнестись критически къ произведеніямъ автора „Войны и Мира“. Такое безцеремонное заявленіе московскаго критика раздражило всѣхъ петербургскихъ рецензентовъ: а они и безъ того уже сдѣлали много уступокъ увлеченію публики, жаждо читавшей „Анну Каренину“. Впрочемъ, степень успѣха извѣстнаго романа опредѣлить трудно до тѣхъ поръ, пока онъ не явится

раскупила его такъ, какъ не раскупала ни одно беллетристическое произведеніе за послѣднее время. „Анна Каренина“ готовилась быть событіемъ прошлаго года и читалась всѣми, если не съ одинаковымъ наслажденіемъ, то съ очень большимъ любопытствомъ. Какъ и слѣдовало ожидать, Москва и Петербургъ повели себя различно въ отношеніи этого романа. Хотя онъ въ прошломъ году былъ недоконченъ, но сужденіе о немъ уже сложилось: Москва ударилась въ дионрамбы; Петербургъ повелъ себя иначе. Позволительно было думать, что петербургская газетная критика безцеремонно *обработаетъ* романъ гр. Л. Толстого; но общій тонъ, за немногими исключеніями, оказался довольно сдержаннымъ: замѣтно было даже, что противъ автора петербургская журналистика несколько не предубѣждена и готова была бы встрѣтить его произведеніе очень сочувственно, еслибъ наполнила въ немъ другое содержаніе.

Гр. Л. Толстой незадолго передъ тѣмъ отрекомендовалъ себя Петербургу своей педагогической статьей въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Онъ возбудилъ бурю въ мірѣ специалистовъ-педагоговъ и въ то же время нашелъ очень сочувственные отголоски и въ публикѣ и въ петербургской прессѣ. Всѣ обрадовались тому, что онъ смѣло, хотя и парадоксально, выступилъ противъ различныхъ педагогическихъ затѣй, что онъ не стѣсняясь заявилъ свой протестъ въ такомъ дѣлѣ, которое прямо задѣваетъ кровные интересы нашего общества. Только послѣ его статьи всѣ заговорили: „надо же намъ, наконецъ, знать какъ и чему учить нашихъ дѣтей патентованные педагоги!“ Самымъ убѣжденнымъ защитникомъ гр. Л. Толстого, какъ мыслителя и друга народнаго образованія, выступилъ публицистъ „Отечественныхъ Записокъ“, г. Михайловскій, въ своихъ „Запискахъ профана“. Онъ сумѣлъ отыскать въ міровоззрѣніи графа Л. Толстого много сторонъ, показывающихъ, какъ знаменитый романистъ искренно и даже глубоко смотритъ на дѣло нашего народнаго развитія, какъ онъ смиряетъ себя и свою образованность передъ коллективнымъ разумомъ народа, передъ его прямыми потребностями, передъ его на-

злыми нуждами. Публицистъ „Отечественныхъ Записокъ“, какъ мы уже замѣтили въ другомъ обзорѣ, не испугался крайностей въ міросозерцаніи гр. Л. Толстого и сумѣлъ отделить то, что дѣйствительно здорово, симпатично, даже глубоко, отъ всего недодуманнаго, непоследовательнаго, произвольнаго. Онъ показалъ, какъ безъ добродушнаго юмора, какъ „десница гр. Толстого часто не знаетъ того, что дѣлаетъ шуйца“, т.-е. вывели всѣ противорѣчія, въ какія самъ гр. Толстой впадаетъ безсознательно. Общій же выводъ статьи г. Михайловскаго былъ весьма благопріятенъ для поднятія кредита нашего романиста, какъ мыслителя и народолюбца.

Словомъ, гр. Толстой, въ смыслѣ направленія, былъ впервые обработанъ петербургскою журналистикой безъ всякихъ предубѣжденій. Но надо сказать правду: и какъ романистъ и какъ человѣкъ, преслѣдующій извѣстные нравственные и бытовые идеалы въ художественныхъ формахъ, онъ былъ еще не такъ давно разбираемъ въ тѣхъ же „Отечественныхъ Запискахъ“, притомъ самыя симпатичныя стороны его манеры, самыя серьезные его замыслы были анализированы безъ предубѣжденія. И выходитъ, стало быть, что хотя гр. Толстой и печатаетъ теперь свои романы почти исключительно въ Москвѣ, но Петербургъ занимался ими въ печати гораздо больше Москвы, гдѣ одинъ „Русскій Вѣстникъ“ представляетъ собой литературную критику. Мы уже имѣли случай показать какъ этотъ журналъ, въ лицѣ своего критика г. А., относится къ гр. Л. Толстому. Тамъ его разбирать не могутъ. Тамъ происходитъ, и не со вчерашняго дня, безусловное поклоненіе передъ всѣмъ тѣмъ, что выйдетъ изъ-подъ пера романиста. Тамъ объявляютъ даже, что никто не можетъ *дерзнуть* относиться критически къ произведеніямъ автора „Войны и Мира“. Такое безцеремонное заявленіе московскаго критика раздражило всѣхъ петербургскихъ рецензентовъ: а они и безъ того уже сдѣлали много уступокъ увлеченію публики, жадно читавшей „Анну Каренину“. Впрочемъ, степень усмѣха извѣстнаго романа опредѣлить трудно до тѣхъ поръ, пока онъ не явится

отдельной книжкой. Изъ того, что романъ всё прочли, не слѣдуетъ инеколько, что онъ всёми понравился или удовлетворилъ большинство. До сихъ поръ у насъ нѣтъ настоящаго опредѣленія *публики* или, лучше сказать, развитая публика еще не достаточно опредѣлила свою физиономію. Она по необходимости представляетъ собой интеллигентное *меньшинство*, а въ немъ такой романъ, какъ „Анна Каренина“, не можетъ вызвать безусловныхъ восторговъ. Поэтому, если бы петербургская журналистика и совѣтъ эмансипировала себя отъ вкусовъ читающей публики, ее бы нечего было упрекать въ этомъ, только бы она достаточно мотивировала свои мнѣнія. Но, къ сожалѣнію, служеніе вкусамъ читающей публики все увеличивается, и не такъ давно одинъ изъ петербургскихъ газетныхъ рецензентовъ не задумался признать себя рабомъ или, какъ онъ выразился, „холономъ“ публики, обязаннымъ слѣдить за ея вкусами.

Прошлагодня половина „Анны Карениной“, гдѣ не только остовъ романа, но и весь замыселъ, его характерныя подробности почти вполнѣ выяснились, была достаточно усвоена и читателями и рецензентами. Всё, въ сущности, говорили почти одно и то же, т.-е. что замыселъ, сколько-нибудь задѣвающий нашу интеллигенцію, отсутствуетъ или слишкомъ замаскированъ въ романѣ, что сфера, изображаемая авторомъ, не можетъ въ этой интеллигенціи возбудить серьезнаго интереса, что авторъ слишкомъ выдѣляетъ эту сферу, что онъ вдается въ ненужное дилетантство, въ ненужное *смакованіе* всѣхъ подробностей жизни, пробѣденной насквозь безсодержательностію, что его объективность заходитъ за предѣлы допустимаго, наконецъ, что интрига романа отзывается общими мѣстами. Таковы были ходячіе и установившіеся толки объ „Аннѣ Карениной“ къ началу нынѣшняго года. Но всё или почти всё согласилось съ тѣмъ, что таланта потрачено множество, что мастерство остается все то же, а мѣстами въ описательныхъ изображеніяхъ достигаетъ крайняго совершенства, что съ такой выработкой манеры авторъ могъ бы написать на хорошій замыселъ про-

наведение высокаго интереса. Мы констатируемъ это всеобщее мнѣніе о *мастерствѣ* и беллетристической *завербѣ* гр. Л. Толстого и разберемъ его ниже, а теперь посмотримъ, какъ отнеслась петербургская журналистика къ продолженію романа въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ за текущій годъ.

Конѣцъ еще не напечатанъ, но все уже видѣть, что романъ кой-чѣмъ, развѣ героиня, вопреки ожиданіямъ, не умретъ отъ родовъ, а выздоровѣетъ и вступитъ въ новый періодъ отношеній къ мужу и къ своему возлюбленному. Если бы авторъ пошелъ на такой поворотъ избраннаго имъ сюжета, то онъ нисколько бы не удовлетворилъ читателей: всякій интересъ уже изсякъ и въ смыслѣ интриги и въ смыслѣ психическаго развитія главныхъ лицъ романа. Неувѣрность Анны Карениной разыгралась не только безъ какого-нибудь признака характернаго внимательства страстей и личнаго достоинства, но повела къ чувствительному финалу, который петербургскими рецензентами былъ найденъ неестественнымъ, сочиненнымъ, лишеннымъ всякой серьезности. Читатель знаетъ, что мужъ Анны Карениной, не пожелавшій сначала разводиться съ нею, подѣ концѣ рѣшается на этотъ шагъ, узнавъ, что она не выполнила даже единственнаго условія, поставленнаго имъ: не видѣться съ Вронскимъ у себя на дому. Каренина ѣзжаетъ въ Москву, чтобъ болѣе не возвращаться къ женѣ, но, вызванный оттуда телеграммой объ ея близкой смерти, находитъ ее въ предсмертномъ бреду, застаѣтъ около умирающей и Вронскаго, и проникается чувствомъ всепрощенія, и къ неувѣрной женѣ и къ ея любовнику. На этомъ моментѣ и заканчивается послѣдняя напечатанная глава. Сюда эта ведена искусно; но преднамѣренность ея очевидна. Автору захотѣлось разсѣять этотъ психологическій узелъ такимъ именно образомъ, и онъ не поцеремонился исказить правду. Въ такомъ произволѣ виденъ полумистическій мыслитель, жившій и живущій до сихъ поръ въ гр. Л. Толстомъ. Петербургскіе рецензенты, по своему, правы; правы они и въ томъ, что главы романа, напечатанныя въ обихихъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“, если не вполнѣ безсодержа-

тельны, то не прибавляют ничего новаго къ роману, не поднимаютъ нисколько его интереса. Въ нихъ завершается и эпизодъ душевной жизни Левина, этой непосредственной натуры, къ которой авторъ относится съ явной симпатіей. Исторія Левина нисколько не связана съ романомъ. Она могла бы быть сама по себѣ занимательна и даже полна внутренняго содержанія, если бы авторъ и на нее не наложилъ колорита плохо мотивированнаго оптимизма. Самый серьезный мотивъ въ исторіи Левина это: его хозяйство, то, что онъ переживаетъ какъ собственникъ-управитель, все его испытанія, думы и содержанія, все столкновенья съ народомъ, все то чувство недовольства, противорѣчія дисгармоніи, какое поднимается въ немъ при сознаніи, что вести хозяйство трудно или почти невозможно отъ постоянного антагонизма между народомъ и имъ, Левинымъ, какъ бывшимъ баринимъ, а теперешнимъ землевладельцемъ-управителемъ. Въ январской книжкѣ находимъ мы талантливую характеристику этого душевнаго и экономического момента. Тутъ опять г-н. Толстой выразилъ въ беллетристическихъ образахъ свои давнишнія мысли; давнишнее направленіе своего анализа, живущее въ немъ желаніе найти какой-нибудь здоровый исходъ въ вопросѣ сближенія съ народомъ, въ вопросѣ единенія интересовъ культурнаго слоя и народной массы. Также хорошо схваченъ и первый наплывъ ощущеній смерти, представленный въ нѣсколькихъ образахъ, струнированныхъ очень искусно. Левинъ бѣжитъ отъ всехъ этихъ испытаній и всего этого душевнаго разлада за границу, задавшись огромной программой наблюдений и опытовъ; но за границей поболтался онъ мѣсяца четыре и, вернувшись въ Москву, встрѣтился опять съ дѣвушкой, съ которой у него было уже начало романа. Эта любовь, самая обыденная, самая несодержательная, переполняетъ его чувствомъ жизни, радости, наслажденій, совершенно излѣчиваетъ отъ всякихъ думъ, отъ всякаго скептицизма и приводитъ къ тихой и блаженной пристани, къ той пристани, которую г-н. Толстой въ разныхъ видахъ рекомендуетъ намъ въ своихъ романахъ, т. е. къ

безмятежному супружескому *диноу*, если намъ позволено будетъ такъ выразиться. И выходитъ, что вся психологія Левина, всѣ его внутренніе вопросы представляли собой лишь подробности, украшеніе романа, и свелось такъ же непоследовательно, такъ же произвольно, какъ и драма четы Карениныхъ, на такой исходъ, который нисколько не удовлетворилъ мыслящаго читателя.

Вопросъ мастерства автора остался, какъ мы сказали, нетронутымъ. Одинъ изъ петербургскихъ рецензентовъ по-дурически предоставляетъ всѣмъ желающимъ восхищаться художественными красотами „Анны Карениной“ и уклоняется отъ нескотливой задачи — обследовать внѣшнюю артистическую часть работы. Но нашему мнѣнію, эта артистическая часть произведенія гр. Л. Толстого — одинъ изъ ходячихъ *предразсудковъ* не только публики, но и всѣхъ почти рецензентовъ. Когда педагогическая статья гр. Л. Толстого напала шуму, то всѣ его враги педагоги начали кричать, что успѣхъ этой статьи держится исключительно за *эстетическое изложенье*, за мастерскую стиль автора. Сколько намъ помнится, одинъ лишь г. Михайловскій, такъ горячо зацѣпавшій идеи гр. Л. Толстого, показалъ, что, напротивъ, внѣшняя-то сторона статьи и не выдерживаетъ никакой критики, что изложеніе гр. Толстого въ высшей степени неискусно, что мѣстами онъ пишетъ почти непозволительно плохо, не только въ стилистическомъ, но и просто въ грамматическомъ отношеніи. Такая замѣтка г. Михайловскаго, при всей ея очевидности (такъ какъ правда тутъ бросилась въ глаза), была все таки первымъ по счегу заявленіемъ того, что художественнымъ критикамъ слѣдовало бы давнымъ давно отмѣтить. Гр. Л. Толстой обладаетъ несомнѣннымъ даромъ реалиста: схватывать жизнь въ ея подробностяхъ, чувствовать ея правду и главнымъ образомъ показывать, какъ отдѣльныя личности проходятъ черезъ всевозможныя ощущенія обыденной дѣйствительности; имѣетъ онъ также несомнѣнный богатый даръ — отчетливо, опредѣленно, ясно и характерно изображать, посредствомъ всякаго рода деталей, минуты какого-нибудь совокупнаго дѣй-

ствія, рисовать картины, возстающія передъ нами цѣликомъ безъ всякаго участія авторской фантазіи или авторскаго произвола. Вотъ дѣйствительно главные художественныя способности. Но намъ извѣстно, что гр. Толстой любитъ разсказывать и разсуждать, *т. е. онъ себя* характеризовать своихъ героевъ и героинь и излагать различнаго рода соображенія, мысли или подробности отношеній между дѣйствующими лицами.

Вотъ въ такихъ чисто *авторскихъ мѣстахъ* его романа, и въ особенности „Анны Карениной“, мы не только не находимъ высокаго мастерства, а, напротивъ, поражены бываемъ неумѣлостью изложенія, многословіемъ, вялостью и неуклюжестью фразъ, отсутствіемъ настоящаго *словеснаго дара*. Можно, пожалуй, объяснить это небрежностью работы, но, сколько мы слышали, гр. А. Толстой отдѣлывается старательно не только свои манускрипты, но и корректуры. Въ такія авторскія мѣста выходятъ изъ-подъ его пера, удовлетворяя его личнымъ требованіямъ, показывая, что лучше этого онъ сдѣлать не можетъ, а между тѣмъ работа, еслибъ она не принадлежала гр. Толстому, т. е. человѣку, признанному первокласснымъ романистомъ, вызвала бы ничѣмъ не сдержанное раздраженіе въ читателѣ. Теперь, когда критика и публика ищеть, главнымъ образомъ, содержанія, типовъ, характеровъ, положеній, — достоинство языка, мастерство слога отходитъ на задній планъ, но когда романистъ перестанетъ совершенно удовлетворять и въ первомъ смыслѣ, всё, хотя и *однимъ человекомъ*, убѣдится въ весьма сильныхъ отрицательныхъ свойствахъ гр. А. Толстого, какъ стилиста, какъ излагателя, какъ діалектика.

Петербургскіе рецензенты, при всей своей склонности къ изобличительной критикѣ, не обратили вниманія и на то, что въ свѣтскихъ главахъ, появившихся въ январской и февральской книжкахъ „Русскаго Вѣстника“, чувствуется несомнѣнная *старомодность*, мало того, дѣланность, сочиненность. Точно вы читаете повѣсть 40-хъ годовъ съ искусственными приѣмами великосвѣтскости. Мы не хотимъ вдаваться въ разбирательство вопроса: съ натуры или цѣль

писалъ Толстой своихъ дамъ петербургскаго свѣта. Если и съ натуры, то онъ *самъ* слишкомъ участвуетъ въ томъ впечатлѣніи, какое онѣ производятъ: онѣ какъ бы заставляють ихъ вдаваться въ условный и притомъ весьма безвкусный и безцвѣтный жаргонъ. Онъ самъ не пожелать или не сумѣлъ сдѣлать ихъ новѣе, занимательнѣе или, по крайней мѣрѣ, курьезнѣе. Онъ относится къ нимъ съ объективностью дурного тона, даже съ аффектаціей: онъ по произволу создаетъ какихъ-то плѣнительныхъ женщинъ „съ невыразимыми глазами“, какихъ, право, и большой петербургскій свѣтъ не доставляетъ искателямъ всякихъ элегантностей. Никто не требуетъ того, чтобы авторъ непременно скептически или съ пропой отнесся къ свѣтскимъ людямъ: но есть манера, обличающая и настоящаго художника и человека на извѣстной культурной высотѣ. Вспомните свѣтскія главы въ „Сентиментальномъ воспитаніи“ французскаго романиста Флобера. Онъ тоже изображаетъ пустыхъ барынь, свѣтскихъ мужичковъ, даетъ намъ подробное описаніе визитовъ, вечеровъ, баловъ, и держится пріемовъ объективнаго художника.

Но какъ это все безукоризненно, какой чуть замѣтный отблескъ симпатичной трезвости проникаетъ всю его художественную работу. На подобное мастерство нашъ романистъ врядъ ли способенъ, а если и способенъ, то ему нужно предварительно отрѣшиться отъ всякой побрякки своему дилетанству, желанію черезчуръ возиться съ разными тонкостями великосвѣтскаго быта, откуда онъ, однако, не предвосхищаетъ для читателя ничего истинно характернаго.

На этомъ мы пока остановимся, а когда „Анна Каренина“ дѣйствительно закончится, обсудимъ еще разъ и болѣе подробно содержаніе романа, какъ картины извѣстной доли русскаго общества, какъ рядъ этюдовъ психолога, моралиста и бытописателя.

Изъ „Мелань“ 1876 г.

\* \*

\*) При замѣчательной скудости нашей беллетристики, единственнымъ литературнымъ произведеніемъ, заинтересовавшимъ собою въ послѣднее время нашу публику, является романъ графа Л. Н. Толстого „Анна Каренина“. Первые двѣ части этого замѣчательнаго романа помѣщены были въ началѣ прошлаго года въ четырехъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“, и вотъ, послѣ долгаго перерыва, мы снова встречаемъ продолженіе его въ первыхъ книжкахъ этого журнала за 1876 годъ. Какъ глубокій знатокъ человеческого сердца, изучившій условія нашего общественнаго быта во всѣхъ слояхъ его, авторъ рисуетъ передъ нами картину той стороны нашей жизни, на которой останавливались самыя сильныя мыслители, теряясь въ выводахъ для разрѣшенія задачи. Главною темою разсказа служить семейный разладъ между Каренинымъ и его женою Анною, предавшеюся всѣмъ пыломъ своей страсти Вронскому, одному изъ столичныхъ львовъ. Хладнокровно обсудивъ свое положеніе, скорбленный мужъ, во избѣжаніе всякихъ толковъ, не измѣняетъ предъ другими своихъ отношеній къ женѣ и, требуя отъ нея соблюденія вѣнскихъ приличій, ставитъ для нея непремѣннымъ условіемъ, чтобы она только не принимала Вронскаго у себя въ домѣ. Разумное и довольно скромное требованіе это не выполняется Анною, и въ послѣдней главѣ мы видимъ несчастную женщину на смертномъ одрѣ, послѣ родовъ, умоляющую мужа о прощеніи и примиреніи съ Вронскимъ.

„Душевное разстройство Алексѣя Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что онъ пересталъ бороться съ нимъ: онъ вдругъ почувствовалъ, что то, что онъ считалъ душевнымъ разстройствомъ, было, напротивъ, блаженное состояніе души, давнее ему новое, никогда не испытанное имъ счастье. Онъ не думалъ, что тотъ христіанскій законъ, которому онъ всю жизнь свою хотѣлъ слѣдовать, предписывалъ ему прощать и любить своихъ враговъ: но радостное чувство любви и прощенія

къ прагамъ наполнило его душу. Онъ стоялъ на кофляхъ и, положивъ голову на ее руку, которая жгла его огнемъ черезъ кофту, рыдалъ какъ ребенокъ“.

„Я простилъ ее, говорить затѣмъ Каренинъ Вронскому, и счастье прощенья открыло мнѣ мою обязанность, я простилъ совершенно. Я хочу представить другую щеку и хочу отдать рубашку, когда у меня берутъ кафтанъ, и молю Бога только о томъ, чтобы Онъ не отнялъ у меня счастье прощенья“.

Такая постановка вопроса о семейномъ разладѣ, отъ котораго приходится страдать громадному числу людей, не вида другого исхода, кромѣ грубаго разрыва, общается большой интересъ въ остальныхъ частяхъ романа, о которыхъ мы надѣемся поговорить: когда содержаніе его будетъ уже закончено. Теперь, однакожъ, мы не можемъ обойти молчаніемъ замѣчательную типическую личность помѣщика Левина, вполне преданнаго рациональному устройству своего хозяйства и искренно любящаго народъ, но, несмотря на то, постоянно обрывающагося въ своихъ гуманныхъ и серьезно задуманныхъ затѣяхъ.

Въ одной изъ главъ третьей части авторъ приводитъ разговоръ Левина съ деревенскимъ старожиломъ, страстнымъ сельскимъ хозяиномъ, который, выражая недовольство современнымъ порядкомъ сельскаго хозяйства, говоритъ, что единственный еще путь вести хозяйство заключается въ томъ, чтобы отдать землю изподу или въ наймы мужикамъ, но этимъ самымъ, по его словамъ, уничтожится общее богатство государства. Гдѣ земля при крѣпостномъ трудѣ и хорошемъ хозяйствѣ приносила самъ-десять, она изподу принесетъ самъ-третьей. Погубила Россію эмансипація, заключаетъ старожилъ-помѣщикъ. Слова помѣщика не кажутся Левину смѣшными, онъ понимаетъ ихъ болѣе, чѣмъ отзывы другихъ помѣщиковъ. Много же изъ того, что дальше говорилъ помѣщикъ, доказывая, почему Россія погублена эмансипаціей, показалось ему даже очень вѣрнымъ, для него новымъ и неопровержимымъ. Помѣщикъ, очевидно, говоритъ свою собственную мысль, что такъ рѣдко бываетъ, и

мысль, къ которой онъ приведенъ былъ не желаніемъ за-  
нять чѣмъ-нибудь праздный умъ, а мысль, которая выросла  
изъ условій его жизни, которую онъ высидѣлъ въ своемъ  
деревенскомъ уединеніи и со всѣхъ сторонъ обдумалъ.

Взявшись за дѣло перестройки своего хозяйства съ цѣ-  
лю заинтересовать рабочихъ въ успѣхахъ хозяйства, Ле-  
винъ добросовѣстно сталъ пересчитывать все, что относи-  
лось къ его предмету, и намѣревался ѣхать за границу,  
чтобы изучить это дѣло еще на мѣстѣ. Читая сочиненія  
европейскихъ ученыхъ, онъ убѣдился, однакожь, что они  
ничего не могутъ сказать ему. Онъ видѣлъ, что Россія  
имѣетъ прекрасныя земли, прекрасныхъ рабочихъ и что въ  
нѣкоторыхъ случаяхъ рабочіе и земля производятъ много;  
въ большинствѣ же случаевъ, когда по-европейски прикла-  
дывается капиталъ, производятъ мало и что происходитъ  
это только отъ того, что рабочіе хотятъ работать и рабо-  
таютъ хорошо однимъ имъ свойственнымъ образомъ и что  
это противодѣйствіе не случайное, а постоянное, имѣющее  
основаніе въ духѣ народа. Онъ думалъ, что русскій на-  
родъ, имѣющій призваніемъ заселять и обрабатывать огром-  
ныя незаселенныя пространства, сознательно, до тѣхъ поръ  
пока всѣ земли не заняты, держится нужныхъ для этого  
пріемовъ и что эти пріемы совсѣмъ не такъ дурны, какъ  
это обыкновенно думаютъ. И онъ хотѣлъ доказать это те-  
оретически — въ книгѣ и на практикѣ — въ своемъ хозяйствѣ.

Такова личность помѣщика Левина, выступающая весьма  
рельефно въ романѣ, и вообще должно замѣтить, что эта  
сторона въ новомъ произведеніи графа Толстого привлекаетъ  
къ себѣ едва ли не большее вниманіе, чѣмъ главная ин-  
трига между Анной Карениной и Вронскимъ.

*Изъ „Гражданина“ за 1876 г.*

\*\*\*

\*) Давно ожидаемое публикою продолженіе романа гр.  
Толстого „Анна Каренина“, явилось, наконецъ, въ январѣ

\*) „Русскія Вѣдомости“ 1876 г., № 43. Стала II-ая.

ской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“. Читая его, еще разъ убѣждаешься въ справедливости высказаннаго болѣею частью критиковъ сожалѣнія, что такой громадный талантъ тратится на такое ничтожное содержаніе, какъ изображеніе пустой жизни, вздорныхъ понятій и мелкихъ интересовъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли заинтересоваться ходомъ жизни, думами, стремленіями, душевными волненіями такого, напримѣръ, лица, какимъ представляется герой романа Вронскій, умственную и нравственную фizioномію котораго самъ авторъ изображаетъ такъ: „Жизнь Вронскаго тѣмъ была особенно счастлива, что у него были сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ все, что можно и не должно дѣлать. Сводъ этихъ правилъ обнималъ очень малый кругъ условій, но за то правила были несомнѣнны, и Вронскій, никогда не выходя изъ этого круга, никогда ни на минуту не колебался въ исполненіи того, что должно. Правила эти несомнѣнно опредѣляли, что нужно заплатить шутеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорбленій и можно оскорблять и т. д. Все эти правила могли быть не разумны, не хороши, но они были несомнѣнны, и исполняя ихъ, Вронскій чувствовать, что онъ спокоенъ и можетъ высоко носить голову.“

Блестящія свойства таланта графа Толстого достаточно извѣстны обществу. Самое же выдающееся изъ этихъ свойствъ, въ чемъ именно и заключается тайна его генія — это поразительное знаніе процесса, которымъ идетъ жизнь чувства и умѣнье рисовать до мельчайшихъ подробностей всѣ отѣнки его, обусловливаемые возрастомъ, поломъ, общественнымъ положеніемъ, образованіемъ и проч. Произведенія графа Толстого — это своего рода трактаты опытной психологій. Обратите, напримѣръ, вниманіе на размышленія Алексѣя Александровича, когда жена объявила ему о своихъ отношеніяхъ къ Вронскому. Съ какою изумительною наглядностью изображена здѣсь внутренняя работа столкнувшихся разомъ разнообразныхъ чувствъ и ощущеній. Количественное вліяніе каждаго изъ нихъ приводитъ Алексѣя Александровича

къ рѣшенію удержать при себѣ, „скрывъ отъ свѣта случившееся и употребивъ все зависящія мѣры для прекращенія связи и, главное, въ чемъ самому себѣ онъ не признавался.—для наказанія ея“. И вотъ, когда рѣшеніе, соответствующее его *собственнымъ выгодамъ и интересамъ*, было имъ окончательно принято, — ему пришло еще другое важное соображеніе. „Только при такомъ рѣшеніи я поступаю и сообразно съ основами религіи, сказала онъ себѣ, только при этомъ рѣшеніи я не отвергаю отъ себя преступную жену, а даю ей возможность исправленія и даже — какъ ни тяжело это мнѣ, — посвящаю часть своихъ силъ на исправленіе и спасеніе ея.“ „Хотя Алексѣи Александровичъ и зналъ, что онъ не можетъ имѣть на жену нравственнаго вліянія, что изъ всей этой попытки исправленія ничего не выйдетъ, кромѣ джиги: хотя, переживая эти тяжелыя минуты, онъ и не подумалъ ни разу о томъ, чтобы искать руководства въ религіи, теперь, когда его рѣшеніе совпадало съ требованіями, какъ ему казалось, религіи, — эта религіозная санкція его рѣшенія давала ему полное удовлетвореніе и отчасти успокоеніе. Ему было радостно думать, что и въ столь важномъ жизненномъ дѣлѣ никто не въ состояніи будетъ сказать, что онъ не поступилъ сообразно съ правилами той религіи, которой знамя онъ всегда держалъ высоко среди общаго охлажденія и равнодушія.“ Какое знаніе человѣческаго сердца! Какъ хорошо выражена склонность человѣка подгонять требованія религіи и нравственнаго долга къ эгоистическимъ интересамъ и рѣшеніямъ! Мало того: человѣкъ не только склоненъ и умѣетъ находить въ религіи и нравственныхъ требованіяхъ санкцію своимъ эгоистическимъ влеченіямъ, — слѣдуя имъ, онъ зачастую искренно убѣжденъ, что несетъ бремя, что жертвуетъ своими интересами ради пользы другихъ. Этотъ именно интересный психологическій фактъ отмѣчаетъ графъ Толстой въ словахъ Алексѣя Александровича, — „только при этомъ рѣшеніи я не отвергаю отъ себя преступную жену, а даю ей возможность исправленія и даже — какъ ни тяжело это мнѣ будетъ — посвящаю часть своихъ силъ на исправленіе и спасеніе ея.“

Или возьмите, напримеръ, сцену свиданія Анны Карениной съ Вронскимъ, когда она объявляетъ ему, что рассказала мужу все. Какой тонкій анализъ моральныхъ, быстро мѣняющихся впечатлѣній и ощущеній. За пятью—шестью словами, сказанными действующими лицами, въ едва уловимыхъ для обыкновеннаго наблюдателя измѣненіяхъ выраженія ихъ лицъ, вы легко усматриваете сложныя психическіе процессы, изъ коихъ нѣкоторые они желали бы скрыть и описаніе которыхъ потребовало бы многихъ страницъ.

Приходить эту сцену и вообще знакомить читателя съ содержаніемъ продолженія романа или съ лучшими его мѣстами считаемъ излишнимъ, такъ какъ рѣдко можно встрѣтить человека, который не слѣдилъ бы за этимъ романомъ.

*Изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ 1876 г., Серия 2, № 10.*



\*) Крупнѣйшимъ изъ литературныхъ факторовъ минувшаго года является, безъ сомнѣнія, новый, еще не оконченный, романъ графа Л. Н. Толстого. Мы уже имѣли случай высказаться по поводу первой его половины, и намъ мало остается прибавить къ тому, что было сказано въ свое время. Вопреки болѣе или менѣе основательнымъ возраженіямъ, какія возбудилъ этотъ романъ въ публикѣ то или иныхъ толкахъ не говоримъ, потому что нашей критикѣ, при ея нынѣшнемъ состояніи, не слѣдовало бы также держать толковать о подобныхъ художественныхъ созданіяхъ. Завно уже ни одно литературное явленіе не возбуждало такого живого и можно сказать неслыханнаго интереса. Въ настоящее время, *Анна Каренина* облетѣла уже всю граціозную Россію, и не легко встрѣтить человека, пренебрегающаго на образованность, который не прочелъ бы ея. Впечатлѣніе уже сложилось, и какъ кажется единодушное.

Всѣ увлечены несравненнымъ художественнымъ талан-

\*) „Русскія Вѣдомости“ 1876 г., № 1. „Историческое обозрѣніе“ Серия 2, № 1. Аверченко.

томъ автора, все почувствовали несказанную прелесть разсказа, все, но мѣръ эстетической способности каждого, насладились чуднымъ богатствомъ красокъ, яркихъ и мягкихъ въ одно и то же время, раздражающихъ глазъ своимъ богатымъ разнообразіемъ и погружающихъ душу въ созерцательное спокойствіе благодаря тайному искусству, съ каковымъ авторъ умѣлъ примирить эту радужную, праздничную пестроту въ единствѣ общаго тона. Громадный художественный талантъ, это та сила, съ помощью которой графъ Толстой подавлялъ все возраженія, возникающія при чтеніи его романа. Мысль сохраняетъ ихъ, но изъ впечатлѣній они изглаживаются; читатель увлекается вкрадчивою, изычно-раздражающею прелестью разсказа, онъ не можетъ бороться противъ одолевашей его потребности отдаться свободному и широкому стремленію художника, и съ наслажденіемъ вступаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ это поэтическое море, гдѣ сквозь молочный туманъ сверкають озаренія, приближающіяся очертанія... Противъ чарующей и подымающей силы этого впечатлѣнія мысль безсилна устоять. Временами она какъ будто чувствуетъ какое-то неудовольствіе, она какъ будто хочетъ заглянуть куда-то черезъ голову выведенныхъ авторомъ лицъ, испытываетъ что-то похожее на недоверіе къ нравственному исходу, обрѣтаемому Константиномъ Левинымъ въ его сельско-хозяйственной идилліи, но краски, образы, похищающее очарованіе разсказа держать въ плѣну воображеніе и чувство. Способность разсказывать у графа Толстого такъ велика, что для эстетически-воспримчиваго читателя становится, наконецъ, все равно, о чемъ онъ разсказываетъ. Вопросы о внутреннемъ содержаніи, о соразмѣрности плана, о стройности конценціи, объ экономіи подробностей,—все это какъ-то само-собою исчезаетъ, какъ скоро отдаешься свободному, неправильному, часто весьма капризному теченію романа. У графа Толстого вся сила тамъ, гдѣ свободно творитъ художническое своеволие. Самымъ свѣжимъ впечатлѣніемъ вѣсть у него отъ гѣхъ страницъ, гдѣ онъ не только не хочетъ высказать какую-нибудь опредѣленную мысль, какое-нибудь хотя бы

глубоко-вѣрное или смѣло-парадоксальное воззрѣніе, но гдѣ даже ему удается скрыть свои симпатіи къ дѣйствующему лицу. Талантъ графа Толстого — объективный въ самомъ строгомъ смыслѣ, хотя у него постоянно есть любимые герои, но именно потому, что онъ талантъ чисто-объективный, эти любимые герои съ ихъ нѣсколько субъективными требованіями отъ жизни, обыкновенно составляютъ наименѣе сильную сторону его произведеній.

Графъ Толстой никогда не пользуется многими изъ тѣхъ приѣмовъ, которые издавна законнымъ образомъ вошли въ беллетристическую практику. Фабула его романовъ обыкновенно очень несложна; дѣйствующихъ лицъ хотя много, но они располагаются скорѣе въ видѣ портретной галлерей, чѣмъ закручиваются въ омыя стремительныя водовороты; личная предпримчивость героевъ, какъ мы сказали, всегда очень ограничена и не выступаетъ изъ сферы внутренней жизни. Такимъ образомъ, всѣ тѣ условія, которыми наиболѣе обезпечивается успѣхъ въ массѣ читателей обыкновенно отсутствуютъ въ произведеніяхъ графа Толстого. И тѣмъ не менѣе, успѣхъ его постоянно такъ великъ, что въ этомъ отношеніи онъ стоитъ внѣ всякой конкуренціи. Гдѣ же тайна этого громаднаго впечатлѣнія, производимаго художественными созданіями автора *Войны и Мира*?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ приходится опять обратиться къ сказанному раньше о необычайной прелести его разсказа. Опредѣлить, въ чемъ именно заключается эта прелесть, изъ какихъ элементовъ она слагается—дѣло чрезвычайно трудное. Впрочемъ, мы конечно не ошибемся, если скажемъ, что важнѣе всего необыкновенное богатство оттѣнковъ, которыми графъ Толстой рисуетъ развитіе чувства. Живонисъ чувства справедливо считается достояніемъ только большихъ художественныхъ талантовъ. У писателей менѣе глубокихъ, страсть изображается обыкновенно только въ ея стереотипныхъ и скорѣе символическихъ, чѣмъ реальныхъ формахъ. Есть нѣсколько извѣстныхъ крупныхъ моментовъ, чрезъ которые проходитъ чувство; моменты эти настолько символизировались, что каждый романистъ легко

находить для изображенія ихъ готовыя краски и подсказанныя беллетристическою практикой положенія. Это тѣ моменты, которые сознаетъ въ себѣ всякій, хотя однажды испытавшій жизнь сердца и воображенія. Но для наблюдателя болѣе тонкаго и художественно воспримчиваго, пространство между этими моментами представляется наполненнымъ цѣнью мелкихъ, постоянно варьирующихся впечатлѣній и ощущеній, анализъ которыхъ, помогая детальной живописи чувства, сообщаетъ роману ту чарующую и увлекающую, тонкую прелесть, которой напрасно будемъ искать у беллетристовъ, останавливающихся на однихъ стереотипныхъ моментахъ и переходахъ чувства, хотя бы эти моменты были изображены живо и страстно. Хотя бы они были вмѣщены въ интересную и оригинальную фактическую обстановку. Какъ въ картинѣ полное совершенство и законченность достигаются тщательною выработкой всѣхъ полутоновъ, такъ и въ романѣ детальная живопись чувства, со всѣми неуловимыми оттѣнками, необходима для полного очарованія. Въ этомъ искусствѣ живописи чувства заключается главная причина очарованія. Внутренняя жизнь сердца, модульные страсти—нецѣлостны; но у писателей очень молодыхъ или неглубокихъ, не переживающихъ собственнымъ чувствомъ и собственной мыслью всѣхъ перипетій изображаемой драмы, страсть обыкновенно выходитъ какою-то голою, проявляется въ рутинныхъ, стереотипныхъ формахъ, отчего впечатлѣніе, конечно, понижается въ силѣ и въ тонкости. Способность читателя къ ощущенію, какъ и всякая способность, неизбежно притупляется, если ощущеніе возобновляется постоянно при помощи одного и того же приѣма, ударяетъ по одному и тому же мѣсту; необходимо его варьировать, необходимо искать нетронутыхъ подробностей, не примелькавшихся для глаза и слуха оттѣнковъ, эпитетовъ, красокъ, положеній. Литературное мастерство сдѣлалось въ наше многоопытное и ничему не удивляющееся время дѣломъ чрезвычайно труднымъ. Все до такой степени примелькалось, въ общій оборотъ вошло столько удачныхъ образовъ, символовъ, выраженій, что достигнуть свѣжести,

новизны и оригинальности для художниковъ стало крайне трудно. Только очень плодотворное воображеніе, очень изощренная наблюдательность и долгое, серьезное обдумываніе могутъ помочь таланту быть новымъ и свѣжимъ въ произведеніи, которое по необходимости приходится писать не на новые и не свѣжіе мотивы. Новый романъ графа Толстого несетъ на себѣ все признаки этой борьбы, съ честью выдержанной высоко-даровитымъ авторомъ. Вы въ немъ наталкиваетесь на знакомые мотивы, но эти мотивы производятъ на васъ совершенно свѣжее впечатленіе, потому что рука, разработавшая ихъ, нашла новые отбѣнки, новые сочетанія звуковъ. Богатство безпрерывно варьируемыхъ отбѣнковъ, строгая обдуманность каждого эпитета, способность доработаться до составныхъ элементовъ каждого образа, каждого тона, и полутона—вотъ гдѣ главная техническая тайна того творчества, какое видимъ въ созданіяхъ графа Толстого.

Изъ „Русскаго Вѣстника“ 1876 г.  
(Статья А. (В. А. Аверинко)).

\*\*\*

\*) Съ нетерпѣніемъ ожидавшееся продолженіе „Анны Карениной“ появилось, наконецъ, въ заглавной январской книгѣ „Русскаго Вѣстника“. Что же дастъ намъ графъ Л. Н. Толстой въ новыхъ главахъ своего романа? Но прежде чѣмъ отвѣчать на вопросъ этотъ, мы должны сказать нѣсколько словъ о нашихъ читателяхъ и критикахъ, потому что отношеніе какъ тѣхъ, такъ и другихъ къ „Аннѣ Карениной“ чрезвычайно характерно.

Со времени появленія „Войны и Мира“, почти вся читающая Россія смотритъ на гр. Толстого какъ на перваго нашего писателя — и не удивительно, что каждое его новое слово ожидается съ волненіемъ и встрѣчается съ востор-

---

\*) „Русскій Миръ“ 1876 г., № 46. „Современная литература“. Статья В. С.—ва (В. С. Соловьевъ).

гомъ. Но это волненіе и этотъ восторгъ иногда такъ сильны, ореолъ художественнаго авторитета внушаетъ такое благоговѣніе, что читатель склоненъ не довѣрять своимъ личнымъ мыслямъ и своему вкусу, объяснять, быть можетъ, возникающее при чтеніи недовольство и неудовлетворенность только собственною некомпетентностью и заставлять себя наслаждаться чтеніемъ безъ всякихъ разсужденій. То же самое ощущаетъ и иной робкій критикъ, боящійся прямо и спокойно взглянуть на новое твореніе знаменитаго, *великаго* признаннаго художника и превращающій свой отзывъ въ непрерывный рядъ восклицательныхъ знаковъ восторга и изумленія.

Съ другой стороны, есть у насъ и такіе люди, которыхъ почему-то необыкновенно раздражаетъ и оскорбляетъ prestige всякаго таланта. Эти люди, пишущіе или не пишущіе, уже заранѣе знаютъ, еще не читавъ известнаго произведенія, что они будутъ бранить его и, по мѣрѣ силъ своихъ, надъ нимъ глумиться. Пускай глубокій талантъ автора смутитъ ихъ и невольно доставитъ имъ минуты эстетическаго наслажденія, пускай они даже сознательно поймутъ прелесть и значеніе прочитаннаго, — но все же демонъ литературной злобы и раздраженія, оскорбляющее ихъ сознаніе собственнаго безсилія, еще ярче выступающаго отъ сравненія съ чужою силою, возьмутъ верхъ надъ правдой и искренностью и подготовятъ въ устахъ ихъ самый недѣльный отзывъ. Какое изъ этихъ двухъ пристрастныхъ отношеній къ художественному творенію неприличнѣе — рѣшить трудно, но, во всякомъ случаѣ, и то и другое, по нашему мнѣнію, *равно* оскорбительны для автора, отдающаго свое произведеніе на судъ общества. Начинаящій писатель, еще не увѣренный въ своихъ силахъ, въ истинности своего призванія, или литературно-ремесленная бездарность могутъ придавать значеніе лестному о нихъ отзыву, могутъ бояться устныхъ и печатныхъ порицаній. Но такой глубокий и истинный художникъ, какъ авторъ „Войны и Мира“, непременно долженъ стоять выше всѣхъ этихъ мелкихъ некотаній самолюбія. Ему не нужна безсмысленная лесть и рабское по-

клоненіе, его не въ силахъ смутить смѣнная злоба зависти. Своимъ могучимъ талантомъ, своими прекрасными твореніями онъ заслужилъ себѣ высшее и трудно достигаемое право на безпристрастное и серьезное отношеніе къ нему общества, на большія требованія и ожиданія, обращенныя къ его таланту. Ему много дано, съ него много должно и взыскаться.

Никогда еще боязнь своего самостоятельнаго, личнаго сужденія, преклоненіе предъ авторитетомъ, съ одной стороны, и оскорбленіе чужимъ талантомъ, съ другой, — не высказывались у насъ такъ ярко, какъ при появленіи „Анны Карениной“. Никогда еще не выражались такихъ сознательно и безсознательно пристрастныхъ отзывовъ. Читать „Анну Каренину“ и говорить о ней — это всеми признанная необходимость и въ то же время мученіе. Недостатки романа составляютъ ужасный призракъ для жрецовъ и поклонниковъ гр. Толстого — и жрецы и поклонники со страхомъ и трепетомъ, съ мнимой храбростью отвергаютъ эти недостатки, признаютъ ихъ не существующими. Достоинства романа оскорбляютъ враговъ всякихъ достоинствъ, и они тщетно стараются уничтожить ихъ значеніе своимъ глумленіемъ. Отъ этого происходитъ возможность самыхъ изумительныхъ отзывовъ въ періодическихъ изданіяхъ. Отъ этого происходитъ абсурдъ, доходящій, съ одной стороны, до разсужденій „о коровѣ Павѣ“, высказанныхъ какимъ-то малограмотнымъ бойцомъ „Дѣла“, и, съ другой стороны, до печатныхъ объявленій, что наша критика „даже не смѣетъ дерзнуть толковать о подобныхъ художественныхъ созданіяхъ“, потому что это не ея ума дѣло. Но среди неискреннихъ восторговъ и неискреннихъ глумленій, какъ въ отзывахъ печати, такъ и въ отзывахъ читателей, замѣчается одно: „Анна Каренина“, несмотря на все свои достоинства, не удовлетворяетъ, и оставляетъ серьезнаго читателя въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Свидѣтельства этихъ недоумѣній и недовольства можно найти даже въ „Литературномъ обозрѣніи“ „Русскаго Вѣстника“. Авторъ „обозрѣнія“ признается, что романъ возбудилъ въ публикѣ возраженія, и

считает нужным защищать графа Толстого. Онъ говоритъ: „Громадный художественный талантъ это та сила, съ помощью которой графъ Толстой подавлялъ все *возраженія, возникающія* при чтеніи его романа. *Мысль сохраняется* изъ, по изъ впечатлѣніи онъ излагаются; читатель увлекается вкрадчивою, изящно раздражающею прелестью разсказа, онъ *не можетъ бороться* противъ одолевашей его потребности отдаться свободному и широкому стремленію художника, и съ наслажденіемъ вступаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ это поэтическое море, гдѣ, сквозь молочный туманъ, сверкають озаренныя, приближающіеся очертанія. Противъ чарующей и подымающей силы этого впечатлѣнія *мысль безцѣльна и беспомощна*. Временами она какъ будто чувствуетъ какое-то *неудовлетвореніе*, она какъ будто *хочетъ заглянуть куда-то черезъ голову выведенныхъ лицъ, попытаться что-то похожее на недовѣріе* къ нравственному пеходу, обрѣтаемому Константиномъ Левинымъ въ его сельскохозяйственной идилліи; но краски, образы, подкупающее очарованіе разсказа держать въ плѣну воображеніе и чувство. Способность разсказывать у гр. Толстого такъ велика, что для эстетически-воспримчиваго читателя становится, наконецъ, *все равно, о чемъ онъ разсказываетъ*. Вопросы о *стигирренномъ содержаніи, о соразмѣрности плана, о стройности композиціи, объ экономіи подробностей*—все это какъ-то само собою *исчезаетъ*, какъ скоро отдаешься свободному, неправильному, часто весьма капризному теченію романа“.

Эти строки принадлежать перу самого горячаго поклонника „Анны Карениной“, а слѣдовательно въ нихъ заключается максимумъ возможной похвалы новому произведенію автора „Войны и Мира“. Между тѣмъ не нужно даже очень внимательно вглядываться, чтобы ясно увидѣть, что вся эта громкая похвала не что иное, какъ довольно слабая защита. Авторъ признается, что при чтеніи романа возникаютъ возраженія, что мысль ихъ сохраняетъ, чувствуетъ неудовлетвореніе, хочетъ заглянуть выше выводимыхъ лицъ, испытываетъ недовѣріе, что художникъ не вполне удовлетво-

ристь требованіямъ внутренняго содержанія, соразмѣрности плана, строгости концедіи... Обвиненія довольно тяжкія, требующія особенно сильной защиты. Между тѣмъ, вся защита заключается лишь въ томъ, что сила таланта и прелесть разсказа заставляютъ читатели забывать все ошибки и недостатки романа. Самъ авторъ, конечно, очевидно, сознаетъ, что этого недостаточно. Огъмъ вольно сводится къ тому, что, несмотря на огромный талантъ гр. Толстого, „Анна Каренина“, какъ романъ, не выдерживаетъ строгой критики. Съ этимъ мнѣніемъ мы во многомъ согласны.

Что же сказать о новыхъ главахъ? Передавать ихъ содержаніе невозможно, потому что все его значеніе заключается въ талантѣ автора, въ прелести разсказа. Эта прелесть дѣйствительно велика и въ состояніи, пожалуй, такъ настроить человека, что „станетъ, наконецъ, все равно, о чемъ разсказываетъ авторъ“, только бы онъ разсказывать. Но дѣло въ томъ, что критикъ, обязанный отчетностью, не можетъ, по нашему мнѣнію, всецѣло предаваться гармоніи звуковъ, унываться „изящно-раздражающею прелестью разсказа“. Онъ не имѣетъ никакого права заставлять молчать свою мысль и забывать ея требованія, а, напротивъ, долженъ всячески развивать самостоятельность мысли. Его мысль не должна быть „безсильною противъ чарующей и подымающей силы впечатлѣнія“. Поэтому-то, несмотря на весь талантъ автора и прелесть разсказа, мысль продолжаетъ *возражать*, продолжаетъ *протестовать*, *неудовлетвореніе*, продолжаетъ желать *видѣть* черезъ золотыя выводящихъ лицъ.

Но этого мало: въ новыхъ главахъ мысль останавливается даже на одной ошибкѣ художника. Анна Каренина разсказала мужу о своей связи съ Вронскимъ. Мужъ, справившись съ ощущеніями, возникшими въ немъ по этому поводу, выражаетъ ей свое рѣшеніе... (Слѣдуетъ выписка, начинающаяся словами: „Я игнорирую это до тѣхъ поръ, пока свѣтъ не знаетъ этого, пока мое имя не опозорено“... и кончающаяся словами: „Теперь мнѣ время вѣхать“.

Эта маленькая сценка прелестно разсказана; но, спра-

живается, возможен ли подобный разговор въ действительности. Могла ли *настоящая* Анна Каренина придать словамъ *настоящаго* Алексѣя такую *интерпретацию*? Намъ это кажется совершенно невозможнымъ. Анна могла ненавидѣть мужа, чувствовать къ нему отвращеніе, презирать его; но она должна была знать, что онъ, какъ порядочно воспитанный человѣкъ, да и, наконецъ, просто *какъ человекъ* въ подобныхъ обстоятельствахъ, не можетъ требовать противнаго всѣмъ нравственнымъ понятіямъ человѣческимъ. Никакой женщиной, будь она Анна Каренина или кто угодно, въ такомъ случаѣ не придетъ даже въ голову и мысль объ этомъ. Отвѣтъ вновь оскорбленнаго Алексѣя Александровича даже черезчуръ мягокъ въ сравненіи съ безобразіемъ этого подозрѣнія, а между тѣмъ героиня ровно ничего не понимаетъ и сама оскорбляется: „Алексѣй Александровичъ! Что вамъ отъ меня нужно?“

Послѣ этой сцены разсказъ возвращается къ Константину Левину, и мы присутствуемъ при малѣйшихъ подробностяхъ его деревенской жизни, принимаемъ участіе въ его пространнхъ хозяйственныхъ размышленіяхъ и разговорахъ съ сосѣдями. Предъ нами мелькаетъ, между прочимъ, благоустроенное крестьянское семейство, по поводу котораго нѣкоторые читатели даже начинаютъ видѣть въ авторѣ намѣреніе перейти къ социальному вопросу.

Внутреннее состояніе Левина довольно тяжело. Это человѣкъ, соединяющій въ себѣ неутомимую жажду анализа съ признаками безсилія или какой-то дѣтской наивности мысли. Онъ вѣчно мечется изъ стороны въ сторону и ничего не можетъ уяснить себѣ. „То хозяйство, которое онъ велъ, стало ему неинтересно и отвратительно, и онъ не могъ больше имъ заниматься. Къ этому еще присоединилось присутствіе въ тридцати верстахъ отъ него Щербацкой, которую онъ *хотѣлъ и не могъ* видѣть. Дарья Александровна Облонская, когда онъ былъ у нея, звала его пріѣхать—пріѣхать съ тѣмъ, чтобы возобновить предложеніе ея сестрѣ, которая, какъ она давала чувствовать, теперь приметъ его. Самъ Левинъ, увидавъ Кити Щербац-

кую, понять, что онъ не переставалъ любить ея, но онъ не могъ ѣхать къ Облонскимъ, зная, что она тамъ. То, что онъ сдѣлалъ ей предложеніе и она отказала ему, кляло между нимъ и ею непреодолимую преграду. „Я не могу простить ея быть моею женою потому только, что она не можетъ быть женою того, кого она хотѣла“, говорилъ онъ самъ себѣ. Мысль объ этомъ дѣлала его холоднымъ и враждебнымъ къ ней. „Я не въ силахъ буду говорить съ ней безъ чувства упрека, смотрѣть на нее безъ злобы, и она только еще больше возненавидитъ меня, какъ и должно быть. И потомъ, какъ я могу теперь, послѣ того, что мнѣ сказала Дарья Александровна, ѣхать къ нимъ? Развѣ я могу не показать, что и знаю то, что она сказала мнѣ? И я приѣду съ возмущеніемъ простить, помиловать ее. Я презираю въ роли прошагивающаго и удостоивающаго ее своей любви... Зачѣмъ мнѣ Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я могъ увидать ее, и тогда все бы сдѣлалось само собою, но теперь это невозможно, невозможно“.

Дарья Александровна прислала ему записку, прося дамское сѣдло для Кити. „Мнѣ сказали, что у васъ есть сѣдло, — писала она ему. Надѣюсь, что вы привезете его сами“. Левинъ долго волновался; наконецъ, послать сѣдло безъ всякаго отвѣта, а самъ уѣхать на охоту къ сосѣду.

Значить, Левинъ обманывалъ себя, встрѣтивъ Кити, и понять, что онъ ее непрежнему любить. Намъ вспоминается прелестная „сцена на каткѣ“ въ первыхъ главахъ романа. Тогда авторъ съ необыкновенною тонкостью выразилъ ощущенія Левина, любовь котораго выступала высокимъ и чистымъ чувствомъ, составляющимъ рѣдко дающееся и лучшее достоинство природы человѣческой. Такое чувство остается неприкосновеннымъ въ человѣкѣ, несмотря ни на какія внѣшнія обстоятельства, — образъ, воплощающій это чувство, стоитъ высоко въ душѣ, какъ святыйя, тщательно оберегаемая отъ всякихъ профанцій. Но въ Левинѣ, значить, не было этого чувства. Значить, и читатель и самъ авторъ ошиблись.

Если бы Левинъ любилъ Кити той любовью, до высоты

которой графъ Толстой поднялъ свой анализъ въ „сценѣ на каткѣ“, онъ не сталъ бы мучить себя софизмомъ Кити, не сталъ бы *хотѣть* и *не могъ* ее видѣть. Мысль о томъ, что онъ сдѣлалъ ей предложеніе и получилъ отказъ, не дѣлала бы его *холоднымъ* и *прижизненнымъ* къ ней. У него неоткуда было бы взяться увѣренности, что онъ не въ силахъ будетъ говорить съ ней безъ чувства *упрека*, смотрѣть на нее безъ *злости*. Не мыслью, но разсужденіями, не своимъ неестественнымъ въ этомъ случаѣ анализомъ, а просто чувствомъ, и однимъ только чувствомъ онъ разрѣшилъ бы все свои сомнѣнія, и самъ не зная бы какъ, но только непременно увидѣлся бы съ нею и говорить бы безъ упрека, и смотрѣть бы безъ злобы, и договорился бы, и досмотрѣлся до своего счастья.

И это было бы совсемъ просто и глубоко вѣрно, а несравненный талантъ автора возвелъ бы все это простое дѣло въ художественный перлъ красоты и правды. Вѣдь, оно такъ и было въ другомъ, подобномъ же случаѣ, гдѣ дѣйствовала настоящая любовь, безъ злобы и разсужденій о приличіяхъ—намъ вспоминается негоря Пьера Безухова и Наташи въ „Войнѣ и Мирѣ“.

Но не одною Кити, не однимъ хозяйствомъ мучаетъ себя Левинъ—все, рѣшительно все даетъ ему пищу для мученія, а больше всего мысль о смерти. Онъ видитъ человека умершаго, человека умирающаго. „Мысли его были самыя разнообразныя, но конецъ всѣхъ мыслей былъ одинъ: смерть. И смерть эта, та самая, которая была въ сложенныхъ, слегка вывернутыхъ ногахъ Паросена Денисыча, которая была въ Помчичкѣ, въ пьяномъ охотникѣ, тутъ, въ этомъ любимомъ братѣ, съ просонковъ стонущемъ и безразлично по привычкѣ призывавшемъ то Бога, то чорта, была совсемъ не такъ далека, какъ ему прежде казалось. Она была и въ немъ самомъ,—онъ это чувствовалъ. Не нынче, такъ завтра, не завтра, такъ черезъ тридцать лѣтъ, развѣ не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть—онъ не только не зная, не только никогда не думая объ этомъ, но не умѣя и не смѣя думать объ этомъ. „Я собираюсь

жить. Агафья Михайловна, говорить: жениться, я работаю, я хочу сдѣлать что-то, а я и забыть, что все кончится, что смерть"... Но чѣмъ болѣе онъ напрягалъ мысль, тѣмъ только яснѣе ему становилось, что это несомнѣнно такъ, что дѣйствительно онъ забыть, просмотрѣть въ жизни одно маленькое обстоятельство, — что, что придетъ смерть и все кончится, что ничего и не стоило начинать, и что помочь этому никакъ нельзя".

Вотъ онъ подходитъ къ зеркалу и замѣчаетъ свинцу на вискахъ, открываетъ ротъ — и видитъ гнилые зубы; положимъ, руки мускулисты, силы много, но, вѣдь, и у тѣхъ умершихъ людей тоже было много силы.

И Левинъ убѣждаетъ са границу и во всемъ видитъ смерть или приближеніе къ ней. Быть можетъ, путешествіе развлечетъ его и хоть немного укрѣпитъ его умственное изнѣтаніе; быть можетъ, онъ примирится съ мыслью о неизбежности смерти, мученіе которой совсѣмъ неестественно въ живомъ человѣкѣ. А, быть можетъ, эта мысль, тохотившая до идее fixe, превратится въ настоящее помѣшательство, при которомъ мы будемъ присутствовать.

И мы отдалимся *вспросамъ, чуждымъ всему, характеризующему* теченію романа; будемъ заглушать въ себѣ весь вопросъ „о внутреннемъ содержаніи, о соразмѣрности плана, о стройности концепціи, объ экономіи подробностей“. О чемъ бы ни рассказывалъ графъ Толстой, что бы ни сдѣлалъ онъ съ Левинымъ, Кити, Анной Карениной и Вронскимъ, предѣлъ разсказа и сила таланта увлекутъ насъ болѣе, чѣмъ самое стройное произведеніе менѣе крупнаго литературнаго дарованія — это безспорно. Но если мысль наша останется неудовлетворенною, то мы не откажемся высказать ей требованія и, отдавая все должное могучему таланту замѣчательнаго художника, пожалѣемъ, что „Анну Каренину“ нельзя причислить къ его высочайшимъ произведеніямъ.

*Изъ „Русскаго Мира“ за 1876 г. Статья Вс. С--ва (Вс. С. Соловьева).*

\*) „Вопреки болѣе или менѣе *несомнѣтельнымъ* возраженіямъ, какія возбуждиль этотъ романъ („Анна Каренина“) въ публикѣ (о печатныхъ толкахъ не говоримъ, потому что нашей критикѣ, при ея нынѣшнемъ состояніи, *не следовало бы даже дерзнуть* толковать о подобныхъ художественныхъ созданіяхъ), давно уже ни одно литературное явленіе не возбуждало такого живого и, можно сказать, ненасытнаго интереса. Въ настоящее время „Анна Каренина“ обошла уже всю грамотную Россію, и нелегко встрѣтить человека, претендующаго на образованность, который не прочелъ бы ея. Все увлечены несравненнымъ художественнымъ талантомъ автора, все почувствовали несказанную прелесть разсказа: все, по мѣрѣ эстетической способности каждаго, насладились чуднымъ богатствомъ красокъ, яркихъ и мягкихъ въ одно и то же время, раздражающихъ глазъ своимъ богатымъ разнообразіемъ и погружающихъ душу въ созерцательное спокойствіе, благодаря тайному искусству, съ какимъ авторъ умѣлъ примирить эту радужную, праздничную нестроту въ единствѣ общаго тона“ и т. д.

Такия сужденія о романѣ гр. Толстого высказываетъ г. А. въ своей статьѣ „Литературное обзорѣніе“ въ № 1-мъ „Русскаго Вѣстника“. Хотя онъ и говоритъ, что нашей критикѣ, при ея нынѣшнемъ состояніи, не следовало бы даже дерзать толковать о подобныхъ художественныхъ созданіяхъ, но, какъ видите, онъ дерзаетъ. Онъ значить, представляетъ пѣкое завидное исключеніе изъ современныхъ критиковъ при ихъ нынѣшнемъ состояніи. И еще бы ему не представлять такого исключенія: онъ является представителемъ критики особеннаго рода, — критики, которая не ограничивается анализомъ и выраженіемъ своихъ критическихъ мнѣній, представляя эти мнѣнія на судъ того же читателя, который читаетъ и разбираемыя ею произведенія. Итъ, критика эта идетъ дальше: она подноситъ къ посту читателя кулакъ и говоритъ ему: „Ты вздумалъ выражать

---

\*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1876 г., № 70. Статья зауряднаго читателя (А. М. Скалончезскаго).

свои какія-то тамъ глупыя и совершенно неосновательныя возраженія? Молчать!.. Если тебя спросятъ о томъ, что ты вынесъ изъ чтенія „Анны Карениной“, повторай за мною: „Впечатлѣніе уже сложилось и, какъ кажется, единодушное: все увлечены несравненнымъ художественнымъ талантомъ автора“ и т. д. Точь въ точь какъ ротный командиръ учить передъ строемъ своихъ рядовыхъ, какъ они должны отвѣчать начальству на вопросъ: „Вѣдь ли, ребята, довольны?“ Должны, конечно, все однимъ единодушнымъ крикомъ возопить: „Вѣдь довольны, рады стараться, ваше -ство!..“ А если кто осмѣлится выйти изъ строя съ своими болѣе или менѣе неосновательными возраженіями, узнать истома, гдѣ раки зимуютъ!

Какъ я счастливъ, что я не критикъ, и поэтому не принадлежу къ числу тѣхъ несчастныхъ, которые, при нынѣшнемъ ихъ состояніи, не смѣютъ держать толковать объ „Аннѣ Карениной“. Я простой читатель и читатель то самый что ни есть заурядный, и какъ опять таки я доволенъ, что я могу разыграть въ своемъ родѣ отважную роль дерзкаго рядового, который послѣ возгласа: „Вѣдь довольны, ваше--ство!“ выступаетъ передъ строемъ и докладываетъ, что „мы точно начальствомъ очень довольны, да только кормить-то насъ нельзя сказать, чтобы велятъ!“

Да, г. А., какъ бы, по вашему мнѣнію, ни были неосновательны возраженія публики, но если только вы сами подтверждаете фактъ этихъ возраженій, то странно послѣ того и говорить объ единодушіи со стороны этой же самой публики относительно наслажденія новымъ романомъ графа Толстого. Позвольте же мнѣ въ качествѣ зауряднаго читателя осмѣлиться доложить вамъ, что хотя вы и предписываете намъ, читателямъ „Анны Карениной“, единодушно восторгаться, но тѣмъ не менѣе тухлое мясо, которымъ изволеть на этотъ разъ кормить насъ гр. Толстой, все-таки остается тухленькимъ, и никакъ не можемъ мы игнорировать того факта, что чтеніе прежнихъ частей возбуждало въ насъ кой-какія гримасы, а послѣ чтенія послѣдней части, напечатанной въ № 1-мъ „Русскаго Вѣстника“, лица

наши совѣтъ сморщились, точно будто мы проглотили ложку уксуса или, лучше сказать, ничего не проглотили въ тщетномъ ожиданіи лакомаго кусочка.

Пусть назоветъ меня г. А. какимъ угодно профаномъ по части эстетическихъ наслажденій и пусть онъ сколько хочетъ удивляется и возмущается моею великою продерзости, что какъ я могъ смѣть свое сужденіе имѣть, — тѣмъ не менѣе я никакъ не въ силахъ освободиться отъ слѣдующихъ соображеній: мнѣ постоянно кажется, что романъ гр. Толстого въ томъ видѣ, какъ онъ былъ напечатанъ въ прошломъ году въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, былъ уже весьма близокъ къ концу. Анна Каренина, сблизившись окончательно съ Вронскимъ, успѣвши даже забеременѣть отъ него, узналась, наконецъ, своему мужу въ видѣ своей. Константинъ Левинъ, послѣ горестныхъ размысленій о нераздѣленной любви, развлекаемыхъ цѣлымъ рядомъ охотъ и интеллигентскихъ сельскихъ упражненій въ роть косы или молотбы, наконецъ, узрѣвъ въ окнѣ кареты личико своей несравненной Кити, которая успѣла оправиться послѣ своего разочарованія въ Вронскомъ и бѣлѣзинѣ, и ѣхала въ сосѣдную усадьбу, примехонько въ объятія своего забракосваднаго жениха. Казалось бы, что послѣ всего этого оставалось не болѣе трехъ-четырехъ листовъ романа, которыхъ было бы совершенно достаточно для развязки и обстоятельнаго изображенія дальнѣйшей участи всѣхъ героевъ. Читатели такъ и думали, что остается еще одно послѣднее сказаніе, — и роману конецъ. Но вдругъ это веждѣнное окончаніе по какимъ то непредвидѣннымъ причинамъ затнулось, романъ пересталъ печататься, и до конца прошлаго года не появлялся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, что въ свое время возбудило въ публикѣ недоумѣніе, недовольство, скандальныя предположенія и повело къ различнымъ объясненіямъ и обѣщаніямъ со стороны редакціи „Русскаго Вѣстника“. Въ первой книжкѣ этого журнала за нынѣшній годъ появилось, наконецъ, продолженіе „Анны Карениной“, согласно обѣщаніямъ редакціи. Но неловко же оказалось, чтобы романъ такъ сразу и оканчивался въ этой первой книжкѣ;

это былъ бы, въ свою очередь, немалый скандалъ: появилась бы первая книжка журнала, и въ ней на первомъ планѣ красовался бы маленькій хвостикъ прошлогдняго романа. Но всей вѣроятности, относительно этого были кой-какіе переговоры между редакціей и гр. Толстымъ о томъ, что, въ виду всего происшедшаго, нельзя ли растянуть романъ книжки, по крайней мѣрѣ, хоть на двѣ, если не на три и четыре. Послѣ усиленныхъ просьбъ, авторъ согласился, тѣмъ болѣе, что ему, какъ талантливому художнику, и при томъ такому художнику, талантъ котораго наиболѣе сильно проявляется въ деталяхъ, въ тонкомъ психическомъ анализѣ мелкихъ сценъ жизни, ничего это не стоило и было даже съ руки. Вотъ онъ и началъ растягивать всѣми силами окончаніе своего романа. Въ январской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ оказываются напечатанными болѣе пяти листовъ романа. Но можете себѣ представить, что развитіе сюжета въ этихъ пяти листахъ хоть бы на югу подвинулось впередъ: мы такъ и остаемся на томъ, что Анна Каренина призналась мужу въ своей связи съ Вронскимъ, а Левинъ живетъ по сосѣдству съ своей несравненной Кити и занимается сельско-хозяйственными распоряженіями, а въ концѣ этой части уѣзжаетъ неожиданно за границу. Нужно, читатель, конечно, особенное искусство, чтобы напечатать пять листовъ романа и удержать дѣйствіе на одномъ и томъ же моментѣ, но на то гр. Толстой талантливый и опытный романистъ, чтобы преодолѣть всѣ трудности и достигнуть этого, а достигается это при талантѣ и опытности въ писаніи романовъ—не думай, читатель, чтобы очень замысловато, напротивъ, крайне просто. Такъ, напримѣръ, начинается эта часть романа тѣмъ, что мужъ Карениной Алексѣй Александровичъ послѣ признанія жены разсуждаетъ, какъ ему поступить съ своею виновною супругою, и разсуждаетъ онъ, должно признаться, какъ истый бюрократъ,—въ этомъ слѣдуетъ отдать долгъ справедливости таланту гр. Толстого. Вызвать соперника на дуэль?—Но Алексѣй Александровичъ безъ ужаса не могъ подумать о пистолетѣ, на него направленномъ, и никогда

въ жизни не употреблять никакого оружія, и къ тому же, разсуждать онъ: „Какой смыслъ имѣеть убійство человѣка для того, чтобы опредѣлить свое отношеніе къ преступной женѣ и сыну? Точно также я долженъ буду рѣшать, что долженъ дѣлать съ нею. Но что еще вѣроятнѣе и что несомнѣнно будетъ—я буду убить или ранить. Еще безсмысленнѣе. Но мало этого, вызовъ на дуэль съ моей стороны будетъ поступокъ нечестный. Развѣ я не знаю впередъ, что мои друзья никогда не допустятъ меня до дуэли.—не допустить того, чтобы жизнь государственнаго человѣка, нужнаго Россіи, подверглась опасности. Что же будетъ?—Будетъ то, что я, зная впередъ то, что никогда дѣло не дойдетъ до опасности, захотѣлъ только придать себѣ этимъ вызовомъ нѣкоторый ложный блескъ. Это нечестно, это фальшиво, это обманъ другихъ и самого себя“...

Другимъ выходомъ для Алексѣя Александровича представляется разводъ. Но попытка развода могла привести только къ скандальному процессу, который былъ бы находкой для враговъ Алексѣя Александровича, для клеветы и униженія его высокаго положенія въ свѣтѣ. Кроме того, при разводѣ Анна разрывала сношенія съ мужемъ и соединялась со своимъ любовникомъ. А въ душѣ Алексѣя Александровича, несмотря на такое теперь, какъ ему казалось, презрительное равнодушіе къ женѣ, оставалось въ отношеніи къ ней одно чувство—нежеланіе того, чтобы она безпрятственно могла соединиться съ Вронскимъ, чтобы преступленіе ея было для нея выгодно. Одна мысль эта такъ раздражала Алексѣя Александровича, что, только представивъ себѣ это, онъ замычалъ отъ внутренней боли и приподнялся и перемѣнилъ мѣсто въ каретѣ, и долго послѣ того, нахмуренный, завертывалъ свои зябкія ноги пушистымъ пледомъ.

Кромѣ формальнаго развода, можно было разѣхаться съ женой: но и эта мѣра представляла тѣ же неудобства позора, какъ и при разводѣ, и точно такъ же бросала жену въ объятія Вронскаго. „Нѣтъ, это невозможно! говорить

онъ:— Я не могу быть счастливъ, но и она и онъ не должны быть счастливы”.

Оставался одинъ выходъ, принятый Алексѣемъ Александровичемъ: удержать ее при себѣ, скрывъ отъ свѣта случившееся и употребивъ все зависящія мѣры для прекращенія связи и, главное, въ чемъ онъ самому себѣ не признавался, для наказанія ея. Въ подтвержденіе этого рѣшенія, когда оно было окончательно принято, Алексѣю Александровичу пришло еще одно важное соображеніе: „Только при такомъ рѣшеніи я поступаю сообразно съ основами религіи, сказалъ онъ себѣ: — только при этомъ рѣшеніи я не отвергаю отъ себя преступную жену, а даю ей возможность исправленія и даже — какъ ни тяжело это мнѣ будетъ — посвящаю часть своихъ силъ на исправленіе и спасеніе ея”.

Мы съ тобой, читатель, по нашей сердечной простотѣ, послѣ подобнаго безчеловѣчнаго іезуито-бюрократическаго рѣшенія Алексѣя Александровича, поспѣшили бы къ какой нибудь развязкѣ, и романъ такъ бы и кончился въ январской книжкѣ „Русскаго Вѣстника”. Но гр. Толстой, памятуя, что въ этой книжкѣ нельзя кончать романъ, поступилъ не такъ. Но вѣдь этимъ глубокомысленнымъ размышленіемъ Алексѣя Александровича онъ присоединилъ вдругъ ни съ того ни съ сего цѣлый рядъ его служебныхъ соображеній; мало того: довольно подробно описалъ засѣданіе Алексѣя Александровича въ одной государственной комиссіи, все пренія его въ этомъ засѣданіи и побѣду, одержанную имъ надъ противникомъ по вопросу объ орошеніи полей Зарайской губерніи.

Въ свою очередь, Анна Каренина тотчасъ послѣ признанія долго размышляла о томъ, что ей дѣлать, и рѣшилась ѣхать въ Москву. (Слѣдуетъ подробное описаніе, какъ она укладывалась). Затѣмъ, по полученіи отъ мужа письма съ объявленіемъ его рѣшенія, съ приложеніемъ денегъ и требованіемъ, чтобы она немедленно переѣзжала съ дачи на городскую квартиру, Анна Каренина отложила мысль о поѣздкѣ въ Москву и переѣхала въ городъ, что опять-таки

описано весьма подробно. Затѣмъ Анна Каренина ѣдетъ къ княгинѣ Тверской на партію крокета, — и снова слѣдуетъ подробнѣйшее описаніе времяпрепровожденія героини у княгини Тверской и всего общества, собравшагося у княгини.

Что касается до Вронскаго, то опять таки слѣдуетъ подробнѣйшее описаніе, какъ послѣ скачекъ онъ сводилъ счета своимъ приходамъ и расходамъ, и остался этимъ очень доволенъ, какъ онъ потомъ пошелъ въ полкъ, гдѣ присутствовалъ при встрѣчѣ своего товарища Серпуховскаго и имѣлъ съ нимъ длинный, длинный разговоръ о карьерѣ, и затѣмъ, наконецъ, слѣдуетъ свиданіе его съ Анной, на которомъ герои наши все-таки ничего не порѣшили и разстались во взаимномъ недоумѣніи.

И при всемъ томъ гр. Толстой, по моему мнѣнію, опустилъ многія подробности, которыя могли бы служить къ еще большему продленію романа. Такъ, напримѣръ, весьма естественно, что Анна Каренина, послѣ всей обычной грязи переѣздки съ дачи, передъ тѣмъ какъ ѣхать къ княгинѣ Тверской, брала ванну. Авторъ опустилъ эту интересную подробность, и очень жалко: не говоря о томъ, что страничекъ десять лишнихъ набѣжало бы, онъ имѣлъ прекрасный случай познакомить насъ съ изящными формами своей героини, и произвелъ бы при своемъ мастерствѣ въ этомъ жанрѣ картину, которая привела бы въ единодушный восторгъ всю русскую публику. Въ то время, какъ Анна Каренина, сидя въ ваннѣ, размышляла бы о своихъ отношеніяхъ къ мужу и любовнику, Вронскій тоже не зѣвалъ бы: ринувшись на скачкахъ въ грязь, онъ, конечно, не могъ бы обойтись безъ того, чтобы не сходить въ тотъ же день въ баню. И вотъ опять таки графъ Толстой упустилъ случай описать наслажденіе мытья въ русской банѣ. Еще набѣжало бы страничекъ съ десять, и къ тому же авторъ могъ блеснуть въ настоящемъ случаѣ не только своею художественностію изображенія и тонкимъ анализомъ мелкихъ ощущеній, но и патріотизмомъ. Я не помню, чтобы у гр. Толстого гдѣ-либо въ прежнихъ его произведеніяхъ было

изображеніе нашей оригинальной русской бани, которую мы въ правѣ отъ всей души гордиться передъ Европою. Не- жась на раскаленномъ полкѣ и пленая себя горячимъ вѣ- никомъ, Вронскій могъ бы въ то же время, для связи съ общимъ сюжетомъ романа, размышлять о зноѣ своей стра- сти и о томъ, какъ ему слѣдуетъ поступить съ Анной Карениной.

Что касается до Константина Левина, то мы съ тобой, читатель, поступили бы и къ этому отношенію весьма глупо и нерасчетливо: мы на первыхъ же страницахъ устроили бы какую-нибудь неожиданную деревенскую встрѣчу Левина съ Кити — и пошло бы писать; на двадцати страничкахъ у насъ дѣло дошло бы до законнаго брака, и весь романъ былъ бы исчерпанъ. Графъ же Толстой, какъ истый вир- туозъ по части беллетристики, поступаетъ не такъ. Въ этой части романа Константинъ Левинъ только и дѣлаетъ, что все разсуждаетъ о своихъ неудачахъ по хозяйственной части. Дарья Александровна Облонская, къ которой приѣ- хала гостить Кити, пишетъ ему письмо, прося прислать дамское сѣдло для Кити и приглашая, чтобы онъ и самъ приѣхалъ кетати. Но Левинъ сѣдло посылаетъ, а самъ не ѣдетъ къ Облонской, опасаясь, конечно, что такимъ обра- зомъ романъ можетъ кончиться очень скоро; ѣдетъ же онъ къ нѣкому помѣщику Свѣжекому, и затѣмъ слѣдуетъ по- дробное описаніе этого Свѣжекаго, длинный агрономиче- скій разговоръ Левина съ Свѣжекимъ и нѣкоторыми дру- гими помѣщиками. Затѣмъ къ Левину приѣзжаетъ вдругъ блудный въ нигилизмъ братъ Николай и оказывается въ сильнѣйшей чахоткѣ. Читатель, разочарованный въ скорой женитьбѣ героя, ждетъ, что, по крайней мѣрѣ, въ заклю- ченіе этой части будетъ трогательно описана смерть Ни- колая Левина. Не тутъ-то было. Описана только неискрен- ность братьевъ, изъ которыхъ одинъ увѣрялъ, что у него нѣтъ никакой чахотки и онъ совсѣмъ выздоравливаетъ, а дру- гой подлаживалъ ему и дѣлалъ видъ, что вѣритъ, хотя въ душѣ былъ убѣжденъ, что брату скоро капутъ. Братья, наконецъ, поссорились, и Николай Левинъ уѣхалъ. А Кон-

стантинъ Левинъ поѣхалъ за границу, угнетаемый мыслью о смерти подъ вліяніемъ зрѣлища разрушенія брата. Этимъ и кончается пока часть романа, напечатаннаго въ живарской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“.

Когда я прочелъ всю эту канитель, произведшую во мнѣ первую зѣвоту томительной скуки, мнѣ пришла въ голову блистательная мысль предложить гр. Толстому никогда не кончать своего романа. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему утруждать ему свою фантазію надъ измысленіемъ новыхъ сюжетовъ для будущихъ романовъ, сюжетовъ, которые каждый разъ будутъ возбуждать въ публикѣ и журналистикѣ новыя толки ожиданія и разочарованія, тогда какъ гр. Толстой, при свойствахъ своего таланта, можетъ весьма спокойно продолжать Анну Каренину до безконечности. Въ дальнѣйшемъ развитіи сюжета Каренины могутъ уѣхать за границу (подробнѣйшее описаніе исчезновенія заграничной жизни въ связи съ муками разлуки Анны съ Вронскимъ); тамъ пусть они встрѣтятся съ Левинымъ, и Анна одержитъ побѣду и надъ симиъ стоическимъ агрономомъ, отбивъ у Кити послѣдняго жениха. Вронскій пусть окончательно запутается въ долгахъ, произведетъ скандалъ и будетъ сосланъ въ Ташкентъ, разжалованный въ рядовые (какой прекрасный случай будетъ для гр. Толстого снова очаровать насъ рядомъ батальныхъ сценъ и очерковъ нравовъ русскаго солдата). Панизуя деталь на деталь, можно цѣлые года писать все „Анну Каренину“ и не кончить ее до самой смерти, и каждый годъ г. А. въ своемъ „Журнальномъ обозрѣніи“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ будетъ сообщать намъ о всеобщемъ единодушномъ восторгѣ публики, при появленіи новой и новой части романа, а Заурядный читатель будетъ плакать, что когда же, молъ, этому будетъ конецъ. Не правда ли, какая веселая перспектива, читатель?

*Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ 1876 г.*

*Статья Зауряднаго читателя (А. М. Скабичевскаго).*

\*  
\* \*

\*) Литературный критикъ „Русскаго Вѣстника“, литераторъ А., не находя словъ для выраженія достаточной похвалы автору „Анны Карениной“, говоритъ: это художественное произведеніе такъ очаровательно написано, что „изложеніе въ немъ исключаетъ всякое требованіе какой-бы то ни было мысли“. „Изящно раздражающая прелесть“ разсказа въ романѣ такова, что подъ впечатлѣніемъ ея, при чтеніи романа, нѣтъ надобности думать о томъ, что написано гр. Толстымъ; „для эстетически-воспримчиваго читателя становится, наконецъ, все равно, о чемъ онъ разсказываетъ“. Полагаясь, что приведенныя выдержки изъ литературныхъ размышленій г. А. не требуютъ комментаріевъ. Этотъ забавный критикъ, утверждающій, что нашей журналистикѣ, „при ея нынѣшнемъ состояніи, не стоило бы даже думать толковать о значеніи и достоинствахъ романа гр. Толстого“—очевидно, не способенъ уразумѣть, что никто изъ критиковъ,—даже такихъ, которые отказываются признать за послѣднимъ романомъ гр. Толстого какое-либо серьезное значеніе, не высказалъ ничего столь обиднаго для автора романа. Если бы не невинное простодушіе г. А., можно бы было подумать, что онъ глумится надъ авторомъ „Анны Карениной“.

*Изъ „Русскихъ Вѣдомостей“ 1876 г., № 82. Статья II-ая.*

---

\*) „Русскія Вѣдомости“ 1876 г., № 82. Статья II-ая.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

писателей, литературных произведений и названий газетъ и журналовъ, встречающихся на страницахъ восьмой части „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. Н. Толстого“.

- Авсенько, В. Г. 39—47, 162—185, 209, 213.  
 Алмазовъ, Борисъ. 33.  
 Амуровъ. 34—39.  
 „Астраханскій Справочный Листокъ“. 34—39.  
 „Ася“, Тургенева. 80.  
 Базуновъ. 188.  
 Бацровъ. 79.  
 Бейль, Генрихъ. (Стендаль). 17, 19.  
 „Биржевыя Вѣдомости“. 35, 36, 62, 78, 119, 120, 128, 150, 151, 153, 154, 156, 222.  
 „Благонамѣренныя Речи“. Щедрина. 84, 158.  
 Боборыкинъ. 43, 128, 157.  
 Бокль. 73.  
 Бредифъ. 114.  
 Бѣлинскій. 97, 152.  
 „Валль“. 35.  
 „Вѣшнія Воды“. Тургенева. 80.  
 Вейнбергъ, П. П. 187—188.  
 „Война и Миръ“. 1, 2, 7, 16, 20, 34, 36, 44, 49, 63, 64, 70, 76, 85, 86, 95, 96, 101, 102, 112, 117, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 163, 168, 174, 175, 182, 187, 197, 211, 213, 214, 216, 220.  
 „Время“. 126, 127.  
 „Вѣстникъ Европы“. 74, 112.  
 „Газета Гатчина“. 33.  
 Гете. 79.  
 „Герой нашего времени“. Державина. 178.  
 Герценъ. 40, 42.  
 Гоголь. 51, 111, 123, 134.  
 „Голосъ“. 11—19, 44, 72, 94—112.  
 Гончаровъ. 19, 36, 80, 122.  
 „Горе отъ ума“. Грибоедова. 189.  
 Готье, Теофиль. 74.  
 „Гражданинъ“. 204—206.  
 „Графиня Монсеро“. 34.  
 Григорьевъ, Ал. 124, 125, 126, 127, 130, 181.  
 „Гуакъ“. 34.  
 Гюго, Викторъ. 75, 160.  
 Данилевскій. 108.  
 Даргомыжскій. 151, 153.  
 „Два раза мужемъ“. Студлин. 112.  
 „Десятый вальсъ“. Данилевскаго. 108.  
 „Донъ“. 20—27, 82—84, 157, 158, 159.

- Достоевскій. 17, 19, 190.  
 „Дымъ“. 80.  
 „Дядя“, Вл. Крестовскаго. 190, 191.  
 „Дядю“. 116—150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 215.  
 „Дѣтство“. 13, 34, 73, 103, 124.  
 „Евгеній Онегинъ“, Пушкина. 128.  
 Ектушевскій. 75.  
 „Journal des Débats“. 153.  
 „Записки Охотника“, Тургенева. 79.  
 „Записки Профана“, Михайловскаго. 196.  
 „Затишье“. 80.  
 Заурядный читатель (А. М. Скабичевскій) 62—70, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 153, 222—230.  
 „Казакъ“. 163.  
 „Капитанская Дочка“, Пушкина. 3.  
 Каразинъ. 82, 158.  
 Кастриотто-Скандербекъ. 151.  
 Катковъ, М. 33.  
 Костомаровъ. 159.  
 Кряжевъ. 161.  
 Курочкинъ, В. 140.  
 Курьеръ. 150, 151, 153.  
 Лермонтовъ. 47, 126, 127, 178, 179.  
 Марквичъ. 144.  
 Мачтетъ. 161.  
 „Медвѣжья Лапа“. 34.  
 „Мертвыя Души“. 128, 129.  
 Михайловскій. 196, 197, 201.  
 „Молна“. 195—203.  
 Моперъ. 52.  
 „Московскія Вѣдомости“. 150—161.  
 „Наканунъ“. 80.  
 Наполеонъ. 130.  
 „Наши послали“, Тургенева. 35.  
 „Недѣля“. 35.  
 Никитинъ, П. (Ткачовъ). 116—150.  
 „Новое Время“. 47—51, 188—195.  
 „Новороссійскій Телеграфъ“. 28—32.  
 „Новости“. 19—20, 51—62.  
 „Обломовъ“, Гончарова. 32, 81.  
 „Обрывъ“. 81.  
 „Обыкновенная Исторія“. 80.  
 „Одесскій Вѣстникъ“. 70—81, 152, 157, 159, 160, 161.  
 О'Коннелъ. 107.  
 Островскій. 36, 126.  
 „Отечественныя Записки“. 120, 161, 196, 197.  
 „Отрочество“. 13, 34, 73, 103, 124.  
 „Первая Любовь“, Тургенева. 178.  
 Петръ I. 1.  
 Писемскій, А. Θ. 11, 27, 35, 36.  
 Планшъ Густавъ. 151, 152, 153.  
 „Подростокъ“, Достоевскаго. 190.  
 „Признанія литературныхъ отцовъ“. 74.  
 „Призраки“. 79.  
 „Просвѣщенное Время“, Писемскаго. 27, 35.  
 „Пушкинъ и Бабуринъ“, Тургенева. 36.  
 „Путевыя Картинки“, Мачтета. 161.  
 Пушкинъ. 3, 47, 75, 123, 126, 178, 179, 189.  
 „Пчела“. 187—188.  
 Рабазъ. 75.  
 Ринъ. 188—195.  
 „Рудинъ“. 80.  
 „Rouge et Noir“, Бейля. 19.  
 „Русская Старина“. 151.  
 „Русскія Вѣдомости“. 206—209, 231.  
 „Русскій Вѣстникъ“. 1, 11, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 46, 54, 66, 67, 69, 71, 77, 82, 84, 88, 94, 102, 113, 117, 118, 119, 122, 157, 162—185, 186, 188, 189, 190, 202, 204, 207, 209, 213,

- 215, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231.  
 „Русскій Миръ“. 30—47, 72, 140, 213, 221.  
 „Севастопольскіе Разказы“. 124, 163.  
 „Село Смурино“. Крижева. 161.  
 Сентъ-Бѣвъ. 152, 153.  
 Sine Ira. (В. С. Соловьевъ). 1—10, 84—93, 113—116, 117, 118.  
 Скабичевскій, А. М. 62—70, 110, 120, 124, 222—230.  
 „Солідныя Добродѣтели“. 120.  
 Соловьевъ, В. С. 1—10, 84—93, 113—116, 119, 120, 123, 129, 145, 213, 221.  
 Сперанскій. 130.  
 „С.-Петербургскія Вѣдомости“. 1—10, 84—93, 113—116, 118, 119, 120, 155.  
 Спиноза. 101.  
 Стебницкій. 66.  
 Страховъ. 124, 128.  
 Стуллі. 112.  
 Суворинъ. 110.  
 „Сынъ Отечества“. 185—186.  
 „Съ сѣвера на югъ, Каразина. 72.  
 Тиндаль. 86, 137.  
 Ткачовъ, П. (Никитинъ). 116—150.  
 Тургеневъ. 19, 27, 35, 36, 47, 79, 178.  
 „Утро Помѣщика“. 124.  
 Фетъ. 79.  
 „Хроника села Смурина“. 82.  
 Чебышевъ — Дмитріевъ, А. П. 47—51.  
 Чуйко, В. В. 11—19, 91—112.  
 Шанфлері. 74.  
 „Chartreuse de Parme“, Бейля. 19.  
 Шекспиръ. 75, 107.  
 Шлоссеръ. 123.  
 Щедринъ. 84, 87, 121, 158.  
 Экеъ (А. П. Чебышевъ-Дмитріевъ). 47—51.  
 „Юность“. 34, 73, 124.  
 „Юрій Милославскій“. 34.  
 Теофрастъ. 76, 159.

влиять; 5) дать значительную возможность изучать правописание самостоятельно, без помощи учителя; 6) по этой книге каждый без посторонней помощи может проверить себя, насколько он грамотен или неграмотен пишет; 7) имея в руках это руководство, каждый отец, мать, репетитор, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками как самой орфографии, так и методики ее преподавания, — с успехом могут руководить и контролировать детей в занятиях по орфографии; 8) почему-либо оставшие в школе от товарищей и вообще не успевающие в орфографии ученики, с помощью этого руководства, посредством самостоятельности, легко и скоро приобретают орфографические знания и прочный навык правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся к какому-либо экзамену, а еще больше для самоучек; 10) в школах, где учителя приходится заниматься одновременно с двумя-тремя группами, по этой книге весьма удобно назначать той или другой группе самостоятельные классные занятия по русскому языку; 11) при ведении обучения орфографии по этому руководству, проверка ученических тетрадей идет во много раз легче и скорее, чем при обыкновенном способе диктовки; 12) эта книга совмещает в себе все три способа обучения правописанию, а именно: списывание с книги, диктовку и писание заученного наизусть.

**8. Зрительный диктант.** Часть вторая. Знаки препинания. Издание 7-е. М. 1902 г. Ц. 40 к.

**9. Справочный словарь буквы Ъ.** Полный список коренных и производных слов, пишущихся через Ъ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

**10. Таблицы для письменного грамматического разбора.** № 1. Части речи. № 2. Состав слов. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголь. Цена каждой таблицы — 2 к. (*Печатаются новым изданием*).

**11. Хрестоматия** для объяснительного чтения. Дополнение к книге: „Методические указания и примѣрные уроки по объяснительному чтению“. М. 1892 г. Ц. 25 к.

**12. Объяснительный словарь** более употребительных из русской литературы и речи иностранных слов. Составлен примѣнительно к правописанию. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержание этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанию“).

## **II. Руководства по преподаванию русского языка:**

(Методическая хрестоматия для обучения русскому языку).

**13. Обучение грамоте по звуковому способу.** Сборник методических разъяснений, указаний, приемов и примѣрных уроков по обучению грамоте, разработанных известными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Цена 1 р.

**14. Методические указания и примѣрные уроки** по объяснительному чтению, разработанные известными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1901 г. Цена 1 р.

**15. Методические указания и примѣрные уроки** по преподаванию русской элементарной грамматики. Свод методических разъяснений и примѣрных грамматических уроков, разработанных известными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1902 г. Ц. 1 р.

## **III. Пособия по истории русской литературы:**

**16. Собрание критических материалов** для изучения произведений И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 3-е. (1-й вып. печатается 4-м изд.) Цена за оба выпуска, состоящие из трех частей, 5 р.

**17. Критический комментарий** к сочинениям Ф. М. Достоевского. Сборник критических статей. Три части и прибавление. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

18. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. I. Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

19. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. М. Цѣна 7 р. (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Цѣна 8 р. (1-я, 2-я и 3-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части изд. 2-е. Москва. Цѣна по 1 р. за часть.

22. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дети“. Ц. 35 к.

23. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.

24. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть. (Первая и вторая части вышли 2-мъ изданіемъ).

25. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“ — Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній Н. С. Тургенева“. I. 1895 г. Ц. 70 к.

26. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонова. 2 части. Ц. 2 р.

27. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный тѣсъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.

#### IV. Серія разныхъ книжекъ:

28. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

29. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

30. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для вышесказаннаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVI, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

31. Мурадъ Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

32. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

33. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Лихайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Можухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ посредство склада изданій В. Зелинскаго можно выписывать всякія книги.











PG  
3410  
Z3  
18  
V.



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JAN 23 1997  
JAN 2 1997

